



ГОРЮЧ-КАМЕНЬ

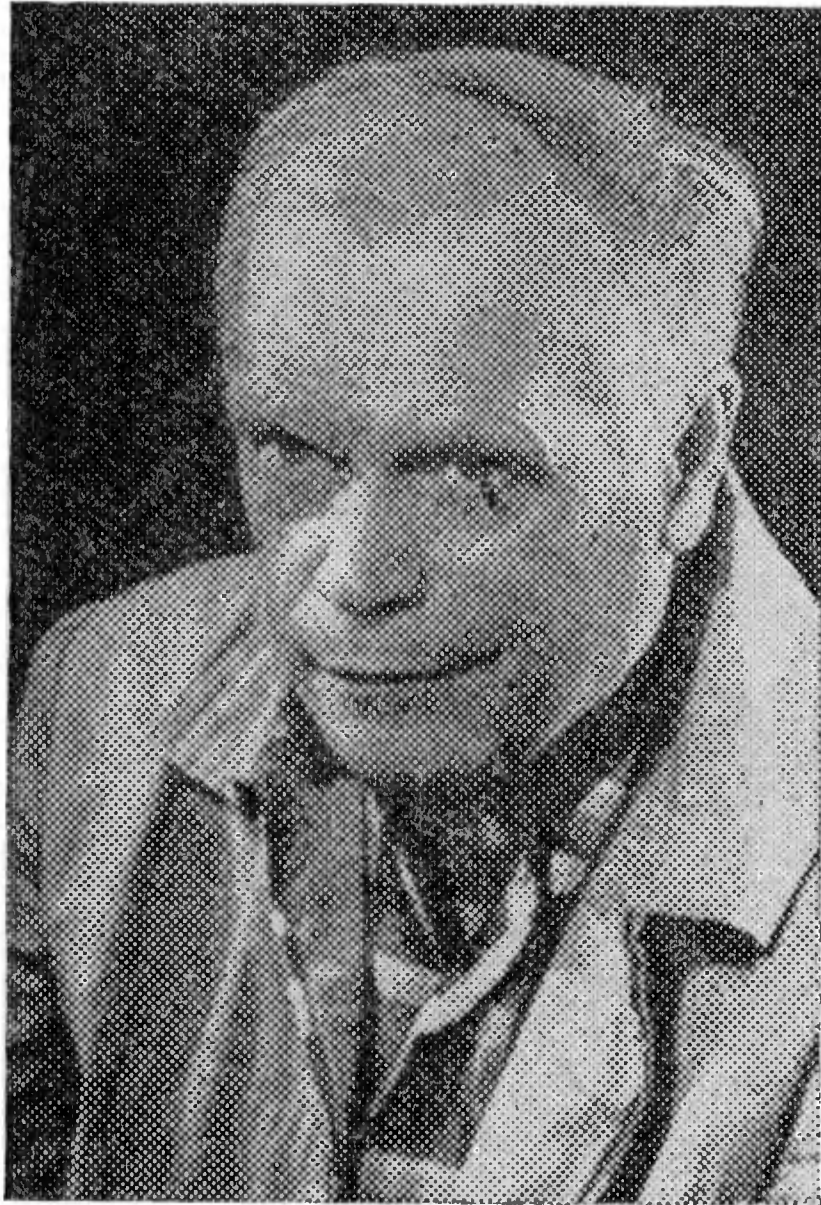


Дмитрий
ОСИН

ГОРЮЧ —
КАМЕНЬ







ДМИТРИЙ ОСИН

ГОРЮЧ-

КАМЕНЬ

ПОВЕСТЬ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА · 1965

«Горюч-камень» Дмитрия Осина — повесть о шахтерах Подмосковского угольного бассейна. В центре ее сложный конфликт — один из руководителей шахты пытается скрыть свою вину за случившуюся аварию, но другие работники не снимают с себя ответственности, действуют по требованиям совести, по чувству партийного долга.

В повести хорошо изображен доблестный труд шахтеров, тяжелый, но приносящий большое удовлетворение, ибо люди знают, что уголь — это жизнь страны.

Повесть Дмитрия Осина — широкая картина, рисующая сегодняшнюю жизнь и работу наших шахтеров, хозяйственников, партийных руководителей, правдиво раскрывающая судьбы людей, интересные образы и характеры.

1

«Разве вспомнишь теперь, когда все началось? — прикидывал, перебирая недавнее, Журов. — Думай, не думай, а это — точно. И лесогоны в нарядной вчера, при всех: «Близнята у тебя, Журыч, неспроста. Дочка — твоя, а сын, гляди-ка, еще чей-то!»

Он сидел, курил, осунувшийся, небритый, растерянно соображал и не мог сообразить, что же все-таки произошло. Жили они с Алевтиной, работали, сводили концы с концами. А когда родились сын и дочка — забот и дел стало невпроворот.

«Лесогоны — трепачи, — думал Журов. — На всю шахту! Хлебом не корми...»

Но душевная боль не давала покоя. Отступая на минуту, она набрасывалась с новой силой, и временами в каком-то отчаянии ему казалось, что он совершенно беззащитен перед нею.

Прошлой осенью Алевтина надумала учиться, поступила в техникум. Журов не возражал: не все ж ей стоять рукоятницей, пускай получит настоящую специальность. Ребята — подросли, в детском саду всю неделю, сам он день и ночь в шахте.

«Жить бы да жить, — раскуривая новую самокрутку, томился он. — Работать, как оно полагается, добиваться лучшего, — так нет!»

Алевтина, как всегда, не дождалась его: пообедала и убежала на занятия. Вечер опять коротать одному.

Следить за женой Журову казалось унижительным. А выходит — надо было.

«Неужто и вправду она с Косарем? — думал он. — Не зря ж лесогоны... в нарядной давеча».

Федор Косарев был проходчиком и в Северном у них не выделялся ничем. Шахтеры почему-то звали его не по фамилии, а сокращенно: Косарь, — словно подчеркивали сходство с кухонным ножом.

Намаявшись, Журов уснул, не слышал, как вернулась Алевтина, как, вымыв посуду, принялась готовить обед на завтра. Будить его она не имела привычки.

Жарко пылал уголь в плите, булькало через край в кастрюле. Уставившись в звездное окно подведенными глазами, Алевтина не замечала ничего и вполголоса твердила:

— Нормирование труда при капитализме является средством усиления эксплуатации рабочего и обогащения капиталистов. При социализме — способствует непрерывному... способствует непрерывному росту производительности труда и тем самым — повышению жизненного уровня трудящихся...

— Кастрюля выкипает... не видишь! — проснувшись, Журов остановился в дверях, скребя темные завитки волос на груди. — Совсем заучилась...

— Не мешай! — даже не взглянув на него, Алевтина схватила кипевшую кастрюлю, передвинула на другую конфорку. — Установление технических норм

производится следующими этапами. Первый: выявление и анализ производственных возможностей рабочего места, участка, цеха. Второй: проектирование структуры и содержания нормируемой операции и режима использования рабочего времени за смену. Третий: расчет технической нормы времени, разработка конкретных мероприятий и условий, ее обеспечивающих...

Стараясь не мешать всей этой премудрости, Журов тоскливо зевнул и ушел. Можно было думать, что хочешь, а она переменялась, — это точно.

«Наштукатурилась! Завела моду! — Семейная его жизнь непоправимо рушилась и в то же время совершенно не представишь себе, что делать. — В партком с такой бедой не пойдешь. И начальству не пожалуешься...»

Самое лучшее было — объяснить, решить, как они будут дальше. Но всякий раз, едва доходило до этого, Журов отчужденно каменел: ждал, чтобы жена уверила его — все неправда, или чтобы кто-то пришел и помирил их, как маленьких.

Он лег снова, а когда опомнился, вскочил с дивана — Алевтины в кухне не оказалось. Раскрытые учебники лежали на столе.

На улице, как всегда, былолюдно, слышался смех. Тренькала гитара. Кто-то негромко пел:

— Люби покуда любится,
Прощай пока прощается.
И вины все искупятся.
И счастье повстречается!

В сквере сидели парочки.

Не помня — закрыл или не закрыл квартиру, Журов прошел, пригляделся. Ему стало не по себе.

«Что это я? Выскочил сам не свой и ополоумел...»

Разжав ладонь, он увидел ключ от двери, который забыл положить в условленное место, и бросился дальше. Что-то неудержимо гнало его, и ничего нельзя было поделать.

Последний сеанс в «Горняке» окончился. Пустые автобусы уходили в Углеград. Почему-то ночью они всегда собирались на конечных остановках и ждали подолгу.

«Наверно, Аля уже дома, ждет, — виновато подумалось Журову. — Вышла куда на минутку, а я — гоняю по Северному...»

Алевтина сидела на крыльце — озябшая, злая. Выходные, на шпильках, туфли валялись рядом.

— Где ключ? — сердито набросилась она, и у него сразу отлегло от сердца. — Уходишь, так хоть с собой не уноси!

Непослушными руками Журов торопливо открыл дверь, впустил ее.

— Да я ненадолго.

Алевтина сняла с огня кастрюлю, собрала учебники.

— Ну? Куда тебя носило?

— Тебя искать, — откровенно признался он. — Скоро двенадцать, а ты... всё бросила.

— Тебе-то что?

Журов боялся, что обидит ее, но Алевтина схватила учебники, ушла переодеваться. Вернулась в домашнем платьишке, как ни в чем не бывало принялась заправлять выкипевший борщ.

— Не мог приглядеть...

— Ты это лучше брось! — неожиданно стукнув кулаком так, что заплескало все на столе, разозлился он. — Давай, раз такое, по-хорошему. Начистоту!

Она удивленно попятилась.

— Чего ты? Очумел?

— Хватит меня... себя позорить!

Если до этого Алевтина еще делала вид, что не понимает о чем речь, то теперь как бы признала очевидное. Тотчас же овладев собой, она перешла в наступление.

— Ну, до моего позора тебе дела нет! И не стучи, кулаки свои не распускай.

— Людей бы постыдилась, о детях вспомнила. И так треплют по всей шахте: «Близнята, дескать, у вас неспроста...»

— Всех трепачей не переслушаешь, — Алевтина вытерла стол, обернулась к нему. Впервые он увидел в ее глазах нескрываемую отчужденность и похолодел. — Хуже баб языками мелют!

— А я тебе говорю: одумайся, выбрось дурь из головы! Не то поздно будет...

— Не твоя печаль! А одумываться мне нечего.

Журов и сам не знал, как это пришло ему в голову — обиднее, несвойственное тому, что чувствовал.

— Тогда я с тобой по-другому. Придешь еще раз поздно — будешь ночевать на крыльце!

— Я милицию приведу, — не задумываясь, сразу же нашлась Алевтина и, бросив борщ, метнулась в комнату, притворилась оскорбленной. Он думал — плачет, но она и не собиралась, а устало потянувшись, разобрала постель. Не хотелось думать ни о чем:

«Спать-спать! Согреться под одеялом и как в омут головой — до утра».

Журов потушил плиту, запер дверь. Хотя объяс-

нение и не дало ничего, подумалось — все уладится, станет на свое место.

«Побегаёт-побегаёт и тут будет, — успокаивал он себя. — А еще раз опоздает — дверь не открою! Пускай на крыльце ночует...»

Утром Алевтина уехала в Углеград, на рынок. Вернулась возбужденная, покрасневшая, в праздничном платье, открытом на груди и спине больше, чем следовало, и делавшем ее еще привлекательней.

Разбирая привезенные продукты, как ни в чем не бывало предложила:

— Пойдем-ка близнят проведем! Черешни им купила: полкило целых...

Журов мастерил ящик в кладовке, притворился, что не расслышал. Ночью они рассорились еще хуже. Оскорбленный, он ушел на кухню, допил оставшуюся с вечера четвертинку и лег на диване один.

Нетерпеливо передернув плечами, Алевтина окликнула его снова:

— Слышишь... Андрей?

— Не глухой, — стараясь перебороть себя, отозвался наконец он. И, словно удивившись черешне, спросил: — Разве поспела уже?

— Торгаши с Кавказа понавезли. Четыре с половиной дерут.

— Вкус цену знает, — заметно подобрев, усмехнулся Журов, хлопнул дверью кладовки, поглядел — не задевает ли ящик и вышел в сени. Темный вихор, усы были в сеяных, как мука, опилках. Рубашку облепили колечки стружек.

— На, попробуй, — предложила ему Алевтина. — Я съела на базаре одну: ни сладости, ни вкуса!

— Да ну-у... что ты, как маленькому?

— Нет, попробуй!

Играя неестественно выразительными глазами, она взяла из миски вроде бы самую спелую и в то же время явно не лучшую веточку — всю в рдяных, росяных капельках после мытья — подала ему. Он неохотно потянулся губами и, горько зажмурившись, откусил черешенку поменьше, оставив ей послаще и покрупней.

— Хороша... медовушка!

— А по-моему — трава и трава.

— Не-ет, не скажи, — задумчиво глядя куда-то за окно, в котором сиял погожий июньский день и таяла на зное высветленная солнцем глыба шахтного террикона, Журов неторопливо разжевал, посмаковал ягоду. Осунувшееся, небритое его лицо немного посветлело. — Ишь ты: лето уже! Не углядели, как подошло...

— Торгаши на лето не глядят, — придерживав миску, Алевтина слила воду. — Когда это было, чтоб за черешню столько драли!

— На базаре два дурака: один — продает, другой — покупает.

Старательно свернув фунтик, она высыпала в него черешню, уложила в сумку. Заботы об этом, похоже, помогали ей прикрывать какое-то внутреннее недовольство, но как она ни старалась — это не укрылось от Журова.

— Хотела еще конфеток им купить, хоть сто грамм. Да хватит и черешни. Переодевайся скорей!

— Сейчас. Только побреюсь...

Набрав воды в металлический стаканчик, он ушел в комнату, пристроился перед зеркалом. Не новое, купленное по случаю в комиссионном магазине, оно придавало лицу неживой, болезненно-мертвенный

оттенек, и, глянув на себя, Журов невольно вздрогнул.

Стараясь преодолеть холод, сжавший сердце, он торопливо работал старенькой, источенной бритвой, доставшейся еще от отца, и не мог совладать с тревогой. Мыльная пена хлопьями падала на грудь, на колени.

— Дай-ка мне что-нибудь... прикрыться.

С неожиданной готовностью Алевтина достала, подала ему чистое полотенце — накрахмаленное, с тугими, неразошедшимися складками — и, задержавшись, вдруг порывисто и крепко прижала к своей груди взлохмаченную его голову.

— И когда ты у меня человеком будешь? Как другие...

— Когда твоя дурота пройдет.

— Какая дурота?

Высвободившись из ее рук, Журов стер с подбородка остатки мыльной пены, поднялся.

— Ну, ладно. Рубашку дашь?

Все еще сбивчиво дыша, она спросила:

— Какую тебе? Вьетнамку? Или под галстук?

— Давай без галстука, — перекинув полотенце через плечо, Журов пошел умываться. — И так жарко... спасу нет!

Неподалеку от Северного на давней, образовавшейся за годы войны, пустоши разросся лес-заказник. Посреди него вилась и уходила к Днепру Осьминка, густо одетая бирючиной и черемушником.

Тропкой, мимо шахты, мимо отгрузочного пункта и террикона, до заказника было около двух километров. Разговаривая, Журов и Алевтина шли и вроде забыли обо всем.

— Давно дождичка нету...



— Ребятам в заказнике и так не жарко. Не заболели бы только.

— Начальство вчера обещало: если полугодовой план выполним — обязательно премировка отломится!

— Вам, подземным, хорошо. А нам всё едино — оклад.

С деланной беззаботностью Журов признался:

— А я решил: не возьму!

Не скрывая осуждающего сожаления, Алевтина обернулась.

— Тю, сдуре-ел? Кто же с начальством наперекорки идет? Да и премии жалко.

Он несговорчиво рубанул воздух рукой:

— Жалко не жалко, по крайней мере совесть чиста.

Журову было еще не более тридцати, но, как все завзятые горняки, он старался выглядеть солиднее и даже отпустил усы. Короткие, не очень густые, они словно напоминали, что лучшая пора жизни прошла и ничего больше по себе не оставила.

На подъездных путях маневрировал паровоз. Сиплый гудок оглушил, спугнул голубей с копра, басово перекинулся на террикон, пролетел над окрестными полями и затерялся вдалеке.

— Дневная смена уголек отправляет! — подхва-

тив под руку Алевтину, Журов проскочил между расцепленными полувагонами. — Первый эшелон на-гора выдали...

— Через шахту пройдем? — еще жалея о премии, спросила она. — Или по дороге?

— Через шахту. Всё ближе, чем вкругаля.

Глядя на заросший курчавыми завитками его затылок, Алевтина не находила слов для возмущения.

«Худо-бедно рублей бы двадцать пять дали, а так — ничего. Хожу в обносках, как отряха какая, ему — всё ничего!»

2

«Всё бы ничего, — думалось и Журову. — Но с электровозами у нас из рук вон! И надо не тянуть день за днем, а требовать отправки в ремонт, как оно положено».

Неподалеку от вспомогательного ствола стоял поднятый на-гора «карлик». Возле него возился машинист Янков — в замасленной брезентовой спецовке и помятой, сбившейся набок каске.

«Опять разладился, — колюче подумал Журов, на минуту забыв о своем. — А ремонтировать некому... воскресенье!»

Янков — угрюмый, нелюдим. Журов откровенно недолюбливал его и не скрывал этого. По привычке он хотел было узнать, в чем дело, но вспомнил, что впервые за три недели идет к детям, и, скрепя сердце, промолчал.

Дежуривший по шахте маркшейдер Никольчик окликнул его из окна:

— Ларионыч! Зайди-ка...

— Ну, чего еще? — точно не догадываясь, зачем понадобился, Журов неохотно отдал Алевтине сумку с гостинцами. — Подожди меня... вон хоть на лавочке. Я сейчас!

В дежурке, как обычно, накурено, сумрачно и после раскаленного солнцем полудня — прохладно. Оглаживая тяжелую, угловато-квадратную голову, Никольчик обещал кому-то по селектору:

— Через час, самое большее. Говорю — подошлю, значит подошлю. А ты не зашивайся! Всё.

Увидав Журова, он кивнул ему на стул, пододвинул наполовину раскуренную пачку папирос, бросил кому-то снова:

— Воротынцев, докладывай: что у тебя! Сколько-сколько? А ты что думал? Авралить — не у тещи блины есть!

Журов закурил, выдохнул сквозь ноздри линялый, бесцветный дым.

«Опять, похоже, спускаться заставит, — подумал он и, чувствуя, что не сможет отказаться, пожалел потерянное воскресенье. — Ну, беда! Хоть совсем из шахты не вылазь...»

Сняв наушники, Никольчик тоже взял папиросу, закурил и, махая горящей спичкой, сощурился. Румянец на щеках — прямо девичий, словно маркшейдеру и не под сорок.

— Ну? Куда собрался?

— Да в детский лагерь. Жинка близнят проводить надумала, гостинчика им собрала.

Раздался звонок телефона, но Никольчик будто не расслышал. В цыгановатых его глазах — самый неподдельный интерес к тому, о чем говорилось.

— Удачно это у вас! Сразу сын и дочка. Мне бы с моей Аглаей Сергеевной хоть одного кого-нибудь.

— Дети —ягоды, — Журов сунул окурок в набитую доверху пепельницу, покосился на окно. Алевтина нетерпеливо вертелась на лавочке — нарядная, как сизоворонка. — Не на сезон, нá годы!

— Верно, — отдуваясь, Никольчик снова взялся за наушники. — Опять, брат, беда у нас: АК-2 разладился. Видал? Возле вспомогательного ствола стоит.

— Вида-ал.

— Проверь-ка: что с ним?

— Я же выходной, Петро Григорьич, — напомнил Журов. — Первое воскресенье... за весь месяц.

— Знаю, знаю.

— И жинка...

Никольчик щелкнул переговорным рычажком.

— Жинка пускай одна к ребятам. А мы же за звание шахты коммунистического труда боремся.

Журов поднялся. Он и без этого понимал: лишних электровозов нет, породу вывозить нечем.

Алевтина и в самом деле заждалась его, сидя на лавочке возле дежурки. Цветное, праздничное ее платье успело запылиться, измялось.

«Вот говорильщики! — сердилась она. — Ка-ак сойдутся, хуже баб...»

К ребятам необходимо попасть до обеда. После не пустят. А оставаться, ждать до полдника нельзя: ее тоже будут ждать.

Она поднимается, чтобы поторопить Журова, но в дежурке его нет. Немного погодя он выходит к ней — в рабочей своей робе, с чьим-то инструментальным ящиком в руках.

— Ты чё... сдуре-ел? — возмутилась Алевтина и не сразу сообразила, что он остается. — А к ребятам?

— К ребятам придется тебе одной, Аля, — виновато пытается задобрить ее Журов. — «Карлик» стал, работать нечем!

— Так я и знала, — сама не в себе, вспыхивает она. — Не морочил бы голову...

И, подхватив сумку с гостинцами, исчезает за терриконом. Чувство гнева постепенно уступает место облегчению. Так даже лучше — не нужно придумывать, как отправить мужа домой, а самой задержаться в заказнике.

«Пускай остается, — не скрывая, что рада этому, твердит Алевтина. — По крайней мере не будет каждый шаг караулить!»

А Журов невесело встряхивает ящик с инструментом и направляется к электровозу. Самое неприятное обошлось более или менее благополучно, можно приступать к работе.

«Ничего не поделаешь, — думает он, охваченный уже другими заботами и тревогами. — И чего, скажи, уговаривал? Будто я сам не понимаю: аврality — не блины есть!»

Электровоз стоит за стрелкой, метрах в двенадцати от вспомогательного ствола, и вроде рад тому, что вместо сырой, промозглой шахты греется на солнышке. Если верно, что у машин, как у людей, свой характер, то у старого этого «карлика» — дурной, неуживчивый норов, подчас с ним просто нет сладу ни машинисту, ни слесарям.

Журов давно знал это и относился к нему почти как к живому. Во время ремонта он даже разговаривал с электровозом, будто тот мог понимать и понимал, что говорилось.

— Ну, что у тебя? — подойдя, спросил он. — Опять контакты в контроллере подгорели? Или еще что?

— Да ну, — с сердцем буркнул Янков. Потом, сладив с собой, неохотно объяснил: — Задним ходом идет, вперед — ни с места!

Открыв ящик, Журов разыскал отвертку, надфиль, сунул в нагрудный карман. Инструмент он всегда любил иметь под руками, чтобы, работая, не отвлекаться, не терять время попусту.

Грязный, побитый «карлик» играл на солнце всеми своими ссадинами и вмятинами, точно требовал отправки в капитальный ремонт. Журову сделалось даже жаль его: сколько ни возись — толку не будет.

«Погоди, — мысленно пообещал он. — Пойдешь ты у нас, как почетный горняк, на лечение!»

Рукоятка контроллера сидела на своем месте, как положено. Раздумывая все о том же, Журов попробовал поставить вал реверса в нейтральное положение, но тот не проворачивался, а ключ без труда удалось вынуть и так. Решив снять крышку, Журов принялся отвинчивать болты. Головки их потеряли первоначальную форму: торцовый ключ часто не брал, проворачивался.

«Хорошо, что Аля пошла одна. Заждалась бы, пока я тут... А электровоз давно в капиталку пора! Иначе все равно работать не будет!»

Поплевывая, Янков молча следил за каждым его движением, ничем не выдавая своего отношения к тому, что происходило. К электровозу у него давняя неприязнь.

— «Карлик», он и есть «карлик»! Хуже не скажешь...

— При чем тут «карлик»? С машиной надо по-человечески обращаться, — исподлобья метнул в него сердитый взгляд Журов. — А ты все рывком да торчком... вот и добил!

— Не так-то оно просто из забоя в забой. А на нем разве работа?

Выбить шплинт оказалось нелегко. Концы его были расплющены, не проходили в отверстие. Ключ реверса давно утерян; вместо него — самоделка, которую можно вынимать и вставлять при любом положении вала.

Сняв крышку, Журов положил рукоятку контроллера, ключ и болты перед собой на аккумуляторный ящик и стал осматривать контакты. Они, как обычно, сильно подгорели, были покрыты белой, ползучей накипью.

Счищая ее, он поранил палец. Подув на ссадину, перехватил отвертку левой рукой, действовавшей, как у всякого мастера, так же уверенно и ловко.

Проверив контроллер, попробовал доискаться, в чем неисправность. Пустить электровоз вперед не удалось; тот по-прежнему двигался только задним ходом.

— Ночью слесаря в шахте ремонтировали, — хмыкнул Янков. — Два часа, не больше, после этого проработал. Теперь опять...

Журов знал: дежурные слесари не любили обременять себя лишними хлопотами. Не поэтому ли и выдали электровоз на поверхность.

Выругавшись с досады, он вытер концами руки и огляделся. Несмотря на воскресенье, шахта работала; начальство авралило, старалось выполнить план полугодия любой ценой.

«Где же дурит? — перебирая все, что могло быть

в неисправности, думал Журов. — Если контакты срабатывают назад, значит и вперед включаются. А вал заело: не провернешь. Может, перекосило? Или лопнула пружинка фиксатора?..»

Никольчик громко препирался с кем-то по телефону. Вагонетка, натруженно гудя и постанывая, выползала из тоннеля, поднималась на террикон. С тяжким шорохом сыпалась в отвал порода, дымил серный колчедан.

Привычное рабочее состояние снова подчинило себе Журова. Надо было делать свое дело, пока не справишься. Вот только дома у него нехорошо, так что порой не хочется и думать об этом.

«Ничего, — старался успокоить он себя, с радостью вспоминая, как Алевтина неожиданно и словно бы виновато обняла его во время бритья. — Подурит-подурит и такая ж будет!»

Выглянув в окно, Никольчик знаком подозвал его: — Ну, как там у тебя? Скоро исправишь?

Журов не без досады отозвался:

— Вал заело! А отчего — не разберусь...

Словно вспомнив о чем-то, Никольчик сказал:

— Может, лучше отогнать в тупик и там разобраться?

— Боюсь, не влезет. В ремонтном вагонетка ска-ты меняет.

— Дергасов грозитя простой на наш счет отнести, — Никольчик не собирался подгонять Журова, а просто поделился разносом, который только что по телефону устроил ему замещавший начальника шахты главный инженер. — Сейчас из дому звонил...

Он хотел рассказать что-то еще, но в селекторе послышался грубовато-требовательный оклик:

— Дежурный! Где же порожняк? Что нам — конвейер останавливать?

Послышался щелчок переключателя. Журов не расслышал, что ответил маркшейдер на требование порожняка.

Мотор в порядке. Терять время не приходится. Решив осмотреть еще раз контакты, Журов, насвистывая, снова наклонился над раскрытым нутром контроллера. С виду вроде все ничего, а беда где-то в нем, не иначе.

Контроллер переключал сразу четыре контакта в одну сторону и четыре — в другую. Выходит, повреждение не здесь. Журов попробовал включить их еще раз и должен был признать, что дело не в контактах.

«Тогда, видно, с реверсом что-то, — предположил он. — Не зря же вал вперед не проворачивается. Скорее всего пружинка лопнула. Шарик выскочил, а ее — расперло. Но туда не доберешься. Придется снимать. Снимать и перебирать...»

Журов снова включил реверс, но электровоз по-прежнему не двигался. Конечно, этого нельзя было делать, тем более в непосредственной близости от ствола. Беда могла случиться в любую минуту.

«Добил до ручки! — мысленно ругал он машиниста. — Раньше срока в утиль пойдет...»

Должно быть, Янков почувствовал это, виновато подошел, привалился плечом к аккумуляторному ящику. Заросшее его лицо казалось по-прежнему мрачно.

— Заедает? Слесаря говорят: в капиталку надо, а ты все мусолишь!

— По-человечески работать надо, — сердито обо-

рвал его Журов. — А то и после ремонта такой же будет.

Похоже, согласившись с этим, Янков передвинул каску на лоб. Захватанная, помятая, она напоминала заржавевшую консервную банку, и, подметив это сходство, Журов почему-то понял, что вряд ли добьется от него, чего хочет.

Янков пожаловался:

— Стоять... хуже матерного!

— Соображаешь? — ожесточенно мотнул головой Журов. — Что матерно, что нематерно.

— Еще бы! — невесело подтвердил тот. — За простой премировку отымут...

Журов даже злиться на него перестал.

«Ну, что с такого возьмешь? Хуже крота!»

Ничего поделать было нельзя: придется снимать вал, перебирать барабан. Слесари, наверно, поняли это еще в шахте и не стали приниматься за ремонт там.

«Ой и ребята! — беззлобно выругался Журов. — Хоть бы передали с кем, чтобы не копать понапрасну...»

Янков, вздыхая, поскреб ногтем по аккумуляторному ящику, словно хотел сказать что-то еще. Крайний болт сорвался, упал в разверстое нутро контроллера. Почти тотчас же молнией заискрило где-то внизу, и сразу запахло с пригоревших контактов. Журов не успел даже сообразить, что произошло, как электровоз ожил и, тяжело вздрагивая, двинулся к вспомогательному стволу.

— Держи-и! — отшатнувшись, не своим голосом крикнул Янков. — Уйде-ет... дьявол!

С тревожно екнущим сердцем Журов попробовал достать замкнувший контакты болт, но пальцы не

пролезали. Вспомнив об отвертке, он схватил ее, стал ожесточенно шуровать между контактами в тесной путанице деталей, проводов.

Мотор зловеще жужжал. Все было сейчас в том — сумеют или не сумеют предотвратить несчастье.

Что-то крича, Янков бежал сзади, но Журов не оборачивался, не слушал, пока не понял — разъединить контакты вряд ли удастся.

«Если не остановлю, тогда всё, — с отчаянной ясностью подумалось вдруг ему. — Пальцами не пролезешь, а отвертка не берет, соскакивает...»

Потом он вспомнил о тормозах и изо всей силы закрутил баранку. Электровоз сбавил ход, но не остановился.

Рукоятчица, дежурившая возле вспомогательного ствола, метнулась к стрелке, хотела перевести ее, преградить дорогу беде, и не успела.

— Тормози! Тормози-и! — услышал Журов, как будто сам не помнил об этом. Сдавалось, она вот-вот бросится на рельсы, остановит электровоз, но так и осталась стоять — с побелевшим от ужаса лицом и округлившимися глазами.

Не видя, не слыша ничего, он по-прежнему шуровал отверткой, стараясь зацепить болт, разъединить контакты. Весь день помнил о семейной беде, перевернувшей всю его жизнь, а тут забылась и она.

«Надо было в тупик, — с запоздалым сожалением подумалось ему. — Или хотя бы что-нибудь под колеса подложить...»

Еще можно было прыгнуть, спастись, но это даже не пришло Журову в голову. Впереди — вспомогательный ствол, шахта, а там — люди; нужно было во что бы то ни стало предотвратить самое страшное.

Расстояние до вспомогательного ствола неболь-

шое. Электровоз проскочит его, и тогда останется только заградительная решетка. На мгновение Журову стало жалко себя, но он тотчас же пересилил эту жалость и снова припал к раскрытому нутру контроллера. Там всё еще искрило, било в глаза не разберешь чем.

«Сейчас! Сейчас! — в беспамятстве повторял он, вкладывая в нехитрые эти слова всю силу желания справиться с вышедшим из повиновения электровозом. — Остановлю! Разомкну...»

Наконец ему удалось подцепить болт и с трудом просунуть его дальше. Мотор выключился. Опомнившись, Журов облегченно поднял голову, увидел стремительно надвигавшуюся обшивку вспомогательного ствола и вскрикнул от ужаса.

Сбив предохранительную решетку, электровоз, не останавливаясь, ринулся в открывшуюся бездну, ударил подъемный канат и со скрежетом покореженного металла полетел вниз.

Помертвевшая рукоятчица подбежала к стволу, глянула на стрелку высотомера, размашисто качавшуюся на отметке — сорок метров, и, забыв дать аварийный сигнал машинисту подъема, испуганно отшатнулась.

— Клеть... там же клеть на спуске! С шахтерами...

3

Клеть с шахтерами, как обычно, спускалась по вспомогательному стволу. Косарь услышал треск, скрежет вверху и, балагурия по обыкновению, крикнул стоявшим рядом проходчикам:

— Держи-ись! Начинается...

Почти тотчас же послышался сильный, скрежещущий удар. Что-то тяжело рухнуло, проломило крышу и через расстрел¹ ушло в другую часть ствола.

Клеть встала дыбом. Схватившись за поручни, Косарь и его дружок Лаврен Волощук не удержались, упали на пол. Звеньёвого Рудольского, проходчика Воронка и погрузочного Пазычева выбросило. Кто-то из них удивленно ойкнул, даже не успев испугаться; кто-то выругался. Послышался всплеск внизу, и всё стихло.

Шахтерки погасли. В темноте невозможно было разобрать ничего.

— Лавре-ен! — опомнившись, крикнул Косарь, смахивая ладонью едкие, саднящие брызги с лица и пытаясь сообразить, что же произошло. — А где ребята?...

Сверху сползло, навалилось на плечи чье-то словно бы неживое туловище. Волощук попробовал освободиться.

— Ну, я, — отозвался он, до боли чувствуя неправимость несчастья. — Ты жив, Косарь?...

— Жив, жив, — отплевываясь, вздохнул тот. — Неужто канат порвало?

Волощuku сделалось вроде бы легче. Все-таки вдвоем не то, что одному, — где хочешь.

— Помоги-ка мне, — попросил он. — Кто бы это сверху?..

Стуча зубами, Косарь подлез, помог ему стащить сползшего. Слышно было, как тот прерывисто захрипел у самой двери. Ее не было: то ли сорвало во время удара, то ли не навесили перед спуском.

¹ Р а с с т р е л — крепление ствола.

— Кажется, звеньевой, — осторожно ощупав лежавшего, предположил Косарь. — А может, и Воронок...

Волощук пошарил шахтерку, ее не оказалось. Разорванная петля на спецовке была без пуговицы.

— Рудольский легче, — заметил он. — А Воронок, — и принялся ощупывать сползшего. — Голова сильно побита. В крови вся...

— Не лапай, — предостерег Косарь. — Еще столкнешь впотьмах.

— Что я... не соображаю?

Сверху лило ливня. Сползший шевельнулся, точно очнулся, хотел подняться и, не удержавшись, сорвался между клетью и предохранительной сеткой. Снова донесся всплеск снизу, из зумпфа¹.

Косаря затрясло.

— Столкнул ты его...

— Еще что выдумаешь!

Щелочь капала с крыши, едко щипала глаза. Волощук все еще не мог прийти в себя.

— Спецовка на нем. И не сапоги, а ботинки.

— Если в ботинках, значит не наш. Кто же он тогда? Откуда взялся?

— Сам не пойму, — пытаюсь понять, что произошло, отозвался Волощук. — Канат сорвало? Или другое что?

— С канатом клеть не удержалась бы, — возразил Косарь и, будто сообразив, что сидеть и гадать бесполезно, предложил: — Давай-ка вылезать отсюда. А то застряли, как в мышеловке...

— Вниз или вверх?

¹ З у м п ф — нижняя часть шахтного ствола, обычно заполненная водой.

— Вниз вроде поближе будет.

Косарь пролез, высунулся в дверь, стал шарить рукой по стволу.

— Стенка... голая. Сетка...

— За ней лестница, — вздрагивая, напомнил Волощук. — Похоже, только мы с тобой и уцелели. Остальные не удержались.

— Видно так, — Косарь сердито обернулся. — Попробуй-ка ты! Не дотянусь...

Они работали в одной смене, считались дружка-ми. Волощук — медвежеватый, неповоротливый. Спецовка четвертого роста едва влезает на покатые плечи, брезентовые штаны — в обтяжку. Косарь — быстрый, норовистый, легко схватывавший все во время спора или перебранки и умевший постоять за себя.

— Давай попробую, — высунувшись насколько было можно, Волощук стал искать трубы для откачки воды, идущие из шахты на поверхность. На лестницу не пролезть — мешает предохранительная сетка. Но спуститься при необходимости можно и по трубам.

— Ну? Дотянулся? — нетерпеливо торопил его Косарь. — Клеть прямо дыбом встала!

— Подержи-ка меня, — попросил Волощук. — А то сорвусь...

Косарь просунул руку ему под спецовку, нащупал поясной ремень.

— Давай! Не бойся!

Почувствовав поддержку, Волощук пролез дальше. Одна нога его была в клетке, туловище — между нею и стенкой ствола.

— Нащупал, — с трудом дыша, наконец проговорил он. — Сейчас соображу, куда ногу упереть.

— Полезешь? — точно боясь, что он исчезнет, оставит его одного, Косарь высунулся тоже.

— Полезу.

— А я как же?

— Не бойся: перетащу и тебя.

Откуда-то сбоку хлестала вода. Временами было похоже — льет, сифонит холодный, непрекращающийся душ.

В стволе тоже было темно. Лишь далеко внизу вспыхивали огни: там, видно, повреждения не было.

Держась за раму двери, Косарь протянул руку. Ищущие его пальцы встретились с широкой ладонью Волощука — надежной, обещавшей поддержку в любой беде.

— Хватайся, — потянул тот чуть повыше. — Ну, не промахнись!

Дрожа от напряжения, боясь сорваться, Косарь нащупал стылое тулово трубы, отпустил клеть. Нога сама нашла опору на скобе.

Чуть передохнув, стали спускаться. Волощук — впереди, Косарь — за ним. Трубы леденили руки; сверху поливало. Иногда скоб не было: не находя опору, ноги скользили в пустоте.

Наконец внизу показались люди. От радости Косарь угодил коленом Волощуку на плечо, весело выругался:

— У, в рот те двести пятьдесят с прицепом! Слезай скорей... закуску расхватывают.

На окоlostвольном дворе былолюдно. Причудливо-тревожный свет шахтерок озарял сбежавшихся горняков, мокрый, в пятнах и подтеках бетонный свод.

Разноголосо металось:

— Клеть сорвало, что ль?

- Не клеть, а «карлик»!
- Трoих выбросило...
- Трoих, да четвертый сам.
- Кто да кто, ребя?
- А на-гора дали знать?..

Спасатели доставали из зумпфа погибших, раскладывали возле подземного медицинского пункта. Журов и здесь все еще будто старался остановить электровоз, предотвратить катастрофу. У Воронка были открыты глаза. Рядом с ним безжизненно стыл Рудольский.

Наконец вытащили и Пазычева. Худой, маленький, он был похож на подростка-мальчишку, и как испугался во время падения, так, сдавалось, не пришел в себя после смерти.

«Карлик» повредил проводники, крепление ствола. Спуск и подъем приостановились.

Волощук подошел, глянул на Журова и, закусив пересмягшие губы, зябко повел плечами. Спецовка была в крови.

— Выходит, это он на тебя, — догадался Косарь. — Застрял бы, — может, живой остался?

Их окружили, стали наперебой расспрашивать, почему случилась авария, как уцелели. Отведя рукой чью-то слепившую глаза надзорку, Волощук словно бы виновато объяснил:

— Мы за поручни схватились. А ребят из клетки выкинуло...

— А Журов сверху, — поеживаясь отчего-то, добавил Косарь. — Еще живой был. Хрипел только.

— Видно, не судьба...

— Какая там судьба? Судьба — индейка, жизнь — копейка!

— А ты что? Хочешь подороже взять?

Спустившийся в шахту Никольчик, потрясенно уговаривал всех продолжать работу, но никто не уходил. Растерявшийся, точно оглушенный случившимся, он совершенно не соображал, что делать.

— Сейчас горный надзор спустится, составит акт. Тогда можно будет приступать к ликвидации последствий.

Все понимали: ему отвечать в первую очередь.

— «Карлик» этот давно в утиль надо было! Со дня на день откладывали...

— Техника безопасности — для всех. А начальство на нее не глядит: «План, план давайте! Любыми способами!»

Горный мастер Воротынцев был, что называется, не враг себе. Заботясь о том, чтобы показатели не ухудшались, он распорядился:

— Волощук, становись за звеньевого! Комбайну стоять не положено.

— Нас же только двое осталось, — несговорчиво напомнил Косарь. — Трудно будет.

— Дела себе в забое не найдете? — Воротынцев славился тем, что умел найти выход из любого положения. — Покрепите пока, проверьте, а я подошлю кого-нибудь. Из подсобников...

— Лады, — хмуро согласился Волощук и кивнул ошалело водившему глазами Косарю. — Пойдем отмоемся!

— Видно, и вправду не судьба, — расстегнув спецовку, тот припал к хлеставшей из-под откачки струе. — До сё руки ходуном ходят!

Каски не было. На лице, на груди темнели засохшие пятна крови.

— Руки пройдут, — сказал Волощук. — А комбайну простаивать не положено.

Кое-как приведя себя в порядок, Косарь вернулся к стволу за каской. Спасатели достали из зумпфа и ее. Даже шахтерка оказалась цела и вспыхнула, как только включили.

Погибшие всё так же лежали возле медицинского пункта, накрытые захватанным брезентом. Взглянуть на них еще раз Волощук не смог и, кривясь сам не зная отчего, поскорее прошел мимо.

— Заголосят сегодня у нас на Северном! Первый раз такое...

Косарь бестрепетно приоткрыл брезент, наклонился над Журовым.

— Неизвестно еще! По ком заголосят, а по ком и убиваться некому.

Вскоре приехал, спустился в шахту узнавший об аварии Дергасов. Вместе с ним были старший инспектор горного надзора Быструк и городской прокурор Мамаев. Работа повсеместно возобновилась. По главному стволу на-гора стали поднимать уголь, а в шахту спускать крепёж и другие материалы.

Бегло оглядев погибших, Быструк принялся мысленно составлять акт. Словно диктуя самому себе, привычно зачастил:

«Электромеханик Журов грубейшим образом нарушил правила безопасности, параграф семьсот семьдесят четвертый. Ремонтируя неисправный электро-воз АК-2 не в специально оборудованном тупике, а в сугубо опасной близости от вспомогательного ствола, являлся лицом по роду службы непосредственно ответственным за соблюдение техники безопасности...»

Немолодой, обрюзгший, он давно привык оказываться правым в любом случае и, выезжая на место происшествия, всегда и непререкаемо поучал всех:

если бы виновные не нарушили тот или иной параграф и не сделали то-то и то-то, ничего бы не случилось. С главным инженером шахты Дергасовым ему еще работать и работать, а Журов, Журов — другое дело: во-первых, он мертв, а во-вторых, всего лишь шахтный электромеханик, с ним можно и не считаться.

Дергасов занялся ликвидацией последствий аварии. Вспомогательный ствол следовало привести в порядок как можно скорее.

— Сколько приказов писалось, — вздохнул он со скорбно-сожаляющим видом. — Сколько во время нарядов говорилось — все равно...

Согласно кивнув головой, Быструк продолжал уже вслух:

— В действиях Журова наличествует грубейшее нарушение правил техники безопасности. Виноват и дежуривший по шахте маркшейдер Никольчик, не проследивший за тем, чтобы отогнали неисправный электровоз в ремонтный тупик и навесили двери в клетки.

— Еще бы! — желчно подтвердил Мамаев. — Статья двести четырнадцатая, часть вторая определенно говорит...

Таким образом, с непосредственными виновниками было ясно. Никольчик признался без обиняков, что за все происшедшее отвечает в первую очередь.

Быструк невесело поморщился, но сразу же постарался уточнить:

— Значит, вы знали, что электровоз «АК-2» поднят на-гора, находится в двенадцати метрах от вспомогательного ствола и что Журов ремонтирует его?

— А как же, — совершенно не стараясь уклониться от ответственности, простодушно подтвердил Ни-

кольчик. — И даже сказал, чтобы отогнали его в ремонтный тупик.

— Сказали? — вмешался Мамаев. — Или дали категорическое распоряжение? Кто может это подтвердить?

Дергасову хотелось изо всех сил подсказать:

«Да-да, распорядился, потребовал! Нельзя было допускать ремонт в неположенном месте, это же каждому ясно».

Но Никольчик то ли не понял его, то ли не захотел внять голосу рассудка. Скажи он так, как подсказывал Дергасов, и его бы спасли, выгородили.

— Не-ет, я только сказал, а не потребовал, — растерянно признался он. — Простить себе не могу, что в окно крикнул...

— Ну что ж, — подавляя естественное сочувствие, вынужден был согласиться Быструк. — Так и запишем. — И, обратившись к прокурору, сказал: — Сейчас я поднимусь в ствол, осмотрю, в каком состоянии клеть. А вы пока уточните, кого опросить из очевидцев?

Начальника шахты Костянику он знал не первый день и ни с ним, ни с Дергасовым портить отношения не собирался. Конечно, с техникой безопасности у них неблагополучно, но что случилось, то случилось. Следовало отметить все полагавшееся, так, чтобы по возможности обошлось без больших неприятностей для руководства.

Дергасов счел необходимым вмешаться.

— Возьмите же себя в руки, Петр Григорьевич, — мягко сказал он Никольчику. — И представьте мне объяснительную записку о том, как все произошло.

— Когда? — благодарно обернулся к нему тот. — Я действительно до сих пор сам не свой.

— Чем скорее, тем лучше. Это и для комиссии пригодится.

Покусывая губу, Мамаев принялся составлять список очевидцев.

«Во-первых, следует опросить Никольчика, — это было ясно. — Никольчик должен, так сказать, обрисовать общую картину с командной вышки. Затем — машиниста электровоза Янкова. Янков знал, почему не работал «АК-2», где стоял и тому подобное. Еще — рукоятчицу, стволового, машиниста подъема. И само собой — проходчиков: тех, кто спасся».

— Как фамилии спасшихся шахтеров? — спросил он у Дергасова. — В клетки...

— Волощук и, кажется, Косарев. Из смены Рудольского.

— Придется опросить их. Все-таки: не то потерпевшие, не то очевидцы.

— Обязательно! Я бы рекомендовал опросить еще и жену Журова...

Дергасов сам не знал, как это ему пришло в голову. Но Мамаев многозначительно возразил:

— Ну... вряд ли удобно. Говорят, у них семейные дразги...

— Она работает здесь. Вы ее как рукоятчицу опросите.

— Как рукоятчицу можно, — подумав, согласился тот. — Это совсем другое.

Нечего было и надеяться, что злополучный «карлик» удастся отремонтировать и заставить работать снова. Поглядев, как он покорежился, Дергасов приказал резать его автогеном и вынимать по частям.

«Придется просить в тресте новый, — решил он. — Наверно, не откажут теперь, занарядят!»

Самое трудное было позади. Предстояло еще со-

общить о случившемся в трест — начальству и в горком партии — первому или второму секретарю.

«Мозолькевич, пожалуй, знает уже обо всем, — озабоченно предположил Дергасов. — Чего-чего, а информаторов у него хватает. О хорошем не сообщат, а чуть случись что — наклеузничают!»

Он знал: управляющему трестом Мозолькевичу в конце концов лишь бы оказаться в сторонке.

«Пошумит, напустит черт те какой строгости, а все оставит как было. Только бы самому чистеньким да сухим из воды...»

У Мозолькевича, по-видимому, были гости. Взяв трубку телефона, он даже не дослушал сообщение об аварии.

— Завтра, завтра. Натворили... даже в воскресенье не отдохнешь!

Первый секретарь горкома партии Суродеев относился к Дергасову более чем сдержанно, словно всегда ждал от него чего-то вроде аварии. Дергасов охотнее обращался ко второму секретарю, Буданскому, с которым работал когда-то в строительном управлении и чувствовал себя почти на равных.

Нужно было не только доложить об аварии, а и убедить Суродеева не сообщать ничего в обком и совнархоз — под тем предлогом, что ничего особенного не произошло и можно не придавать значения случившемуся. Задумав это, Дергасов и тут решил действовать по-своему и позвонил не Суродееву, а Буданскому, чтобы в случае чего сослаться на разговор с ним.

Буданского дома не оказалось.

«Позвоню еще раз, — не собираясь отказываться от задуманного, сказал себе Дергасов. — Верно, в городе где-нибудь?» — и занялся неотложными делами.

Но что бы он ни делал, чем ни занимался — звонок Буданскому не давал покоя. Время шло: в тресте, наверно, знали об аварии, а если так, то дежурный мог сообщить о ней и Суродееву.

Убедившись еще раз, что Буданского по-прежнему нет, Дергасов подождал немного, словно собираясь с духом, и позвонил в трест. Тотчас же в трубке послышалось:

— Дежурный слушает.

Дергасов узнал, что Суродеев дома, а Буданский — уехал, и поскорее положил трубку. Похоже, Суродеев еще не знал об аварии; это немного облегчало разговор. Оставалось только найти верный тон. Самое лучшее — без нервозности, сдержанно рассказать, что случилось, заверить: необходимые меры приняты, работа продолжается, последствия вскоре будут ликвидированы, а виновные понесут наказание.

Мысленно повторив все это, Дергасов позвонил и внутренне подобрался.

— Иван Сергеич, — тревожней, чем следовало, заговорил он. — Извините, что беспокою в воскресенье...

— Ну-ну, — сдержанно повторил Суродеев, словно бы не расслышав или оставив в стороне все остальное. — Что такое?

— Беда у нас, на Соловьишке. Чрезвычайное, можно сказать, происшествие.

Суродеев ощутимо посуровел. Это чувствовалось по тому, как он выслушал все, как чуть-чуть, самую малость, помолчал.

— Аварии только не хватало!

Дергасов стал докладывать:

— Ночью вышел из строя электровоз-«карлик». Слесаря не смогли устранить неисправность, вы-

дали его на-гора. Пока ремонтировали — сорвался в шахту...

— Жертвы есть? — перебил его Суродеев, точно надеясь, что может быть обошлось хоть без этого.

— К сожалению, есть.

— Сколько?

— Трое. Четвертый — электромеханик Журов, — объяснил Дергасов. — Ремонтировавший электровоз.

— Так почему же трое? Он — что? Остался жив?

— Нет, разбился насмерть.

Суродеев сердито задышал в трубку:

— Чего ж вы путаете? Так и говорите: четверо. Что делается для ликвидации последствий?

— Работа в шахте продолжается. Ввиду полной невозможности использовать покореженный электровоз, автогенщики режут его и вынимают по частям. Как только закончат расчистку — пустим новую клеть, и вспомогательный ствол станет работать как работал.

— Комиссия по расследованию причин аварии прибыла? Кто возглавляет?

— Старший инспектор горного надзора Быструк. Выводы обещают представить завтра.

— Ну так, — вроде бы немного смягчился Суродеев. — Помощь требуется?

— Спасибо, Иван Сергеевич, — подчеркнуто поблагодарил Дергасов. — Никакой помощи пока не нужно, справимся своими силами. Единственно, о чем хотел бы попросить вас, — замялся он. — Если, конечно, согласитесь с моими соображениями...

— Ну?

— Считаю, что в область пока об аварии сообщать не стоит. Ликвидируем последствия, исправим все и в квартальном отчете упомянем. А то только подтвер-

дим паникерские сплетни. И так наш уголь в совнархозе не в почете. А после этого...

Он знал, что в области ходили разговоры о закрытии углеградских шахт, и, подкинув это спасение Суродееву, не ошибся. В совнархозе да и в обкоме партии сообщение об аварии могло произвести самое нежелательное впечатление, и Суродеев, сразу же представив себе все, вынужденно согласился:

— М-да, пожалуй. Может, и так.

— Так. Только так, Иван Сергеич, — поспешно заверил Дергасов. — Им только дай лишний козырь!

Но Суродеев уже не слушал. Казалось, он сделал какие-то свои выводы из всего и, как обычно, не собирался тратить время на пустопорожние разговоры.

— Когда Костяника возвращается?

— Завтра-послезавтра. Если что-нибудь не задержит...

— Простить себе не могу, что отпустил, — вздохнув, признался тот. И, не обещая ничего хорошего, посулил: — А о том, что произошло, мы еще поговорим!

4

О том, что произошло, разговоров хватало. Не потому ли Тимше привиделось: спускается он с проходчиками в шахту, а сверху на них — «карлик», с зажженными фарами, страшный. Ударил клеть, оборвал и, перевернувшись, ушел через расстрел в другую часть ствола.

Стремглав летя вниз, Тимша заметался на койке, сбросил одеяло, подушку. Задыхаясь от ужаса, с тру-

дом приподнял стриженую голову, очнулся и, ничего толком не понимая, оглядел темную комнату.

За окном на столбе диковинным ночным цветком распустился фонарь. Не поймешь со сна: не то — ромашка, не то — одуванчик. Пустые койки смутно виднеются по углам: соседи — в ночной смене.

В смежной комнате слышится недовольное кряхтенье, сонный зевок. Не поднимаясь, Волощук окликает:

— Чего ты? Приснилось что?..

— Не знаю, — Тимша силится вспомнить, что же такое приснилось, и не может. Только волосы еще ёжятся на макушке. — Привиделось... а-а-а!

— Чего ты? — Волощук — босый, в кальсонах — щелкает выключателем, щурится на пороге. — Приснилось, так очнись!

Тимша спускает ноги на пол, подбирает подушку, одеяло. Плечи трясутся, как в ознобе. На руках, на ногах — гусиная, в пупырышках, кожа.

— Привиделось: будто в клети я, а сверху — «карлик»! Ка-ак садану-ул...

— Петушок ты еще, — снова зевает Волощук. — На меня всамделе падал — я молчу, сплю. А тебе только приснилось — орешь благим матом.

Вздрагивая, Тимша словно бы виновато оправдывается:

— С зажженными фарами! Страховитый! Клеть оборвал и...

— Давай лучше перекурим, — рассудительно предлагает Волощук. — До утра часа два, не меньше.

— Кури, я не буду, — отказывается тот. Потом, помедлив, откровенно признается: — Не умею еще.

— Да ну? — Волощук идет к себе, приносит сигареты, спички. — Не маленький... эва какой вымахал!

— Никотинный яд сердце отравляет. И спиртной, алкогольный...

— Мы вчера с Косарем здорово хватанули. В «Сквознячке» — за спасенье от неминуемой! — Закурив, Волощук предлагает сигарету Тимше. — Задыми, чтоб на том свете скоро не ждали.

Завернувшись в одеяло, тот подбирает ноги, не решаясь отказаться, размашисто чиркает спичкой. Он и вправду не умеет еще ни курить, ни пить, хотя и понимает, что шахтеры без этого не живут.

Воротынцев перевел его вчера в смену к Волощуку. Четвертого пообещал дать в ближайшее время.

Стараясь не морщиться от дыма, Тимша сидит на койке и затягивается как можно реже, боясь поперхнуться, закашляться. Окончив семилетку, он не захотел работать в колхозе, удрал из дому — и, проштатавшись со стройки на стройку целое лето, прибился к осени в горное училище.

Волощуку тоже не по себе. Не то вчера действительно перебрали в «Сквознячке», не то он вспомнил, что было во время аварии, и хмуро поводит широчеными плечами.

— Ты давно в шахте? Чтой-то я тебя вроде не примечал.

Тимша боится признаться, боится соврать и, бросив обросшую пеплом сигарету в неприкрытое окно, едва слышно произносит:

— Четвертый день.

— А как зовут? Фамилия?

— Овчуков. Тимша.

— Тимофей, что ль? По-нашему.

— По-нашему, Тимофей. А по-сибирски — Тимша.

— А ты разве сибиряк?

— Нет, бельский. Дед когда-то, еще при царе,

в Сибири был. Привык там всех по-чалдонски: батю — Ваньшей, меня — Тимшей. Так и осталось...

— А в шахтеры ты не зря? — испытующе оглядывает его Волощук. — Может, лучше б еще куда?

Тимша мгновенно заводится:

— Я горное кончил. Еще куда — нас не распределяли.

— Лады, не тарахти с одного оборота, — Волощук добродушно смеется, но это почему-то совсем не обижает Тимшу. — Топором умеешь?

— В лесу вырос.

— А проходчиком хочешь стать?

— Хочу.

— Рудольский и Воронок прирожденные проходчики были, — словно не обратив внимания на его желание, вспоминает Волощук. — Настоящие побратимы! Работать — вместе, гулять — вместе. Вместе и смерть приняли.

Все в шахте кажется Тимше необыкновенным. Необыкновенны и сами шахтеры, тем более — погибшие так страшно.

— А лесогоны трепали: бузотеры они! С начальством схватились...

Затянувшись последний раз, Волощук ищет, куда бросить истаявший дымом окурок, и, не найдя ничего подходящего, сует в банку с цветком на подоконнике. Сильная его фигура кажется еще внушительнее — взлохмаченная со сна, чудная.

— Слыхали они звон, да не знают откуда, — осуждающе роняет он. И, видя, что новичок ничего не понимает, не без горечи принимается объяснять: — Не знаешь ты еще, что у нас, на девятке, творится. Гонка, штурмовщина, нескладица вавилонская!

Новички, вроде Тимши, не вникали в то, что

происходило в шахте. Знали: куда ни поставят, что ни прикажут делать — в получку оклад выведут.

— Рудольский не вытерпел. «Идем, говорит, к начальству! Потребуем, чтобы кончали с этим». А Дергас и разговаривать с ними не захотел. Забурился в кабинете... давно штыбу не нюхал.

Тимша решительно обхватывает себя руками за плечи.

— Коммунист настоящий не об себе, о других думать должен. Да только таких мало; больше — обыкновенных.

Задумчиво разминая поясницу, Волощук приглядывается к нему.

— Когда-нибудь все настоящими будут, — он вроде не ошибся, доволен. — Придет это время!

Только такими и должны, по его убеждению, быть шахтеры.

— А ты... бригадир?

Озадаченно покрутив головой, Волощук нехотя признается:

— Я беспартийный.

— Почему?

— Грехов много. — И, помолчав, дружески хлопает Тимшу по плечу так, что тот гнется. — Давай-ка завтра переселяться отсюда!

— Куда?

— К Косарю. Там в комнате две койки освободились.

Тимша настораживается:

— Чьи?

— Не все равно? Спи ложись да не ори благим матом, ежели что привидится. У меня прямо мураши по спине!



Волощук выключил свет, ушел, лег и сразу же сонно задышал. Потушенный окурок чадил никотинным перегаром. Тимша поднялся, выбросил его за окно; поеживаясь, закутался в байковое одеяло.

Ребята в училище засыпали мгновенно, а он должен был лежать, вспомнить, что случилось за день, оценить сделанное и несделанное, увиденное и услышанное. Иногда бывал доволен собой, радовался,

что поступил так, а не иначе, чаще корил себя за какую-нибудь глупость, сорвавшееся словцо или еще что.

«Все-таки мне здорово повезло, — думал Тимша, ворочаясь с боку на бок и глядя то на мутно расплывавшуюся стену, то в едва голубеющее окно. — Проходчикам в шахте — самый почет! Без них ни один шахтер к углю не подступится. А бригадир — отчаюга! Как это он про «карлика»? Ага: «На меня, говорит, падал — я молчу, сплю. А тебе только во сне привиделось — орешь благим матом».

Потом ему вспомнилось, как выносили из шахты погибших, как вместе со всеми собравшимися Тимша стоял у главного ствола и, сдерживая дыхание, ожидал поднимающуюся клеть. На площадке было тесно, жарко. Пугающе раздавались сигнальные звонки.

Наконец лязгнула дверь. Молоденькая докторица в измазанном халате приказала ожидавшим у ствола санитарам:

— Выносите! Осторожнее...

Собравшиеся подвинулись ближе.

— Кто это?

— Дайте же взглянуть!

Подчиняясь требованию, докторица откинула край брезента. Собравшиеся увидели синее, в кровоподтеках лицо звеньевого Рудольского, удивленно раскрытые, словно бы остановившиеся глаза Воронка.

— Как живой! Глядит... будто не расшибся.

— А Рудольский — в крови. И шея подвернулась: видно, позвонки повредил.

Родных ни у Рудольского, ни у Воронка среди собравшихся не было. Поспешно набросив брезент, докторица приказала санитарам нести их в машину «Скорой помощи».

Оцепенение ужаса прошло. А может, так думалось только Тимше. Он не любил глядеть на мертвых, повинуюсь необъяснимому внутреннему чувству, всякий раз отталкивавшему его, и с удивлением заметил, что молоденькая докторица совершенно равнодушно разглядывала их, поправляла завернувшийся брезент. Стараясь пересилить что-то внезапно подступившее к горлу, Тимша едва протиснулся к выходу, услышал, как снова лязгнула дверь, как раздался чей-то крик.

Выбраться наружу не было никакой возможности. В дверях и за дверями теснились так, что казалось удивительным, как шли санитары с носилками.

Рукоятчицы вели под руки молодую женщину с выбившимися из-под темного платка пышными волосами и словно оберегали от всех. Как ни было обезображено слезами ее лицо, оно поразило Тимшу озорной и тревожной красотой, казалось, говорившей всем: «А все-таки жизнь прекрасна!»

Тимшу прижали к самой стене. Краешком глаза

он видел, как несли Пазычева, как, покачиваясь, плыла откинувшаяся, разбитая голова Журова.

Оказавшийся рядом Янков бесшабашно выругался:

— Дур-рак! Себя и товарищей из-за дряни погубил...

Стало просторней. Тимша вздохнул всей грудью. Кто-то подтолкнул его в бок, шутливо обхватил сзади.

Он оглянулся. Никифор Чанцев и Олег Яремба, дружки по училищу, зажали его, как футболиста, в коробочку.

— Эка, на вдовку загляделся! Своих не замечаешь...

— Куда ему! Он теперь в смене вместо Пазычева. Наваждение чужой беды развеялось. Тимша встряхнулся, так же весело отозвался:

— А вы всё зубоскалите!

Чанцев, ражий, себе на уме, признался:

— Страховито, ребя, так-то на-гора выходить! Как эти... поубитые.

— Страховиты не они, судьба шахтерская, — возразил любивший жизненные обобщения Яремба. — Под землю идешь живой, а на-гора — сам не свой! То кровля придавила, то еще что... вроде «карлика».

Тимша засмеялся.

— Мне шахта каждую ночь во сне видится. Ей-богу!

— А ты не спи, — совершенно серьезно посоветовал Чанцев. — Лежи, ушьюми хлопай, муравьев считай...

— Каких еще муравьев?

— Где-нибудь в муравейнике.

Машины «Скорой помощи», гудя, тронулись в Угледград. Собравшиеся стали расходиться, на разные лады обсуждая случившееся.

Ребята пошли к Северному. После окончания училища их распределили по разным шахтам: Тимшу — на Соловьянку, Чанцева — на пятую, Ярембу — на шестую. Путь был один: сначала — подсобником, потом — как пофартит.

— Айда в столовку, — предложил Яремба. Низенький, смуглый, цыган не цыган, армянин не армянин, он любил поесть и часто говорил, что главное в жизни — питание. — Брюхо — злодей, вчерашнего добра не помнит!

— То-то ты о нем заботишься, — забористо поддел Чанцев. — А на сколько гульденов располагаешь?

— На восемьдесят с хвостиком.

— А ты, Тимша? Небось каждый день отбивные заказываешь?

Тимше неловко было признаться, что у него на обед нет и восьмидесяти копеек.

— Я больше на овощи нажимаю. От них, говорят, не состаришься.

— Вроде барана? — засмеялся Чанцев. — А у меня, признаться, ничего нет. Может, одолжите? Вчера с девчонкой в кино последнее на мороженом профинтил.

Они не удивились. К девчонкам Чанцев был равнодушен еще в училище и, стыдясь простецкого своего имени, называл себя каждый раз по-новому: то Андреем, то Константином, то Игорем.

— Давайте лучше сразу сложимся, — предложил практичный Яремба. — У меня восемьдесят восемь копеек. А у тебя сколько? Выкладывай, Тимша!

Отказываться было неловко. Тимша, не утаивая, выложил все, что имел.

— Двадцать, сорок, пятьдесят пять, шестьдесят.

Шестьдесят три, четыре, шесть. Шестьдесят семь, — считал Яремба. — Не густо! Давай свои, Ника...

Чанцев вывернул для убедительности карманы. — Я же честно: ни гульдена!

— Итого: рубль пятьдесят пять. Делим на три, получается — по пятьдесят две копейки. Исходя из этой сметы и нагружайте подносы. Хлеб бесплатный.

— Хлеба я могу съесть половину бохана, — похвастался Чанцев. — А если водой запивать, то и весь бохан!

Тимша шутливо поддел:

— А с мороженым? В кино!

Чанцев не понял, на что он намекает, и даже не завелся.

— С мороженым не пробовал. А что? Интересно — сколько бы умял?..

Уснул Тимша на заре, когда заалелось небо за магистралью и надо было вставать, собираться на работу. Розовые тени бродили по его лицу с характерной черточкой на подбородке, словно подчеркивавшей, что, не глядя на желание казаться старше, оно совсем еще мальчишеское и нескоро сформируется, приобретет окончательный облик.

Волощук вышел с полотенцем в руках и, увидав его, усмехнулся. Пора было вставать, но он решил не будить новичка еще минут пять, пока не умоется.

— Ох и кадру послал господь бог! Не то на руках нянчить, не то из рожка поить?

В нарядной было шумно. По всем углам слышался разноголосый говор, смех. Косарь, переодевшийся, в каске, играл за столом в домино и, завидев Волощука, весело крикнул:

— Лаврен, сегодня будем пиво пить! Я и на твою долю выиграл...

— А ну, — озабоченно отмахнулся Волощук. — Не до пива мне! — И, застегивая спецовку, спросил: — Воротынцева не видал?

— Всё! — Косарь изо всей силы стукнул шестерочным дублем по столу. — Считайте сухари...

Брезентовые штаны оказались Тимше коротковаты, но это было неважно, лишь бы накрывали голенища сапог. По обычаю многих горняков, он не заправлял их внутрь, а пускал поверх: если оступишься — не зачерпнется вода. Куртку можно было запахнуть вокруг чуть не дважды. Пришлось поплотней подпоясать ее брезентовым ремнем и не застегивать пуговицы на груди.

Оживленная толчея, шум, говор в нарядной нравились ему, сразу вводили в жизнерадостный и грубовато-здоровый шахтерский мир. В этом мире не было места унынию и скуке. Нелегкая и опасная работа заранее возбуждала деятельную, кипящую через край силу.

— Козорез, ну как? — допытывался у несклепистого, тощеватого проходчика высокий, сутуловатый навалоотбойщик Мудряков. — Опять сегодня вива Кубу петь будешь?

— Не твоя забота, — отмахивался тот, затягивая потесней брезентовый ремень, и то подбирал, то выпячивал живот. — Когда-нибудь и ты вроде моего запоешь!

Лесогоны обсуждали необходимость держать в хозяйстве подсвинков и птицу, чтобы не пропадали отходы.

— Одна беда: отходами не прокормишь. Летом еще так-сяк: крапивы нарубишь, мокрицы. А зимой...

— Раньше хоть отруби на посыпку продавали. А теперь ни черта не привозят!

Рядом слышалось:

— Ты в шахте без году неделю, а я, может, двадцать лет!

— Так ведь разряды разные. Ты — семь пятьдесят получаешь, он — шесть, а я — четыре.

— Комсомольцам можно на один счет работать. У них еще в голове не посеяно, под усами взошло. А нашему брату, семейному...

Еще дальше говорили об аварии и предстоящих похоронах, хотя, как Тимша заметил, шахтеры избегали распространяться об этом перед спуском.

— Завтра, наверно. Пока вскрытие да акты, да протоколы. Сегодня уж не успеют.

— Пазычев, ей-богу, весь целенький. Что снаружи, что внутри. Задохнулся, видно, пока летел.

— Не снимали бы дверь в клетки, целы б все были. «Карлик», он никого, кроме Журова, с собой на тот свет тащить не собирался.

— Ему что Журов, что не Журов — всё едино. Задурил и сверзился!

Потеснив игравших, Воротынцев разостлал на столе схему. Начальник участка Чистоедов стал объяснять задание.

— Вот он, Большой Матвей, как у нас лег. А штреки вот идут. Вкрест простиранию... соображаете? Откаточный — щит прокладывает; вентиляционный — проходческий комбайн.

— А как развязывать будем? — поинтересовался кто-то. — И крэпи опять же?

— Крэпи, как обычно.

— Как еще себя горные породы окажут? — почесывая в затылке, усомнился Воротынцев.

— Здесь песчаник. Большого давления не ожидается.

— На одиннадцатом участке тоже не ожидали, — напомнил Воротынцев. — А давление — больше ста тонн оказалось. Железное крепление и то...

Волощук протиснулся к начальнику участка.

— Александр Петрович, мы без четвертого не работники! Когда дадите?

— Что значит: не работники? — придрался к слову тот. — Скажи: в норму не укладываетесь — еще куда ни шло. А то — не работники. Кто ж вы тогда?

Обескураженно замявшись, Волощук не нашелся, что ответить. Работать втроем было трудно, но пожаловался он ради красного словца.

— Не укладываемся, конечно. Парнишка-то вроде ученика. Когда еще приспособится?

— Вот я и хочу дать вам настоящего проходчика, — словно вошел в его положение Чистоедов. — Жду, на примете имею. Потерпите.

Тимша боялся, что Волощук брякнет что-нибудь несуразное. Но тот покладливо согласился:

— Лады, потерпим. Только, чтоб настоящий проходчик был!

— Лучше некуда, — усмехнулся тот. — Артема Ненаглядова знаешь? Вот из больницы придет — и к вам. Согласен?

— Ненаглядыча хорошо бы, — обрадовался Волощук и предупредил еще раз: — Без обмана!

Возле ламповой его дожидался Косарь.

— Ну что? Дает или все обещанками кормит?

— Дает, дает, — Волощук удовлетворенно заторопился к стволу. — Ненаглядыч, обещает, из больницы придет — подключим.

Косарь смешливо хмыкнул.

— Посулил журку в небеси: «Вёснушка, принеси!»

Журку в небеси сулили проходчикам часто. Особенно хорошо это знали погибшие: Рудольский — потому, что был звеньевым, а Журов — по должности шахтного электромеханика.

В среду их хоронили. Четыре гроба были выставлены в нарядной на задрапированном, украшенном хвоей столе, где за день до этого Косарь играл в домино и где Чистоедов объяснял схему разработок Большого Матвея.

Заряженные шахтерки стояли у изголовья каждого гроба, будто Журов, Рудольский, Воронок и Пазычев собирались в шахту и замешкались по непонятной причине. Друг за другом сменялись в скорбном карауле уходившие на работу, вместо них становились поднявшиеся на-гора.

Хмурый, седоватый председатель шахтного комитета Гуркин приводил заступавших и уводил сменявшихся, пристегивал и снимал красные, с траурной каймой повязки, шепотом, словно боясь потревожить мертвых, отдавал приказания. И шахтеры подчинялись, знали — иначе нельзя.

Заплаканную, в слезах Алевтину поддерживали подружки-рукоятчицы. Невидящими глазами глядела она на обитые красной материей гробы, на погибших и, судорожно всхлипывая, ждала, когда всё кончится. Из-за цветов и венков ей было не видно затекшее синевой лицо Журова, а лишь смертно запавшее веко да безжизненно свесившаяся с подушки темная прядь. Взглянуть на голову Алевтина так и не смогла. Как сквозь воду слышала шепот сзади:

— Сорвался на клеть, с нее — в зумпф. Одна кепка на пятом ярусе застряла...

Ощущение собственной вины за то, что случилось, боролось в ней с чувством неожиданно облегчавшей душу освобожденности, и, по-прежнему всхлипывая, Алевтина с удивлением прислушивалась к самой себе. Что бы ни было, дрянью она себя не считала и, как всякая женщина, оскорблялась и страдала от того, что о ней думают так.

«Свое каждому дорого! Не дряннее я вас и всех других, а такую беду сам накликал...»

Вряд ли подружки догадывались о том, что ее мучило, да и сама Алевтина никогда не делилась переживаниями ни с кем, предпочитая таить их в себе. Но похороны были похоронами, и на них приходилось держаться, как положено: вдове — плакать и обессиленно клониться от горя; подружкам — поддерживать и утешать ее, как умеют.

Отец Рудольского — Антон Прокофьевич — приехал ночью из соседнего района, вызванный телеграммой, и стоял возле гроба сына, держа ее, словно оправдание того, что находится здесь. Совхозный счетовод, он принял известие о нежданной беде, как принимают в народе — молча и невыказываемо, особенно на людях. Но крупные, жгучие слезы временами выступали откуда-то, точно из глубины души, и, боясь, что не пересилит себя, он как платком смахивал их скомканным и рваным бланком телеграммы.

Жена гостила у старшей, замужней дочери в Смоленске. Антон Прокофьевич, решивший по-мужски принять удар беды на себя, со страхом думал теперь о том, что будет, когда она узнает о гибели сына. Представив вначале будто так лучше, он сомневался сейчас в правильности этого решения и невольно

страдал вдвойне—что хоронит сына один и что жена, наверно, не простит ему этого.

Ни Гуркин, ни члены похоронной комиссии не беспокоили его, справедливо рассудив, что старику нужно побыть наедине с сыном. И хотя могло казаться, что за ним внимательно наблюдают и при необходимости готовы прийти на помощь — он был предоставлен своему горю.

У Воронка никого из родных не было. Отца с матерью, погибших во время войны, он даже не помнил.

Девчонка, с которой гулял, прийти в нарядную постеснялась, переживала свое одна. В заказнике, за терриконом, было у них облюбванное, заветное местечко. Там, возле старого елового пня, рухнув на источенный муравьиными ходами, растрескавшийся его срез, она рыдала по-девичьи горько и щедро, не опасаясь, что кто-нибудь подслушает.

Казалось, горше этого горя не было ничего. Но даже муравьи, большие, черные, знали, что оно — только дань минуте, и щекотали голые, запеченные солнцем ее руки, точно старались отвлечь от мрачных дум и заставить снова радоваться безоблачному небу, цветам, травам и светлой, напоенной июньским теплом жизни.

Пазычев перебрался в Углеград из Товаркова. На похороны из его родных не приехал никто. Лишь из треста позвонили в шахтком, передали слова сестры:

«Больны дети. Хороните без нас...»

Работая здесь, он даже не завел себе подружки, держась компании холостых шахтеров, которая и на поверхности вместе ходила в кино, в «Сквознячок», на футбол и в заказ. Не отставая от других, Пазычев

жил, как жили в Северном многие, стараясь не перебирать хмельного и не перерабатывать лишнего.

А духовой оркестр все играл и играл — не очень ладно, надрывно. И женщины вторили ему отчаянно прорывающимися всхлипываниями. В нарядной было душно. Несмотря на хвою, от гробов веяло явственно ощутимым и сладковатым тлением — так, что порой становилось невозможно дышать.

Тимше тоже хотелось постоять в почетном карауле, но Гуркин все не догадывался вызвать его в соседнюю комнату, где надевали повязки подходившие шахтеры. Стараясь соблюдать приличествующее выражение лица, он мялся неподалеку от двери и обиженно следил за всем, что делалось вокруг.

Он видел — Гуркину совсем не жалко погибших. И Тимша не уважал его за это. А может, еще и потому, что Гуркин не признавал его, Тимшу, за шахтера.

Волощук остановился возле, сдержанно кивнул.

«А-а, ты здесь? — казалось, обрадовался он. — Ну, лады! — И еще Тимше почудилось, что тот подтвердил: — Помню всё, что было ночью; помню и не отступаюсь. А ты?..»

«И я, и я, — ответно рванулось в нем. — Помню и не отступаюсь!»

В руках у Волощука были полевые цветы. Подойдя к гробу Рудольского, он рассыпал их по красному покрывалу, затем то же самое сделал у гроба Воронка, а вернувшись — положил оставшееся Журову и Пазычеву.

Женщины отозвались на это новыми всхлипываниями, а Алевтина вспомнила, как собиралась с мужем в заказник и как ушла одна, оставив его возле

«карлика» — на несчастье и гибель. Губы ее резанула вдруг непритворная боль.

Зверобой, ромашки, колокольчики, мать-мачеха, конечно, не шли ни в какое сравнение с венками, но Тимше, по совести, казались намного милей и дороже. Он оглянулся, высматривая, как отнеслись к цветам собравшиеся, и увидел, что то же самое чувствовали и другие — рукоятчицы, поддерживавшие Алевтину, отец Рудольского, сменившиеся из почетного караула шахтеры и даже сам Гуркин.

Когда позвали Волощука в соседнюю комнату, тот оглянулся, сделал знак Тимше. В готовившейся смене как раз не хватало четвертого.

Пришпилив им траурные повязки, Гуркин приглушенно скомандовал:

— Шагом... марш!

Волощук шел первым, за ним — Косарь. За Косарем — Тимша, а последним — Никольчик. Толпившиеся у дверей расступились, пропуская их: навстречу ударил сладковатый и душный запах, поднимавшийся от гробов.

Стоявшие в карауле сделали шаг в сторону, а на их место встали пришедшие. Тимша оказался в одном ряду с Волощуком. Вытянувшись в струнку, он глядел на красную обивку гробов, на венки, на рассыпанные, привядшие полевые цветы и ощущал торжественный холодок в груди.

Пазычев лежал как живой. Ни на голове, ни на лице не было ушибов и кровоподтеков, точно он не разбился, вывалившись из клетки, а улегся и заснул сам, своей волей.

Скорбно сжав полиловевшие губы, Никольчик не глядел ни на кого. Многим думалось: он боится судебной ответственности, но это было неверно. На

самом деле Никольчик судил сейчас сам себя более пристрастно и безжалостно, чем любой суд.

В горной промышленности он работал больше двух десятков лет, был опытным и знающим маркшейдером. Как командир производства, Никольчик во время дежурства отвечал за вверенных людей и обязан был проверить, где ремонтируется поднятый на-гора электровоз, приняты ли необходимые меры безопасности.

«Должен и обязан, — с горечью повторял он. — А на деле — преступное ротозейство, непростительная беспечность!»

Перебирая чуть не по минутам злополучное то воскресенье, Никольчик старался найти, что привело к непоправимому несчастью, — и не мог. Беспечность подводила многих; погубила она и Журова. А Никольчику — отвечать за нее не только перед судом, но и перед своею совестью. И совесть, как строгий и нелицеприятный судия, приговаривала его к самому суровому наказанию, куда более серьезному, чем то, что мог назначить суд.

Ровно в двенадцать четыре гроба — один за другим — медленно показались из нарядной и на плечах шахтеров поплыли к кладбищу под тягучий похоронный марш. Машины, предназначенные везти их, так и не понадобились, ехали сзади.

Тимша шел с Волощуком, стараясь думать о смерти, и как-то не мог сосредоточиться. Происходившее представлялось ему порой просто ненастоящим, не взаправду. Но всхлипывал кто-нибудь из женщин, надрывно заводил оркестр — и, оглядываясь, он снова убеждался, что все это не во сне, а наяву.

Тяжело ступая, Волощук вполголоса убеждал Косаря:

— Мы же с тобой дружки?

— Ну, дружки.

— Комендантшу я уговорю. Не все ли равно кто где живет?

— Несговорная она баба, — усмехнулся тот. — С чудиной.

— Пускай. Мне-то что?

— Молодых да смазливых не любит!

«Думал ли он, что мог бы лежать рядом с погибшими? Или вместо них? — ужасался Тимша. И приглядывался к Косарю: — А Косарь?..»

Чубатый, золотобровый, тот украдкой тянул спрятанную в рукаве папироску и был полон бьющей через край силы жизни. Даже не представлялось, как бы он мог оказаться на месте Рудольского или Воронка. А медные трубы оркестра выводили и выводили свое — надрывно-горевое, мучительное.

Вчера, обсуждая подробности похорон, Гуркин поспорил с Дергасовым: Комиссия предложила хоронить погибших не по отдельности, а всех вместе — в братской могиле.

— Вместе они смерть приняли, вместе и лежать должны! Как на фронте...

Возражать против этого было трудно. Но Дергасову затея с братской могилой показалась сомнительной. Хорошо представляя себе, что придется еще отвечать за аварию, он опасался всего, что могло не понравиться начальству и так или иначе усугубить происшедшее.

— Ну, мы не на войне, — не скрывая, что нервничает, возразил он. — Не выдумывайте!

— Народ предлагает, Леонид Васильич, — чувствуя, что его не переубедишь, сказал Гуркин. — Комиссия похоронная, шахтеры...

Не терпевший возражений Дергасов вспыхнул:

— А ты что — флюгер? Крутишься на ветру!

Странные у них были отношения. Вслед за начальником шахты Дергасов считал, что может, не стесняясь в выражениях, говорить Гуркину все, а тот сносил это и обычно помалкивал.

Но вчера Гуркин, должно быть, почувствовал, что этому пришел конец, и взорвался тоже.

— Я флюгер, а ты — петух! Как бы не сорваться тебе да не полететь с него по-петушиному!

Так и не решив, как хоронить погибших, он хлопнул дверью и ушел. Дергасов не успел даже оборвать, поставить его на место.

Оставшись один, он надумал позвонить Суродееву, исподволь выяснить, внял ли тот подсказке, и заодно посоветоваться, как хоронить погибших: по отдельности или в братской могиле. В случае чего будет оправдание: все, мол, согласовано с горкомом.

Набрав номер, он совсем другим тоном, совершенно не похожим на тот, каким разговаривал с Гуркиным, назвал, попросил соединить с Суродеевым. Немного погодя, как обычно, послышалось:

— Слушаю.

— Иван Сергеич, здравствуйте! — поскорее поздоровался Дергасов. — Опять я вас беспокою.

— Здравствуйте, — отозвался Суродеев. В голосе его не слышалось ничего, что могло бы встревожить. Глуховато-сдержанный, он звучал, как всегда.

Дергасов ждал: Суродеев спросит, как дела в шахте, как с планом добычи, но тот не спросил. И поняв, что ничего не случилось, заговорил сам:

— Простите за доuku, Иван Сергеич. Шахтком наш, похоронная комиссия предлагают хоронить по-

гибших не по отдельности, а всех вместе — в братской могиле.

— Ну и что? — против ожидания, не возразил Суродеев. — Хороните.

— А удобно ли? Не война ведь, не партизанщина. Как это будет выглядеть со стороны?

Суродеев во время войны партизанил в соседнем районе. Вспомнив об этом, Дергасов прикусил язык: упоминать о партизанщине явно не следовало.

— Так и будет выглядеть: братская могила, — не обратив внимания на его слова, сказал Суродеев. — Со временем поставим на ней памятник.

Передернувшись, точно от зубной боли, Дергасов попробовал возразить, надеясь еще, что, может, удастся переубедить Суродеева и в этом, как убедил не сообщать об аварии.

— А я думал: лучше по отдельности...

Но тот не дослушал его.

— Когда похороны?

— В двенадцать.

— Я подъеду.

«Зачем?» — едва не вырвалось у Дергасова. Но совладав с собой, он предупредительно заверил:

— Буду ждать, Иван Сергеич!

Даже не догадываясь об этом разговоре, Гуркин шел вместе с другими провожавшими и беспокоился о том, как обойдется все на кладбище. Первая половина похорон прошла вроде хорошо. Народу собралось достаточно, почетный караул был. Теперь его тревожила только гражданская панихида.

Взяв на свою ответственность решение комиссии хоронить погибших не по отдельности, а в братской могиле, он не раскаивался. Какой-то внутренний голос

говорил, что все правильно, и Гуркин охотно повиновался ему.

«Не всякому это понять, — думал он о Дергасове. — А шахтеры наши правильно почувствовали: в братской могиле лучше!»

— Роман Дмитрич, — подошел к нему Воротынцев. — Не пора ли носильщиков подменить?

— Пора, пора, — согласился Гуркин и, опомнившись, приотстал распорядиться, подобрать замену несшим гробы.

Когда умолкал оркестр, становилось слышно, как звенят жаворонки. Над копрами шахт, над окрестными полями рассыпались валдайские их колокольцы, неумолчно славившие жизнь, солнце, радость бытия, — и Тимше начинало сдаваться: смерти вправду нет, мертвые услышат жаворонков и поднимутся, а духовой оркестр вместо тягучего похоронного марша ударит вдруг что-нибудь веселое, живое.

На половине дороги несших гробы сменили другие. Оркестр снова завел свое.

Возле раскрытых ворот кладбища виднелся обтерханный горкомовский «газик». Гуркин, так и не снявший нарукавную траурную повязку, заторопился к Суродееву:

— И вы с нами? Спасибо от родственников, от всех, Иван Сергеич!

Место для братской могилы выбрали под двумя шатровыми елями, будто сошедшимися по-матерински осенить погибших. Гробы поставили в ряд на свежей насыпи. Последний раз грело их летнее солнышко, последний раз обвевал июньский ветерок.

Секретарь шахтного парткома Чернушин был в области на семинаре. Поэтому Гуркин, собиравшийся

выступить вместо него, заранее подготовил речь и даже держал в руках бумажку.

Привыкнув проводить с руководством все мероприятия, он протиснулся к насыпи, вздохнул.

— Подождем Дергасова или будем начинать? А то людям скоро на смену.

— Начинайте, — согласился Суродеев. — Кто будет выступать? Ты, Роман Дмитрич?

— Давайте я.

Взобравшись повыше, Гуркин обнажил слегка засевшую голову. Забыв про бумажку, он скорбно и возвышенно заговорил о том, что погибшие шахтеры погибли благодаря несчастному случаю, что происшествия всегда были и, возможно, будут, если не перестанут пренебрегать правилами безопасности, как, например, тот же электромеханик Журов, даже не отогнавший неисправный электровоз в ремонтный тупик...

То ли под влиянием минуты, то ли потому, что так уж полагалось, Алевтина отозвалась на это приглушенным рыданием. Женщины всхлипнули, засморкались.

Гуркин почувствовал себя в ударе, возвысил голос и закончил речь тем, что все, кто здесь и кто не сумел прийти, находясь на трудовом посту, прощаются сейчас с погибшими товарищами с чувством боли и горечи, но без слезливой растерянности, как принято у советских людей.

Оркестр приготовился было играть, но исполнявший обязанности капельмейстера трубач вовремя спохватился, опустил нестерпимо горевшую на солнце валторну. Вслед за ним опустили инструменты и остальные музыканты.

«Ну, все, кажется, — с облегчением подумал,

соступая с насыпи, Гуркин. — Теперь только бы поминки...»

Мобилизовав кое-какие средства, он передал их похоронной комиссии. Поминки решено было организовать на квартире у Журовых, а подготовку поручили Марфе Ненаглядовой, считавшейся незаменимой во всех подобных мероприятиях, и смертельно обиженной бы, если б ее обошли.

Суродеев поднялся повыше.

— Товарищи, — сказал он не очень громко, но так, что было слышно всем, и пригладил рукой спутанные ветром волосы. — Мы прощаемся сегодня с самыми лучшими горняками вашей шахты, с передовиками самоотверженного труда, погибшими на своем посту из-за халатного, прямо-таки преступного отношения к технике безопасности. Кто такие звеньевой Рудольский, проходчики Воронок и Пазычев? Ударники коммунистического труда! Кто электромеханик Журов, поплатившийся жизнью за непростительное пренебрежение к установленным правилам работы? Молодой коммунист, преданный, беззаветный, взявшийся ремонтировать неисправный электро-воз в свой выходной день...

Алевтина перестала всхлипывать и слушала, не вытирая катившихся слез, будто совсем не знала, какой у нее муж, и будто впервые видела его вот таким — на людях. На мгновение ей даже почудилось, что Журов сейчас поднимется, смущенно махнет рукой: «Ну, какой я передовик? Неужто получше не нашлось?..»

Но других не было. Суродеев говорил о нем.

— В начале года мы в городском комитете вручали ему партийный билет. Журов мог соскочить

с электровоза в самую последнюю минуту, когда стало ясно, что катастрофа неизбежна. Но он не пошел на это, не стал спасать свою жизнь ценою гибели товарищей, до последней возможности старался предотвратить аварию.

Словно подняв его из гроба и показав присутствующим во весь рост, Суродеев оглядел всех и, переводя дыхание, закончил:

— Виновные ответят за свои проступки, порядок в шахте будет наведен. А память о погибших в борьбе за выполнение семилетнего плана останется в наших сердцах навсегда!

И, не сходя с насыпи, попрощался с ними:

— Прощай, товарищ Журов! Прощай, товарищ Рудольский! Прощай, товарищ Воронок! Прощай, Пазычев...

Трубач сделал знак музыкантам. Они дружно подхватили шопеновский траурный марш.

Вслед за Суродеевым попрощался с погибшими и Гуркин. Антон Прокофьевич опустился у гроба сына и, поцеловав почужевшее его лицо, разрыдался без памяти.

Провожавшие зашептались:

— Наконец-то.

— Со слезами и горе с души сойдет...

После речи Суродеева Алевтина, казалось, глядела на мужа совсем другими глазами, и когда подошла пора прощаться, сердце ее пронзила такая нестерпимая боль, что она упала на открытый гроб и забилась, как раненая птица. Казалось, легче было лечь с ним, чем подняться, глянуть в глаза окружающим.

Выждав немного, ее увели. С погибшими стали прощаться все остальные. Кто, низко припадая, цело-

вал холодный лоб, окаменевшие губы, руку, а кто только наклонялся, клал цветы и негромко ронял:

— Прощай, голубчик!

Сделав усилие, Тимша хотел подойти, попрощаться тоже и не смог. Какое-то чувство, отталкивавшее его, не позволило приблизиться к мертвым, несмотря ни на что.

Наконец гробы стали опускать в могилу. Издали, с шахты, донесся прощальный гудок, провожая отошедших в последний путь.

Стоя на возвышении, трубач зорко следил за работой могильщиков. Едва гробы закрылись землей, похоронный марш сменился гимном.

Все выпрямились, подобрались. Даже женщины перестали всхлипывать, словно выплакали все слезы, и затуманенными глазами загляделись в дневную синь.

Алевтина впервые после трех страшных дней задумалась над тем, как будет жить вдовой и как хорошо, что дети не присутствуют на похоронах, не видят ни могилы, ни отца в гробу.

После похорон Гуркин задержал Суродеева, отвел в сторонку. Сознание исполненного долга не мешало ему думать о более прозаических вещах.

— Иван Сергеич, на поминки, — заговорил он, заклоняясь спиной от уходивших с кладбища, чтобы не услышали кому не следовало, кого за недостатком места и средств просто не приглашали. — Хоть на полчасика...

— Нет-нет! В горькоме ждут, — решительно отказался Суродеев. — Не могу!

У выхода его перехватил Дергасов. Не дождавсь Суродеева в шахтоуправлении, он решил, что того задержали дела, и успел на похороны только к самому концу.

— Иван Сергеич, я вас у себя ждал. А вы, оказывается, прямо сюда, — пытаюсь объяснить опоздание, виновато сказал он. Но Суродеев только махнул рукой и уехал.

Гуркин пригласил на поминки Антона Прокофьи-ча, осиротело стоявшего у ворот, и, забыв о давешней ссоре с Дергасовым, подошел к нему.

— Леонид Васильич, с нами, — не придумав ничего другого, сказал он. — Родственники просят!

Все еще переживая неудачное объяснение с Суродеевым, тот смерил Гуркина негодующим взглядом.

— Ты что? Мне же нельзя участвовать в подобных мероприятиях. С подчиненными...

«Почему?» — хотел спросить Тимша, но не спросил и, понимая, что на поминки его не позовут, освобожденно и без сожаления вздохнул.

6

Без сожаления покончив с хлопотами на кладбище, Гуркин шел к Журовым и освобожденно думал о том, что все скоро кончится. Приглашенные уже собрались и, сдержанно переговариваясь, ждали его возле крыльца.

Как ни тяжелы похороны, а приносят облегчение даже в самом неутешном горе. Так было и на этот раз. Как и все, Гуркин ощущал неотложную необходимость хоть немного восстановить потраченные силы, отвлечься от пережитого.

— Садитесь! Садитесь! — пригласила собравшихся Марфа. Седая, крупная, она была из тех шахтерок Подмосковья, что ни в чем не отличают себя от муж-

чин: умеют и уголь кайлить, и стол накрыть, и водку пить, и детей растить. — Помянем наших новопреставленных! Пухом им земля...

Она сразу смекнула, что первым на поминках будет председатель шахткома и посадила Гуркина во главе стола. Места всем остальным определялись так же безошибочно. Антон Прокофьич и Алевтина оказались по обе стороны Гуркина, а Волощук и Косарь — рядом с ними. Затем сидели члены похоронной комиссии, Воротынцев, подружки Алевтины, Янков. Себе самой Марфа оставила место в конце стола — напротив Гуркина.

— Ну что ж, — в меру скорбно проговорил он, подняв налитую до краев стопку. — Вечная память им, нашим героям! Пока будет стоять Углеград и наши шахты...

И выпил, не чокаясь ни с кем, как положено по обычаю.

— Пухом земля! — подхватила снова Марфа. — В ней они самые лучшие свои дни проводили, в ней и лежать будут. Все рядышком...

Антон Прокофьич подсолил стопку собственными слезами, Алевтина едва пригубила. После выступления Суродеева она все еще не могла прийти в себя и время от времени виновато и судорожно вздыхала.

Скованность и напряжение первых, особенно тягостных, минут прошли. Все оживились, заговорили. Зазвенели ножи и вилки.

— Земля-глинка, не своя перинка!

— Место-то видное. Под елочками...

— Какое ни место, своей волей ложиться никому не охота.

— А начальство, вишь, побрезговало—не пришло. Воротынцев счел необходимым объяснить:

— Должность не позволяет. Со своим братом-инженером пей-гуляй; с нами, шахтерами, — погоди.

Первая стопка обычно не производила на Волощука никакого впечатления. И сейчас, выпив, он даже не стал закусывать, тоскливо ожидая, когда предложат еще.

Наконец Марфа вспомнила о нем и Косаре и, налив сидевшим поблизости, провозгласила:

— Выпьемте ж и за тех, кто остался жив! Верьте не верьте, а это — чудо...

— Да ну-у, — хмуро отмахнулся Волощук и, воспользовавшись предложением, налил, опрокинул в рот вторую стопку. — Не успеёшь мы тогда за поручни — лежали б сейчас с ними. Как побратимы.

— А ты что думал? В том и чудо.

Молчавший до этого Янков диковато уставился в тарелку и отрывисто проговорил:

— Кому чудо, а кому юдо. Бросьте вы лучше, а то...

Что он имел в виду, так и осталось недосказанным. Алевтина и Косарь переглянулись, будто подумав об одном, и сделали вид, что это их не касается.

Антон Прокофьевич казался пьян не столько от вина, сколько от горя, и сидел, задумавшись о чем-то своем. Волощук осторожно тронул его за плечо, спросил, когда уезжает.

«Кончатся поминки, разойдутся все, — опасался он. — Надо бы пристроить куда старика: пускай хоть отдохнет, поспит...»

— Вечером, — очнувшись, отозвался тот. — В совхозе у нас бухгалтер в отпуску, я один.

— А вещи? Надо же забрать: они в общежитии, у комендантши, опечатанные.

— Какие у Сашуньки вещи! Прошлый год в

отпуск заезжал — в рубашечке трикотажной, пиджачок на руке. Как студент...

Обернувшись к Гуркину, Волощук предложил:

— Роман Дмитрич, в общежитии у комендантши вещи Рудольского остались. Позвоните, чтоб отдала. Мы с папашей сходим.

— Обязательно! Я и забыл совсем...

Алевтина, сидевшая почти безучастно, напомнила:

— Телефон у соседей. Напротив.

— Сейчас позвоню, — сказал Гуркин. — Ну, давайте за нашу шахту! За то, чтоб мы план добычи выполнили!

С каждой стопкой за столом становилось все оживленней. Наконец Гуркин тяжело поднялся и, заметно пошатываясь, пошел звонить. Морщинистое его лицо побагровело, но глаза нисколько не охмелели.

Жара спала. Похоже было, что с запада надвигается гроза. Там громоздились причудливо мрачные тучи, полосовали сгустившуюся темень молнии.

Комендантша встретила пришедших на редкость участливо. Вещи Рудольского были перечислены по описи: новое демисезонное пальто, выходной костюм, ботинки, белье, пыжиковая шапка, ни разу не надеванная и попахивавшая нафталином.

Антон Прокофьевич расстроился, с трудом держал ручку, расписываясь в получении. Без помощи Волощука он вряд ли сумел бы упаковать всё.

— Как же я их матери? Она ведь с ума сойдет, как увидит...

Волощук решил поговорить о переселении.

— Разрешите, Варвара Максимовна. Мы теперь — одна смена и лучше нам всем вместе.

— Чего ты меня интригуешь? — засмеялась, не стала возражать комендантша. — Перебирайся! Да

гляди, чтобы чисто-культурно было, без разных там фиглей-миглей и прочего.

— Я не один, — напомнил Волощук. — Со мной еще парнишка... Овчуков Тимофей.

— Из тридцать четвертой, что ль? Постельное бельё с собой захватите! Менять среди недели не буду.

Вопреки опасению, всё вышло как нельзя лучше. Обрадовавшись, Волощук чуть не перехвалил комендантшу.

— Святая вы женщина, Варвара Максимовна! Дай бог вам ангела мужа!

— Все вы ангелы, пока да что, — довольно зардевшись, отмахнулась та. И, вспомнив о вещах Воронка и Пазычева, лежавших в кладовой, поинтересовалась: — А за ними кто явится?

— Вещи Пазычева, наверно, сестре отсылать придется, — сказал Волощук. — А у Воронка родных нет.

— Куда ж мне их определять?

— На реализацию, наверно, отправят...

Собравшись уходить, Антон Прокофьевич замялся, смущенно спросил:

— Значит, Сашунька в этом общежитии жил?

— Здесь. На первом этаже.

— А можно мне в ту комнату? Хоть на койку его погляжу...

Растроганная комендантша взяла ключ, повела их в комнату, где жили Косарь, Рудольский и Воронков. Увидав раздетую койку сына с промятым матрасом и слежавшейся, как блин, подушкой, старик рухнул на нее ничком и замер, жалко трясясь худыми, непоправимо осиротевшими плечами.

Волощук обнаружил в углу завалившуюся зажигалку, пытаясь отвлечь его, сказал:

— Это Сашунькина. Возьмите.

Антон Прокофьич взял зажигалку, повертел, словно не зная, что с ней делать, и вернул ему. Она была в виде ракеты со спутником. Сноп огня, казалось, мог унести ее из рук далеко-далеко.

— Я не курю. Пускай уж тебе на память.

— Лады, раз такое дело, — не стал отказываться Волощук и растроганно поблагодарил: — Спасибо!

Будто почувствовав облегчение, Антон Прокофьич оглядел комнату долгим, запоминающим взглядом и, сгорбившись, обернулся. Видно было, что он собрался в дорогу и ждал теперь, когда можно уйти.

— Ну, до свиданья! Будет что рассказать матери. Когда успокоится...

Гуркина и Воротынцева за столом уже не было. Всем распоряжался Косарь, а Марфа хозяйничала на кухне, угощая поминальщиков и успевая выпивать сама.

Увидав вернувшихся, она торопливо вынесла миску разварившейся рисовой каши, стала угощать их, как маленьких:

— Кутьи, кутьи! Без нее — не поминки, свычай не весь...

Волощук съел несколько ложек, поднялся.

— Куда ты? — окликнул его Янков. — Еще гляди сколько водки остается!

— Пора и честь знать.

— А ты не спеши. Узнай сперва, что хозяин скажет?

Не поняв, Волощук даже вздрогнул. На миг показалось, что Журов жив и, пока их не было, вернулся с кладбища.

— Какой хозяин?

— Не видишь? Не успели Журова схоронить, объявился. Ишь, хозяинует...

Предотвращая скандал, Марфа схватила Янкова сзади в охапку.

— Ты что это, а? Сейчас же за порог!

Не попрощавшись ни с кем, тот покорно отправился на крыльцо. Там, оставшись один, попытался досказать беспорядочно теснившееся в душе.

— Эх, Ларионыч! Свято место пусто не бывает: черти налезут!

Захмелев, Косарь и вправду почувствовал себя хозяином. Сходил за водкой, принес две бутылки и наливал кому хотел, пил с кем нравилось.

Увидав Волощука, он плеснул остававшееся в стакан, предложил:

— Лаврен, дружок мой стоеросовый! Давай выпьем! Живым — жить, а мертвые пускай на кладбище...

— Ступай домой, Федор, — сердито приказал Волощук. — Слышишь?

— А что? Я и тут выплюсь, — заартачился Косарь. — Сейчас свадьбу-похоронку эту разгоню, и...

Не оставалось ничего другого, как отвести его в общежитие. Попросив Антона Прокофьяча подождать, Волощук подхватил, увел Косаря.

Все стали расходиться. Одна только Марфа держалась по-прежнему и, хотя выпила не меньше других, привычно убирала посуду. Оставшуюся закуску переложил на чистые тарелки, водку слила в бутылку, справедливо рассудив, что ее еще можно будет выпить, если не в мужской, то в своей женской компании. Кутью поставила в духовку: завтра из нее

хозяйка сделает сладкую бабку, а не то самую обычную рисовую кашу.

Сидя на крыльце, Антон Прокофьевич думал о шахте, где работал и погиб сын, и замутившимися глазами глядел на террикон, на копер, на окрестные поля. Покончив с уборкой, Марфа вышла к нему. Рябоватое ее лицо, со следами давней оспы, было потно.

— Чайку, Прокофьевич? Сейчас заварю...

— Ох, не до чаю, — поспешно отказался он. — Скоро уж и на поезд.

Марфа присела напротив, утерлась краем передника. Она редко теряла способность здраво оценивать окружающее и не забывала ни о чем.

С той поры, как Антон Прокофьевич сошел на станции, добрался автобусом до шахты и увидел сына в гробу, с ним никто не поговорил по-настоящему, хотя в выражениях сочувствия и не было недостатка. Все время — в нарядной, на кладбище и здесь, на поминках, — он чувствовал себя никому не нужным, переживая не только потерю сына, но и собственную отчужденность.

Словно согласившись, что ему не до чаю, Марфа раздумчиво заговорила:

— Саша-то старшой у вас?

— Нет, старшая — Верочка, — горько и через силу отозвался старик. — Замужем. В Смоленске.

— Внуки есть?

— Есть. Внучке два годика скоро.

Марфа выслушала все это с самым живейшим и неподдельным участием.

— Бабушка, стало быть, у них сейчас гостует?

— У них, у них. А то бы совсем беда!

— Да-а, беда, — посочувствовала та. — От дочек

всегда скорей деду с бабкой яблочки катятся. Будь бы Саша женатый — и от него бы тоже.

— До армии гулял он с одной, — вспомнив, стал рассказывать Антон Прокофьевич. — Чуть не женился. Да пока служил — не дождалась, замуж выскочила. Так и остался. «Теперь, сказал, не женюсь, пока настоящую подругу жизни не найду!»

— Самолюбивый, значит, был, — одобрила Марфа. — Другие сразу в тот же самый омут кидаются.

— Золотая душа! Обмана, несправедливости ни на вот столько не терпел, — показал кончик мизинца старик. — И тут не удержался — с начальником каким-то за правду сцепился. Не знаю — верно, нет ли?

— Верно, — подтвердила она. — Об этом все знают.

— С кем же он не поладил? Я хотел у секретаря спросить, на кладбище, да постеснялся.

— С главным инженером нашим. Пришли добиваться, чтобы порядок навел, а тот и слушать не захотел. Ну, ребята и обиделись...

Пока вернулся Волощук, они успели переговорить обо всем, что теснилось в душе; без этого горе казалось бы неразделенным еще много-много дней. А так всё — как оно должно быть, и можно было уезжать, зная, что тебя не оставили в беде, что ты держался по-настоящему и теперь справишься с ней и дома.

— Отвел? — спросила, поднимаясь, Марфа. — Чтой-то он ослабел так?

— Переугощала ты его, — упрекнул Волощук. — Но теперь он дорогу сюда забудет.

— И правильно. А то уж от людей стыдно.

Алевтина была в сенях и, не стерпев, выглянула, оборвала ее:

— А ты чужой стыд на себя не бери! Я сама знаю, как с ним быть.

Антон Прокофьевич стал прощаться.

— Ну, до свидания! Пора уж на вокзал...

— До свиданья! До свиданья! — Марфа проводила их за калитку и тоже пошла домой. — Не поминайте лихом, ежели что.

— Спасибо за все.

Словно не веря еще, что все кончилось, Алевтина вернулась в комнату, поправила накидку на диване и, опустившись на него, трудно задумалась. От тишины звенело в ушах, перед глазами мреяли круги. Самый раз было подумать о том, как жить дальше, что делать. Но вместо этого на ум приходила какая-то чепуха: обрывки воспоминаний, давние обиды, чудные и несбывшиеся мечты.

«Надо бы платьишко какое пошить, — прикидывала она и пыталась вспомнить, есть ли у нее подходящий материал. — Что-нибудь потемней, поскромнее. А то опять им стыдно за меня будет. Хоть голая ходи, и то не угодишь! Ни с кем не встречайся, не разговаривай — все равно осудят да под монастырь подведут!»

Отлично понимая, что это не так, Алевтина не могла отказаться от щемящего душу удовольствия чувствовать себя жертвой людской несправедливости. А призрачные июньские сумерки наплывали, причудливо меняя очертания предметов и сгущаясь по углам.

«Три года еще учиться мне, — точно убеждая себя в этом, твердила она. — Только бы выдержать, не бросить. Дергасов обещал на ребят пенсию оформить. — И снова радовалась, что их нет дома, что тяжелое и навек запечатлевшееся в душе обошло ее

сына и дочку. — Хорошо хоть — в лагере. Не видали всего, не переживали...»

Очнулась Алевтина от вкрадчивого стука в дверь. Неслышно поднявшись, босиком, вышла в сени, прислушалась.

«Завел моду — ломиться, — оскорбилось в ней что-то. — Подури-подури... авось умней будешь!»

Потоптавшись на крыльце, Косарь перебрался к окну, забарабанил в стекло еще настойчивей. Он знал: Алевтина — дома, а раз дома — откроет.

— Не спишь ведь, — услышала она. — Открой, Алюта! Это я...

На миг ей стало легко, как в детстве, когда играешь в прятки и, затаившись где-нибудь в укромном уголке, дрожишь от восторга, следя за тем, кто ищет и не может тебя найти. Подумалось:

«А может, открыть? Кому какое дело? — но тут же как бы со стороны увидела неприглядность этого и удержалась. — Постучит, постучит — и уйдет. Только больше уважать станет...»

Наконец Косарь ушел. Вздохнув, Алевтина вернулась в комнату и, не раздеваясь, легла на диван. Впервые положение, в котором она оказалась, заставило ее внутренне содрогнуться, почувствовать себя непоправимо несчастной.

«Ну и ладно, — со злостью сказала себе она. — Надо же кому-нибудь и такой быть. Счастье с несчастьем рядом ходят, а что мне не повезло — кто виноват?»

Ущербный месяц клонился над заказником, над кладбищем, где под шатровыми елями виднелась обложенная дерном братская могила, а на ней венки и полевые цветы. Колеса на копре все вертелись и вертелись: шахта работала, как обычно.

Проводив Антона Прокофьяча, Волощук вернулся в общежитие. Пора было собираться в ночную смену.

— Ну, как поминки? — поинтересовался Тимша. — Не перебрал?

— А, будь они неладны! Ничего, кроме дуроты...

— А зачем ходил?

— Тебя завидки берут, что ль? — сердито огрызнулся вдруг Волощук. — Зачем да куда? Пристал, как пуда!

Вместо того чтобы обидеться, Тимша понимающе рассмеялся.

— Не добра-ал! — и, взяв сверток с едой, весело добавил: — Пойдем-ка... шахта сердитых не любит.

Косарь ждал их возле нарядной. Спецовка ловко сидела на нем, резиновые сапоги играли незамутившимся глянцем. И странное дело: он казался совсем трезв. Как это ему удавалось — не догадывался даже Волощук.

— Сейчас сигнал к спуску будет! Ох и смена у нас: ты да я, да мы с тобой...

Волощук немного повеселел.

— Очухался? Видно, поспал чуток.

— Лег, глаза закрыл, — не стал отпираться тот. — Ну, не могу! — и захохотал, будто ему действительно было так весело.

7

Весело не весело, а Волощуку досталась койка Рудольского, у окна, Тимше — место Воронка, ближе к двери. Напротив — Косарь. У него два матраца, собственная подушка и плюшевое одеяло. Внизу —

вместительный сундук с внутренним запором и грозно оскалившимися львами возле замочной скважины.

Мельком глянув на чемодан Волощука, Косарь осведомился:

— Замывается?

— А зачем?

— Для подкрепления сознательности.

Тимшу задело. Все это могло иметь отношение в первую очередь к нему.

Но Волощук то ли не понял ничего, то ли не придал значения словам Косаря. Завязывая тесемки на наволочке, равнодушно отозвался:

— Сознательность замками не припрешь.

— Припрешь не припрешь, а остерегаться не лишне.

Такого Тимша еще не встречал ни в одном общении.

— Кого это остерегаться?

— Того, кто любит чего, — ухмыльнулся Косарь, ничем, впрочем, больше не подчеркивая, что сказанное относится к кому-нибудь лично.

И Тимша в лад ему метнул так же:

— За это у нас втемную били.

Вещевой мешок он пристроил за дверью, книжки сунул на подоконник. Больше пожитков у него не было.

Комната оказалась побольше той, в которой он жил. Окно — на солнце. Посредине — застланный казенной скатеркой стол; у входа — встроенный шкафчик для одежды.

— Ну что? С вас вроде бы причитается, — напомнил им как ни в чем не бывало Косарь. — Новосельце все-таки!

Правила внутреннего распорядка запрещали распивать спиртные напитки в комнатах. Да Волощук и не любил пить в общежитии, предпочитая узаконенные для этого места общественного времяпрепровождения.

— Волк, говорят, собак не боится — брёху не любит!

Положив на скатерть наспех отмытые руки, Косарь сидел за столом, ждал.

— Пускай петушок слетает!

— За водкой не пойду, — загорячился Тимша. — Не пойду и пить не буду!

— Зачем за водкой? — рассудительно проговорил тот. — По такому случаю можно и клоповничку. Закуску поинтеллигентней, три соленых огурца и что понравитца́, — и сделал ударение на последнем слоге, отчего все получилось как бы в рифму.

Должно быть, до Волощука наконец дошло, что ни к чему хорошему это не приведет. Задвинув чемодан под койку, он по-хозяйски огляделся:

— Ничего, выпьем и чаю.

На подоконнике было грязно. Тимша убрал, вытер пыль. Волощук казался ему настоящим шахтером, достойным уважения и подражания; Косарь не вызывал ничего, кроме неприязни.

И в шахте они чуть было не сцепились — с первой встречи.

— Принимайте пополнение! — подводя его к проходчикам, крикнул Воротынцев. — Парень крепкий, грамотный. Наше горное окончил...

Волощук сидел за пультом комбайна, вряд ли что расслышал. А Косарь оглянулся, хмыкнул:

— Сватай еще куда!

Тимша ожидал — Воротынцев оборвет его, как



обрывал многих, но тот почему-то пропустил это мимо ушей, и, подойдя к Волощуку, поинтересовался:

— Ну, как оно? Вода не донимает еще?

— Крепить не успеваем, — перевел комбайн на холостой ход, то ли давая отдохнуть машине, то ли себе самому, и, прыгнув с сиденья, пожаловался: — И давление — больше некуда!

— Ничего, ничего. А парнишка подучится, — не хуже других будет.

Все так же недружелюбно Косарь бросил ключ, выпрямился. Лицо его было измазано, каска едва держалась на макушке.

— Горное кончил, ключа в руках не держал? А тут, на проходке...

Одобрительно подтолкнув растерявшегося новичка, Воротынцев сделал знак Волощуку:

— Пошел!

Хобот комбайна приподнялся. Отчищенная добе-ла фреза снова врезалась в пласт. Лапы погрузчика задвигались, погнали породу на транспортер.

Забыв обо всем, Тимша восхищенно загляделся. Похожий на диковинно-чудовищного зверя, что жили, наверно, в те времена, когда вместо угля шумели тут доисторические дебри, комбайн врезался все глубже и глубже, прокладывая забой.

Когда вверху выступила осыпавшаяся сырыми комьями кровля, Волощук остановился.

— Давайте крепить! А то завалит...

Схватив ключ, Косарь точно не замечал растерянности новичка.

— Подтаскивай сегменты, не жди! Мамка подмогать не явится...

Тимша торопливо бросился к наваленным металлическим сегментам, принялся подтаскивать. Тяжеленные, они поддавались с трудом.

Спрыгнув с комбайна, Волощук подхватил поданное, легко поставил на предназначенное место.

— Умеючи и ведьму бьют! Видал? — усмехнулся он, задорно блеснув крупными, неровно подогнанными зубами. — А ты не стой на сквозняке, петушок, — простудишься...

Задумавшись, Тимша забыл, что он не в шахте, а в общежитии. Волощук перевернул скатерку другой стороной, достал посуду.

— Сходи кипяточку принеси, — сказал он. — Сейчас чай заварим.

— А чайник где?

Косарь смешливо фыркнул:

— Организуй!

Когда Тимша вернулся с кипятком, стаканы стояли уже на блюдечках, чайные ложки — рядом. Хлеб, масло, колбаса и сахар были припасены, наверно, у Косаря.

— Чайку оно не плохо, — достав сигарету, Волощук положил ее на столе — золоченым ободком к себе, стал заваривать высыпанное из пачки. По скулам расползлись красноватые пятна, будто внутренний жар пробивался наружу.

Отхлебнув из стакана, Косарь неожиданно поперхнулся, сунул его на блюдце.

— Крепок, а не водка! Много не выпьешь...

Тимше казалось, он не за столом, а на карусели. Хотелось поскорее на койку — лечь, вытянуться. Он и не представлял себе, что так вымотается в шахте, но с Волощуком пошел бы не задумываясь хоть в преисподнюю.

Должно быть, тот почувствовал это. Тронув его за плечо, сказал, как маленькому:

— Ложись, ежели умаялся! Нос, брат, не обушок: за столом не кайли...

— А мы давай еще по черепушке, — разохотился Косарь и, будто вспомнив, заметил: — Не быть бы тебе звеньевым, Лаврен, да несчастье помогло.

— Поставят, и ты осчастливишься!

Сон прямо одолевал. Сделав усилие, Тимша качнулся, вскинул соломенные брови.

— И я еще хочу. Покрепче...

Взяв чайник, Волощук налил ему крепче. Когда-то в Щекине он сам был таким же желтоклювым петушком, впервые залетевшим в шахтерскую семью и так же тянувшимся к любому, кто казался опытней и сильнее.

«Шахта — она нравная. Кому — мать, кому — мачеха. Хорошо, что силой не обделен. А как — так себе?..»

Тимше сделалось отчего-то все ни по чем.

— Работнем, бригадир! — с прямодушной убежденностью стал он уверять Волощука. — И втроем... без четвертого.

— Не ты ли за двоих? — Косарь насмешливо следил за ним. — То-то, проходчик выискался!

— И с давлением справимся, — продолжал убеж-

дать Тимша. — Нам в училище такие расчеты по крепжке делали... закачаешься!

Волощук налил себе. Сахар он любил вприкуску и, сдавалось, больше глядел на него, чем откусывал.

— Не надо умней инженеров быть, — задумчиво отхлебывая, сказал он. — Положено при комбайне четверо проходчиков, значит — четверо.

Не допив чай, Тимша уронил отяжелевшую голову на руки. Бутерброд с колбасой лежал рядом, в стакане густел нерастаявший сахар.

Обняв за плечи, Волощук свел его на койку.

— Давай-ка в комарок¹! Не лови окуней...

Едва раскрывая слипающиеся веки, Тимша кое-как разделся. Самое главное не думать о том, что завтра будет так же трудно.

— Готов, — презрительно буркнул Косарь. — С такими в смене накукарекаешься!

— Ничего, приобыкнется, — Волощук пыхнул зажигалкой. — Сами попервости разве не такими были?

Зажигалка чуть не сорвалась с его ладони, как со стартовой площадки. Сдавалось, еще немного — и взлетит.

Косарь разозлился.

— Тогда коммунистических бригад не было. И на проходке...

Что на проходке он так и не досказал, но Волощук понял и без того. Конечно, сейчас не то, что лет десять назад, в Щекине. Сравнивать не приходится.

Но что-то говорило ему и другое. Когда-то он был таким же нескладным парнишкой, которого сурово и жестоко учили люди вроде Косаря.

¹ Комарок — ниша в штреке,

«Шахтерство само по себе не мед, — думал он. — И незачем каждому новенькому прибавлять скаженного его искуса!»

— Ох и добрыня ты, — не то снисходительно похвалил, не то упрекнул его Косарь. — Рудольский не каждого в смену брал. Соображение у него было...

— Ну-ну, — оборвал Волощук. — Сказано: привыкнется!

— Гляди, тебе видней. Я, ежели что, за всех таких не работник.

Налив еще стакан — до черноты крепкий, но недостаточно горячий, — Волощук откусил крохотный кусочек сахара, сделал несколько глотков. Воспалившиеся его глаза с подведенными угольной чернью веками казались покорными то ли перед тем, что легло на плечи, то ли перед трудной и не очень-то ласковой шахтерской жизнью.

— Рудольский, верно, не взял бы такого, — согласился он. — Ему свой расчет главней был.

— Гляди, я не звеньевой, — лениво повторил Косарь. — Мое дело — вкалывать...

Напоминание о Рудольском, брошенное как бы вскользь, все-таки задело Волощука. В бывшем звеньевом он не одобрял готовности принести в жертву все, лишь бы оказаться на хорошем счету, лишь бы его смена была в шахте самой видной и передовой.

Как всякий рабочий человек, Волощук давно привык определять, чего стоят те, с кем работаешь бок о бок или встречаешься в повседневной жизни, научился почти безошибочно разбираться в людях. Но сейчас самое главное — сколотить смену. Другие соображения просто не приходили ему в голову.

А Косарь был себе на уме. Откровенно говоря, затеи с коммунистическими бригадами казались ему преходящими, временными.

«Мало чего не бывало на земле и под землей, — недоверчиво рассуждал он. — Раньше были ударники, стахановцы; теперь — коммунистические бригады! А что касается норм и расценок — уж известно: нормы — вверх, расценки — вниз...»

Что бы ни было, Косарь не собирался вкалывать до второго пришествия, а мечтал поднакопить денег и уйти на-гора, под ясное солнышко. Если обо всем предыдущем он запрещал себе не только говорить с кем-нибудь, но и думать, то о том, как зарабатывает денег и уйдет куда глаза глядят, признавался частенько.

— А что? Это никому не заказано!

Тимша уснул, а они отправились на автобусе в Углеград. Там, в ресторане «Волна», штормило с обеда.

Как и всякий раз, Волощук угощал, а Косарь не отказывался, пил. Загулялись допоздна. Волощук был не так пьян, как Косарь, а главное — опять у него в долгу.

Автобусы не ходили. Пришлось добираться в Северный пешком.

Вниз, к мосту, идти оказалось хуже всего. Дорога ускользала из-под ног, не так-то просто было держаться на ней в темноте, особенно когда раскачивала круговерть хмеля.

«Валяться где попало — самое распоследнее дело, — едва удерживаясь на плывущем асфальте, думал Волощук. — Не-ет, это не по мне! Не по мне — и всё! А буфетчица в «Волне» — будь здоров, не вя-

кай! Где только подбирают таких — крашенных-перекрашенных да глазастых?»

Косарю не давало покоя другое. Он и во хмелю не забывал о своем и, видно, прикинув все, держался, не отступаясь.

— Значит, ты мне должен теперь трёшку, — твердил он. — Каждый раз я больше плачу, а пьем поровну!

— Ну, пошел выводить, — недовольно отмахнулся Волощук. — В следующий раз будем по отдельности пить, по отдельности расплачиваться.

Но Косарь добивался совсем не этого. Ослабившееся его лицо полно такого снисходительного лукавства, что можно было подумать, будто Волощук и вправду хотел обойти его в расчетах, но Косарь вовремя догадался и нисколько не обижается.

— Лучше уж совсем не пить, чем так-то... врозь.

— Пряник ты вяземский, — плюнул Волощук, по-прежнему поддерживая его. — Сладок до приторности, аж с души воротит!

Далеко по магистрали светили фары идущих машин. Трепетная июньская ночь была полна призывно-влюбленного боя перепелов, свистков маневровых паровозов, доброго, запасенного за день, солнечного тепла.

Асфальт на перекрестке отсвечивал накатанно-зеркальным блеском. Перед въездом в Углеград на постаментах виднелись фигуры горняков — в касках, спецовках, с шахтерками и отбойными молотками. Они будто вышли навстречу, приглашают едущих в город. Насмешники прозвали их «Подхалимами», а стоявших у въезда в Углеград с противоположной

стороны — «Жалобщиками», отправившимися в область кляузничать о местных непорядках.

— Работать надо, вкалывать! — едва стоя на ногах, корит их Косарь. — Не я ваш звеньевой... а то бы показал.

— Пойдем, Федор, — уговаривает его Волощук. — Ну, что ты всамделе?

— Не-ет, ты скажи им. Кто у нас, на Соловьишке, в передовиках ходит, кто премии отхватывает?

— Пошли, говорю! Спать пора...

Но Косарь заартачился:

— Я сам с ними... у-у!

Стремительно выскочив из-за подъема, машина предупреждающе засигналила светом, пока слепящие ее лучи не уперлись Косарю в спину. Должно быть, водитель вначале принял его и Волощука за дорожных инспекторов и резко притормозил; но затем разглядел, что это всего-навсего пьяные, взял к обочине, стрельнул выхлопнувшим дымком и погнал дальше.

Задние фонари были похожи на раскаленные докрасна тарелки. Рядом с иностранным номерным знаком виднелся советский. Волощук не успел даже разглядеть, что там обозначено. Подхватив Косаря, он потащил его к Северному.

— Раскатывают, — шумел тот, выписывая ногами замысловатые вензеля. — А мы — вкалывай... у-у!

Тимша спал, когда они ввалились в комнату и, стараясь не разбудить, все-таки разбудили его. Щурясь, ничего не понимая со сна, он молча глядел, как раздевался Волощук, как ложился Косарь, и ничем не выражал недовольства, что потревожили. Лишь когда они улеглись, встал и выключил свет.

Косарь засвистал носом, едва только накрылся.

Голова его завалилась за подушку, стиснутые кулаки подобрались к подбородку, будто он во сне готовился к драке с любимым, кто подвернется.

А Волощуку не спалось. Пока шли, думал — только бы добраться, лечь. Улегся — сна ни в одном глазу. Вздыхая и ворочаясь, он перебирал по порядку случившееся за последнее время — гибель Рудольского и Воронка, неожиданное выдвижение и многое другое, чему подчас не было названия.

«И зачем было пить столько? Хотел ведь как человек: культурно отдохнуть, поужинать. А надрался выше всякого!»

Зря он ходил к игравшим на астраде музыкантам, зря совал деньги, заказывал «Коногона» и «Шахтерское страданье».

«А уж буфетнице и совсем ни к чему было конфеты дарить, — коря себя, с ощущением запоздалого и непереносимого стыда вспоминал Волощук. — Будут теперь ребята в глаза пылить: пили, гуляли, дарили!»

Потом думы его приняли другое направление.

«Шахтер — крот, да нрав у него не тот!» — пришла на ум давняя, призабывшаяся поговорка. — Ни с кем не сравнить нашего брата, горняка! Нелегкого такого труда ни у кого нет, и удали тоже! — не без чувства собственного достоинства думал Волощук, словно пытаясь оправдать все, что было в ресторане. — Мы всё можем...»

Догадавшись, что он ворочается неспроста, Тимша приподнялся, негромко окликнул:

— Не спится... бригадир?

— Ну, не спится, — хрипло отозвался тот. — А ты чего — впотьмах задачки решаешь? Сколько из одного бассейна выливается, в другой вливается?

— Это мы еще в училище прошли, — сдержанно усмехнулся тот. — Теперь другое...

— Из пустого в порожнее! — достав из пиджака сигареты, зажигалку, Волощук собрался закурить. — Задыми, раз такое дело!

Тимша сел, точно в самом деле собирался взять сигарету. Соколка его смутно белела в полутьме.

— Не надо в комнате курить, бригадир, — сказал он. — Некультурно это!

Как многие курящие, Волощук с Косарем не часто задумывались об этом даже в общественных местах, а у себя — и подавно. Зажигалка вспыхнула и тут же погасла.

— Здоровье свое бережешь? Пра-авильно!

Должно быть, не очень веря, что его призыв будет услышан, Тимша не отозвался. Он хотел было лечь, но вдруг золотой огонек сигареты, описав дугу, шлепнулся у самого порога.

— Не обижайся, бригадир. Я правду говорю.

Волощук озабоченно вздохнул.

— Не знаешь ты еще ничего, петушок. В шахте у нас — штурмовщина, столпотворение...

По-прежнему не соображая ничего, Тимша подсел к нему на койку.

— Нам-то чего переживать?

— Дергас даже отпускников вернул...

— Зачем?

— Премию оторвать хочет! А из-за этого и ребята на тот свет пошли.

Оказывается, поступками людей управляли не только служебные, но и совсем побочные интересы. Тимша как-то не догадывался об этом.

— А что ж в тресте? — вспыхнул он. — Разве там не понимают?

Волощук угрюмо махнул рукой.

— В тресте у него дружки. Им тоже отчитываться перед начальством надо.

Косарь сонно заворочался.

— Спите вы, дүрики! Наше дело рубать да вкалывать. А начальство само знает что к чему.

8

Что к чему давно знал и Суродеев. Просматривая доклад пленуму горкома, он старался представить, как будет воспринято то, что должны были услышать участники, и боялся, не покажутся ли скучными его цифры и выкладки.

Неслышно войдя в кабинет, дежурная сказала:

— Иван Сергеич! К вам из «Гипроугля»... представитель.

Не любивший, чтобы мешали, Суродеев недовольно поднял отяжелевшие веки.

— Чего ему?

Все уже разошлись. Взглянув на часы, показывавшие начало десятого, он с сожалением вздохнул.

— Ну ладно. Только ненадолго.

Это означало, что минут через пять-десять дежурная должна войти снова и напомнить о каком-нибудь якобы неотложном деле. Тогда, воспользовавшись предлогом, Суродеев прервет беседу и отпустит посетителя.

— Хорошо, Иван Сергеич.

Она вышла. Тотчас же в дверях показался высокий, в прорезиненной куртке на молниях, представитель. Он был лысоват, немолод и производил впе-

чатление изрядно потрепанного жизнью, оставившей ему только эту куртку на молниях да завидную непринужденность в любом кабинете.

Суродеев поднялся навстречу. Как-никак, центральные учреждения не часто баловали Углеград вниманием.

— Рослицкий, — назвался представитель и, подав ему удостоверение личности в залоснившихся темно-красных корочках, сел, не ожидая приглашения. — Хотелось побывать у вас прежде, чем засяду в тресте. Управляющий, говорят, уехал. Так я... чтобы не терять времени.

— Да, его вызвали в совнархоз, — сказал Суродеев, возвращая удостоверение. — Завтра, наверно, вернется.

Словно приготовившись к обстоятельному разговору, Рослицкий достал папиросы. Они были дорогие, в большой, красиво расписанной коробке и чаще шли на экспорт, чем поступали в продажу.

— Ну? Что у вас хорошего?

— Есть и хорошее, и плохое, и всякое.

— А конкретно? По шахтам?

Суродеев понял, что так не отделаешься, и, вспомнив о новом щите, решил сплавить любопытствующего представителя к Дергасову.

— Применили тут у нас, на Соловьянке, кой-какое техническое новшество. Неплохо получилось.

— Что именно?

Прошло уже более пяти минут. Вот-вот должна была появиться дежурная, и, поглядывая на дверь, Суродеев стал скупко объяснять:

— Метростроевский щит в сильно обводненных пластах. Прокладывает горизонтальный штрек из готовых бетонных тубингов...

В глазах Рослицкого мелькнуло нечто похожее на заинтересованность.

— Вот как! И много прошли уже?

— Метров четыреста.

Дежурная приоткрыла дверь и, не найдя ничего лучшего, сказала:

— Иван Сергеич, машинистка не разбирает вставку в докладе. Может, продиктуете ей?

— Сейчас, — согласился Суродеев. — Найдите мне, пожалуйста, Дергасова. Срочно.

Папиросный дым витал над столом. Рослицкий уходить не собирался.

— Съездите поглядите, — предложил Суродеев. — Наши горняки по-новаторски внедряют многое.

— А как с добычей?

— План полугодия выполним. Но могли бы и перевыполнить, если бы кое-какие шахты не отставали и не съедали усилия передовых.

— Да-а, это, к сожалению, не только у вас, — точно утешая, проговорил Рослицкий. — Дефицит угля в стране к тысяча девятьсот семидесятому году достигнет ста миллионов тонн или около двадцати процентов планируемой сейчас годовой добычи, — он явно старался произвести впечатление знающего, всесторонне образованного инженера. — И нужно не консервировать заложенные шахты, а как можно активнее развивать добычу.

Суродеев и сам думал об этом. Но в совнархозе с недавних пор сложилось мнение, что углеградские шахты слишком убыточны, и плановики, не сводя концов с концами, при каждом удобном случае настаивали не только на консервации заложенных, а и на закрытии работавших плохо.

Несмотря на занятость, ему хотелось поговорить

об этом, хотя что-то в Рослицком и предубеждало Суродеева.

«Дефицит... дефицит! Нахватался, наверно, у большого начальства и рассуждает, — подумал он. — А насчет наших шахт — верно. Не о консервации надо беспокоиться, а добычу развивать. Так я и на пленуме буду докладывать...»

Раздался звонок. Суродеев снял трубку телефона.

— Дергасов? К нам приехал представитель из «Гипроугля»... товарищ Рослицкий. Интересуется вашим щитом. Сколько в этом месяце? Сто восемнадцать метров? Так вот: встретьте, расскажите, покажите, — и обернулся, как бы согласовывая дальнейшее. — Завтра пораньше, я думаю.

Рослицкий неторопливо подтянул молнию на куртке.

— Лучше бы сегодня. А с утра — в шахту.

Суродеев распорядился:

— Нет, давайте сегодня. Сейчас я вызову машину: через четверть часа он будет у вас.

С сожалением сунув окурок в пепельницу, Рослицкий поднялся.

— Это далеко?

— Да нет, за магистралью, — охотно объяснил Суродеев. И, выйдя в приемную, распорядился: — Анна Михайловна, вызовите машину; пусть Костя отвезет товарища Рослицкого на Соловьянку.

Попрощавшись, Суродеев пошел к машинистке. Взяв перепечатанные страницы доклада, задержался, стал просматривать, чтобы не столкнуться с представителем в приемной еще раз.

«Пускай съездит, поглядит, — думал он. — По крайней мере, кроме рассказней об аварии, будет знать, что у нас кое-что положительное имеется!»

Внизу зашумела машина. Суродеев глянул в окно и, убедившись, что Рослицкий уехал, вернулся в кабинет. Сладковатый дымок дорогих папирос еще витал в воздухе.

«Экспортные! Для шику он их, что ли? Не будешь же каждый день такие...»

Немного погодя дежурная принесла заключительный раздел доклада. Суродеев подложил страницы по порядку и сел за стол. Под лупой, которой было заложено прочитанное, проступали слова: «Строительство коммунизма... навсегда войдет... величайших свершений».

Потерев виски, он устроился поудобней и снова попытался сосредоточиться. Хотя тезисы доклада были обсуждены членами бюро, Суродеев чувствовал, что к пленуму он еще не готов. Можно было провести его как должно и в то же время — как самое обычное мероприятие, после которого в плане работы осталась бы только невыразительная и скучная галочка. А можно было провести и так, что все коммунисты в шахтах, на стройках и предприятиях города почувствуют новый душевный подъем и с утроенной энергией возьмутся за работу.

Сделай он упор на имевшихся достижениях — никто не упрекнул бы, что это неправильно. Достижения, и немалые, определенно имелись: кому могло прийти в голову сбрасывать их со счета. Сосредоточь внимание на недостатках — тоже было бы верно. Недостатков хватало, а изживать их следовало решительней и скорее.

А можно было открыть и совершенно иной подход к людским сердцам, к душе каждого коммуниста — такой, какой находится только в самые счастливые

минуты. Его-то и искал Суродеев, стараясь сосредоточиться душевно на самом главном.

Горняки, строители, ремонтно-механический завод и деревообделочный комбинат выполнили планы. Завод электрических машин, «Гидрометеоприбор» и оба кирпичных, как обычно, отстали. Сводка о работе шахт и всех предприятий Углеграда ежедневно была на столе у Суродеева, и, приходя на работу, он начинал день с нее.

В городском комитете партии он работал четвертый год, хорошо знал, какие предприятия успешно справляются со своими заданиями, а каким нужно помогать, где можно бывать раз в неделю, а где необходимо чуть не каждый день, в каком коллективе все хорошо, а в каком неблагополучно и вряд ли скоро наладится. Партийным работником он сделался не по призванию, но вскоре почувствовал — все, что делает, является главным делом его жизни.

Полугодовой план добычи угля был выполнен. Но отдельные шахты с заданием не справились. Себестоимость все еще оставалась намного выше заданной.

«Дорогой, дорогой уголек даем, — озабоченно думал Суродеев. — Дешевле, наверно, было бы возить из Донбасса, чем тут рубать!»

Углеградские шахты были заложены после войны, когда топлива в стране не хватало, а старые угольные районы не давали еще того, что требовалось народному хозяйству. На себестоимость в те времена не обращали внимания; нужна была энергия — любой ценой.

Сейчас положение изменилось. На первое место в топливном балансе страны вышел газ, и, само со-

бой, сделались небезразличны затраты на добычу и себестоимость угля. И хотя Суродеев, как и многие работники, отстаивал существование своего района, он понимал, что Углеграду не под силу тягаться с Донбассом или Карагандой.

Виноваты в этом, прежде всего, были сами условия залегания угля. Здешнее месторождение — сравнительно неглубоко, но сильно обводнено. Подготовительные работы, добыча и все остальное ложатся тяжелым бременем на себестоимость.

Шахты, не справившиеся с заданием, заставляли думать об организационных выводах. Без этого не обойдешься.

«Чернушина на Соловьишке придется, видно, переизбирать, — невесело думал Суродеев. — А кого вместо него? Хочешь не хочешь, а надо перебрасывать Поветкина с пятой. Только-только освоился, — но что делать?..»

Порою ему казалось, что переброска партийных работников не дает нужного результата, как не меняет сумму перестановка слагаемых. Но для высшей алгебры руководства было мало одного желания изменить все вдруг.

«Алгебра, алгебра, — сердито повторял Суродеев. — Хорошо тому, у кого сил хоть отбавляй! А у нас всё на счету, всё как при четырех действиях арифметики — сложение, вычитание, деление. Только умножать нечего!»

Требовательный телефонный вызов заставил его опомниться. Звонили из обкома.

Сняв трубку, Суродеев отозвался:

— Слушаю...

Шаронин никогда не считался с временем, мог поднять любого работника среди ночи, а то и под

утро. Суродеев представил себе, что происходит в кабинете секретаря обкома, и почти тотчас же услышал резковато-торопливый его голос:

— Здорово, Суродеич! Не спишь еще? Ну, как там у тебя?

Казалось, он и не ждал ответа, но Суродеев все же успел сказать:

— Пленум у нас, Павел Иванович. Готовлюсь к докладу. Приезжайте...

— Знаю, — отозвался Шаронин и, словно сожалея, что обстоятельства не позволяют поступать так, как хочется, вздохнул. — Некогда! Приедет Меренков, а я как-нибудь в другой раз.

Меренков заворачивал промышленным отделом обкома. Так о себе любил говорить он сам, и так с едва уловимой иронией говорили о нем другие работники. Суродеев знал это и, услышав его фамилию, кисло-вато поморщился.

— Будем ждать.

— Что у тебя на повестке? — вдруг спросил Шаронин. — Итоги полугодия?

— Задачи партийной организации в борьбе за выполнение плана третьего года семилетки.

Шаронин знал: всё это нужно обязательно конкретизировать на местном материале. Только это могло сообщить дыхание живой жизни намеченному.

— Сделайте упор на повышении производительности труда. Она сейчас в плане семилетки самое главное.

— Обязательно, Павел Иванович!

— Производительность труда, снижение себестоимости. Пускай каждый рабочий коллектив, каждая парторганизация ясно и ощутимо представят себе, какой вклад они смогут внести.

— Да... мы думаем ставить вопрос не о консервации заложённых шахт, а о развитии добычи.

— Думать никому не запрещается, — поддержал Шаронин, как будто сам он предполагал иначе. — Оргвопросы есть?

— Вроде нет.

— Ну, добро, — он что-то вполголоса сказал, видимо, вошедшему в кабинет, тяжело скрипнул креслом. — Да... а что у вас там за катастрофа? С жертвами?

Суродеев почувствовал себя словно бы застигнутым врасплох.

— Разрешите, я о ней письменно.

— Раньше надо было письменно, — рокотнул вдруг Шаронин. — Почему секретарь обкома должен узнавать об этом по бумажке?

Суродеев молчал.

— Что ж ты? Язык проглотил?

— Сорвался электровоз, — кляня себя за то, что поддался Дергасову, стал рассказывать Суродеев. — Погибло трое спускавшихся в шахту проходчиков. Четвертый — электромеханик, по вине которого произошла катастрофа.

Шаронин выслушал его, не перебивая. Молва, как он и предполагал, разукрасила все это небывалыми подробностями и страхами.

— Та-ак. А тут уж невесть что плести стали...

— Комиссия заканчивает расследование, — добавил Суродеев. — Придется кое-кого привлечь к ответственности.

— Кто там начальник шахты?

— Костяника. Но замещал его главный инженер Дергасов.

— Не тот ли, что в новаторах у тебя ходит?

Чувствуя себя словно бы виноватым, Суродеев подтвердил:

— Он самый.

— М-да, — озадаченно протянул Шаронин, — положеньице! — и неожиданно зевнул. — Ну ладно. Пускай Меренков захватит акт расследования, посмотрим.

— Хорошо, Павел Иванович, — с облегчением пообещал Суродеев. — Комиссия должна завтра представить.

Все вроде обошлось. Конечно, в обком о катастрофе нужно было сообщить в первую очередь, — он знал это.

«Попутал меня, черт, — разозлился Суродеев не то на себя, не то на Дергасова и сразу же сделал из разговора свои выводы. — Надо после пленума собрать руководителей шахт, обсудить заключение комиссии. Пока там что, а у нас все как должно...»

Алгебра партийного руководства не исключала самых простых, подчас набивших оскомину действий. Заперев в стол доклад, он встал, погасил лампу и с удовольствием размялся.

Новое здание, в котором недавно разместился горком, выходило фасадом на городскую площадь. Из окон кабинета открывался вид на застраивающийся центр Углеграда. Тянуло ночной свежестью, сырью, угольной пылью.

— Попутал, — сердясь на самого себя, выругался вслух Суродеев. — Сам не путайся, так никто не путает!

И, обрадовавшись, что, кажется, развязался со всем этим, почувствовал внезапную легкость и душевную освобожденность.

Чувство душевной освобожденности было давно незнакомо Дергасову.

«Почему бы это? — недоумевал он, возвращаясь из дому в шахтоуправление, куда должен был с минуты на минуту подъехать представитель. — Разве я не стараюсь?..»

Шахта работала. Вертелись колеса на копре, шипела компрессорная, сыпался в бункера уголь. Террикон рос и рос — темный, двугорбый, ощутимо нависал над погрузочным пунктом, над заказником и все шуршал и шуршал осыпавшейся породой. За три года он увеличился чуть не вдвое и дымил теперь серным колчеданом на весь Северный.

«Не побеспокоились о розе ветров, когда закладывали, — с ноткой собственного превосходства, за которой крылось само собой разумеющееся убеждение, что он бы сделал все иначе, подумал Дергасов. — А теперь уж не переделаешь...»

Мягкий, прохладный ветер распахивал зыбку тем летней ночи. Красные звезды на соседних шахтах горели, как нарочно, ярче яркого. Шла последняя декада, а полугодовой план добычи угля еще не выполнен, зажигать звезду нельзя. Она едва угадывалась во тьме над копром, и Дергасов старался не глядеть в ту сторону.

«Девяносто семь и три десятых, — с раздражением вспомнил он — который раз за день. — Добить бы хоть к концу месяца, если уж к пленуму не добились!»

Окрестные шахты выполнили план полугодия досрочно. Завтра на пленуме горкома руководители их

будут выглядеть именинниками. Соловьянку и Дергасова подвела авария. Неделю назад он созвал начальников участков, распорядился задержать отпускников, перебросить на добычу всех, кого можно, а результатов пока не видно.

Приезд представителя «Гипроугля» в такую пору показался ему подозрительным.

«Пронюхал, наверно, про аварию, — чувствуя, что дело плохо, забеспокоился Дергасов. — Едет копать да выпытывать!»

Интерес к щиту он истолковывал как прикрытие какого-то другого, несомненно более подспудного интереса, и держался настороже.

«Развесь только уши. Они, представители, это умеют: влезут в душу, а там...»

Возле шахтоуправления у них была галерея передовиков. Один из портретов, в самой середине, покривился вместе с подставкой. Дергасов вгляделся, узнал погибшего звеньевого Рудольского и, не веря себе, разозлился:

— Давно бы снять! А Гуркин и не думает...

На шоссе полыхнули фары идущей машины. Немного погодя она показалась ближе, ныряя в выбоинах асфальта, свернула к шахте.

«Едет!..»

Торопливо поднявшись на второй этаж, Дергасов вошел в кабинет, зажег свет. Стол, как всегда, был завален образцами углей, сработавшимися деталями шахтных механизмов, захватанными бумагами.

«Надо бы убрать, — подумалось ему. — А, ничего! Пускай видит: шахта...»

Площадку залил стремительный свет. Когда он погас и затих мотор, Дергасов высунулся в окно, окликнул показавшегося Рослицкого:

— Поднимайтесь сюда! На второй этаж...

— Спасибо, — отозвался тот и, отпустив машину, пошел в шахтоуправление.

Они встретились в коридоре. Рослицкий оказался на целую голову выше; Дергасов был плотней, солиднее. Поздоровавшись, оба мельком оглядели друг друга, точно стараясь составить хоть и первое, но, по возможности, безошибочное впечатление.

«Трудноват, — подумал о представителе Дергасов, словно примериваясь, как с ним держаться и что говорить. — С голыми руками не подступишься!»

Удержавшись от поспешных умозаключений, Рослицкий как можно непринужденней сказал:

— А я чуть вместо вашей шахты на какой-то комбинат не угодил.

— Есть, есть тут такой, — как можно предупредительней подтвердил Дергасов и по праву хозяина радушно предложил: — Садитесь, пожалуйста!

Рослицкий сел, но не возле стола, а на клеенчатом диване. Несмотря на позднее время и дальнюю дорогу, он, казалось, совсем не устал.

— Суродеев говорил вам, что меня интересует, — и достал папиросы. — Что у вас за щит? Расскажите поподробней.

Все с тем же непреходяще-тревожным чувством Дергасов закурил, стал рассказывать. Настороженные его глаза, спрятавшиеся за медноватыми ресницами, оживились.

— Геология нашего месторождения, как вы знаете, сложная, трудная. Угольные пласты сильно обводнены, испытывают большое давление горных пород. — Руки его, казалось, жили самостоятельной жизнью. Рассказывая, он чертил то ли схему угольного месторождения, то ли контуры обводненно-

сти. — Мы как-то подсчитали с работниками «Шахтоосушения»: давление на отдельных участках у нас достигает ста двадцати тонн на квадратном метре.

Откинувшись на спинку дивана, Рослицкий счел необходимым удивиться:

— Ого? Сто двадцать тонн!

— Больше ста двадцати, — многозначительно повторил Дергасов и, пересиливая зевоту, заученно продолжал: — А это в свою очередь оказывает влияние на характер горных выработок. Трапецеидальное деревянное крепление, которое применяется в обычных условиях, у нас не выдерживает нагрузки, выходит из строя. — Размашистыми штрихами он начертил на бумаге усеченный вверху четырехугольник и показал Рослицкому. — Стояки ломаются, кровля оседает...

Резко перечеркнув стенки трапеции, Дергасов на обратной стороне листа нарисовал довольно правильный круг, рядом с ним — лежащий, овальный, как бы придавленный сверху, стал объяснять снова:

— Мы разработали другой тип крепления — круглое, металлическое. При нем, по расчетам, давление намного меньше. Но и это не дает нужного результата. Завтра, когда спустимся в шахту, я покажу вам, что происходит с круглым креплением, — и, обведя овальный круг еще раз, бросил карандаш. — На отдельных участках оно становится яйцеобразным.

Рослицкий — светлоглазый, в незастегнутой куртке на молниях — с неподдельным увлечением пытался представить себе, что происходит в шахте.

— Хотя давление на одну треть меньше?

— Да, почти на треть, — Дергасов увлекся, забыл о своей опасности. — Мы пришли к тому, что необходи-

мо нечто другое, принципиально новое, — едва сдерживая самоуверенные нотки, продолжал он. — И применили... метростроевский щит.

Достав чистый лист бумаги, он так же стремительно набросал на нем контуры щита и попутно сообщил:

— Идею взяли у метростроевцев, а они в свое время, кажется, у англичан. Размеры и габариты рассчитали применительно к нашим задачам. — Все время Дергасов говорил о себе во множественном числе, как было принято, и ни разу не оговорился, хотя Рослицкий отлично представлял себе, что на первых стадиях инженерной разработки тот, наверно, продумал и рассчитал все это один. — Наш щит ведет откаточный штрек к новому месторождению; тоннель — из тюбингов. Здесь вот, под стальным козырьком, работают проходчики и водитель щита; в задней части имеются домкраты, которыми он упирается в уложенные кольца и передвигается вперед. За смену наши проходчики обычно укладывают три-четыре метра.

Похоже было: он видел щит даже здесь, сидя в кабинете, и не скрывал, что гордится. Все, что поначалу показалось в нем неприятным, исчезло. Даже осторожная выжидательность, настороженность.

«А может, мне только почудилось это? — подумал Рослицкий, оценивая по достоинству сделанное Дергасовым, и сквозь него, как сквозь призму, видя уже все остальное. — Инженер вроде как инженер. Даже лучше многих...»

Последнее время он работал в отделе рационализации и изобретательства и, по правде, порядочно обленился, возомнил себя большим специалистом, даже литератором, стал воображать, что способен на

нечто другое, большее, и обижался на начальство, державшее его в черном теле.

«Приеду в Москву, напишу не только докладную, а и о щите. «Новаторы семилетки», — загораясь, он уже видел написанное в газете и свою фамилию чуть ниже заголовка на средней колонке. — А что? Не чичирка какая-нибудь, а трехколонник или хотя бы подвал. Сразу увидят: не только в командировку съездил, но и открыл... новаторов!»

Но чем больше он слушал Дергасова, тем явственней чувствовал какое-то несовпадение впечатлений. По тому, как тот встретил его, как держался вначале, у Рослицкого стало складываться убеждение, что Дергасов ни в коем случае не герой будущего очерка. И в то же время тот находился в самом фокусе событий.

Впервые Рослицкий сталкивался с таким несовпадением и не знал, что делать. По-настоящему он должен был бы пожить в Углеграде, изучить людей и только после этого браться за перо. Но у него были такие напряженные отношения с руководством, что в теперешнем положении это оказывалось просто невыносимо.

Рассказывая, с какими трудностями удалось разместить заказы на изготовление щита, как работали, собирая его, монтажники и как осваивались в забое проходчики, Дергасов все время оставлял себя как бы в тени.

— Народ у нас знаете какой, — сдержанно хваливал он. — Чуть не месяц ребята в палатке жили, пока на заводе металл вальцевали да детали сваривали. Зимой, в тридцатиградусные морозы! Знали, что без своего глаза оставить нельзя. А когда собирали — по неделям из шахты не вылезали. Спустим

термоса с горячей пищей: поедят, отдохнут — и снова за работу...

— Кто же это? — заинтересовался Рослицкий.

— Да все. Салочкин, Мудряков, Козорез...

«А может, сделать героем кого-нибудь из сборщиков? — подумалось ему. — Но тогда будет только», как собирали щит, а главное ведь не в сборке».

— Завтра посмóтрите в забое, как работает, — пообещал Дергасов и скомкал наброски. — За этот месяц уже сто восемнадцать метров прошли...

Часы показывали два. На площадку с шумом и гамом вывалила отработавшая смена. Увидав свет в открытых окнах дергасовского кабинета, Козорез походя хлопнул Салочкина по плечу.

— Ого! Начальство не спит...

— Тише, штыбарь! Может, оно только придремало?

За ними вышли опоздавшие и со смехом и шутками задержались на площадке. Тимша попросил:

— Спой, Козорез! Ну что тебе? Ты же служил там...

— Дай после бани отдышаться. Пой сам!

— У меня голоса нет.

— Вот прилип...

И, словно вспомнив службу в армии, Козорез запел отсыревшим баритонцем:

— Сопки — в дымке волоокой.
Мглой замглился горный кряж.
Ой, Амур! Амур широкий!
Амур-батюшка ты наш!

Величавый, полноводный,
Опоясал ты тайгу.
И гремишь волной холодной
На пустынном берегу.

За мечтой своей сошлись мы
Здесь семьею дружной жить
И во имя коммунизма
Этот край преобразить.

Разведем сады на склонах,
Берега возьмем в бетон,
Переженим всех влюбленных,
Влюбим тех, кто не влюблен.

Нам открыты все дороги,
А для счастья — жизнь отдашь.
Ой, Амур! Амур широкий!
Амур-батюшка ты наш!

И хотя рядом не было ни Амура, ни сопки, ни новоселов, как по волшебству казалось, что они здесь — стоит только оглянуться, и что жизнь, милая, чудесная жизнь с ее неповторимой прелестью и красой, уходит, как Амур, в далекую даль.

— Ждут в Смоленске или Курске
Писем наши старики.
А у нас теперь в Амурске
Всюду страдные деньки.

По тайге — до далей дальних —
Гул машин и шум труда,
И зовут в огнях причальных
Новоселов города.

В каждом доме — новоселье,
В каждом доме — дочь иль сын
И счастливое веселье
Самых первых октябрин.

Сопки — в дымке волоокой,
Мглой замглился горный кряж,
Ой, Амур! Амур широкий!
Амур-багюшка ты наш!

Рослицкий заслушался. После зачина Тимша не удержался, вступил дрожащим подголоском, звучащим особенно трогательно и нежно в отдалении и ночной тьме:

— Сопки — в дымке волоокой,
Мглой замглился горный кряж.
Ой, Амур! Амур широкий!
Амур-батюшка ты наш!..

— Поют, — усмехнулся Дергасов, как-то не чувствуя, что лучше помолчать. — На работу — поют, с работы — поют! О тайге, об Амуре, о чем ни вздумается...

— Да-а, — согласился Рослицкий, думая о чем-то своем, что, пожалуй, не так просто было и выразить. — Хорошо!

Дергасов замолчал и, словно спохватившись, вспомнил:

— Пора и нам. Пойдете ко мне? Или здесь, на диване, переспите?

Рослицкий с удовольствием зевнул.

— Здесь, если можно. Не хочется вас стеснять.

— Здесь так здесь. Постельные принадлежности — в диване. Вот только с ужином...

— Спасибо, я не хочу.

— Ну, тогда спокойной ночи! Перед сменой я вас разбужу.

Закрыв стол, Дергасов задержался у двери, поставил ключ вовнутрь. Можно было уходить, но словно бы не хватало чего-то.

В глубине души ему до сих пор не верилось, что Рослицкий заинтересовался щитом и даже собирается смотреть, как тот работает. Не дождавшись, что гость подтвердит свое намерение, он попрощался еще

раз, заглянул в дежурку и распорядился переключить туда телефон из кабинета.

«Все они спервоначалу прикидываются, в душу лезут, — думал Дергасов. — А держаться нужно по-прежнему».

А Рослицкий достал из дивана матрац, одеяло с подушкой и постельное белье. Песня затихла, но сдержанная ее сила все не отпускала сердце. И то ли под впечатлением разговора с Дергасовым, то ли под влиянием ее Рослицкому хотелось работать и жить не так, как он жил и работал, а как об этом пелось в песне.

10

Что ни пелось в песне, а проснулся Рослицкий в начале девятого.

«Тоже проспал, наверно, — подумал он о Дергасове, так и не разбудившем его перед сменой, и убрал постель. — Разошлись-то мы после двух...»

Внизу, в дежурке, былолюдно. Сидя с телефонной трубкой в руке, Дергасов ждал разговора с кем-то и ругал механика компрессорной.

— Где воздух, я спрашиваю? Опять мне забойщики плешь переедают!

Увидав Рослицкого, он замолчал и принялся изо всех сил дуть в трубку. Воспользовавшись этим, обескураженный, переминавшийся с ноги на ногу механик стал оправдываться:

— Каждый день в Тулу звоню, чтобы компрессоры из капиталки выдали; кроме обещаний — ничего!

Оба они едва уловимо походили друг на друга: то ли — привычкой держаться, то ли — манерой гово-

рить. Рослицкий невольно почувствовал это и с интересом стал наблюдать, что будет дальше.

— Тула! Тула! Дайте завод Ленина, — закричал в трубку Дергасов и, не добившись ответа, раздраженно сунул ее механику. — Не клади, пока не вызовешь...

Рослицкий понял: последнее сказано исключительно для того, чтобы что-нибудь сказать, и, не собираясь ввязываться, решил уйти. В коридоре висела стенная газета со статьями и заметками о Первом мая, победителях соревнования и отделом «Кому что снится?»

Почти тотчас же подошел Дергасов, заговорил:

— Как спали? Я уж не стал вас будить...

— Хорошо, — суше, чем следовало, отозвался Рослицкий и требовательно напомнил: — Ну? Спускаемся?

Лицо Дергасова было помято. Под покрасневшими глазами виднелись темные мешки.

— Сейчас. Пойдемте-ка пока позавтракаем.

— А успеем?

— Успеем, успеем. Вы умывались?

— Нет еще.

— Тогда сначала умоемся...

Дергасов взял мыло, вафельное полотенце, провел Рослицкого к умывальнику.

— Слыхали? — точно ожидая одобрения, сказал он. — У компрессорщиков с давлением не ладится, так я толкачом!

В кабинете оказался накрытый салфеткой поднос. На нем стояли стаканы, чайник, а на тарелке виднелись бутерброды с сыром и ветчиной.

— Какова глубина вашей шахты? — так и не отозвавшись на его слова, спросил Рослицкий.

— Сто десять метров. А вы когда-нибудь поглубже бывали?

— В Донбассе. На шахте Артема. Там, кажется, четыреста пятьдесят.

— Ну, у нас не то, — Дергасов пил чай, ел и озабоченно думал о чем-то своем. — И уголек не донецкий, а так — для внутрирайонного потребления.

— Вы где до Углеграда работали? — поинтересовался Рослицкий скорее по привычке, как у всякого бы другого, и, покончив с чаем, закурил.

Но Дергасов усмотрел в его вопросе некий умысел и осторожно отозвался:

— В Караганде. В Товаркове.

В командирской душевой оказалось все необходимое для спуска. Они переоделись в кожаные шахтерские спецовки, брезентовые куртки, брюки и резиновые сапоги. На деревянных балванках сидели каски. Перепробовав три или четыре, Рослицкий подобрал себе подходящую и стал похож на заправского горняка.

В ламповой им выдали электрические надзорки, вспыхнувшие ярким светом, и через минуту Дергасов и Рослицкий оказались возле вспомогательного ствола. Алевтина посадила их в подошедшую клеть, захлопнула дверь и дала зво-



нок, извещавший машиниста подъема и стволового внизу, что спускаются люди.

Рослицкому почудилось вначале, что клеть стоит на месте. Но вскоре он услышал, как что-то задевает за проводники. Казалось, она то опускается, то поднимается — вверх-вниз, вверх-вниз. Откуда-то начала барабанить по крыше вода: все сильнее, сильнее, пока не стало похоже, что хлещет самый настоящий ливень. Холодные брызги обдавали лицо, попадали за шиворот.

— Вот здесь у нас и случилась авария, — как бы между прочим сказал, словно приберег, Дергасов. — Слышали, наверно? Электровоз сорвался.

— Слышал, — коротко отозвался Рослицкий. И сколько Дергасов ни ждал, ничего больше не добавил.

На околоствольном дворе горели лампы дневного света, особенно удивительного под землей; напоминали о том, что осталось наверху.

— Пойдемте: покажу вам наше крепление, — сразу же предложил Дергасов. — А потом щит...

Главный откаточный штрек уходил вдаль. Дневной свет остался позади. Рослицкий спешил за Дергасовым, стараясь не задеть головой медно поблескивавший вверху контактный провод. Вода хлюпала под ногами, доходила до щиколоток, а когда оступишься с настила, то и до колен. По стоякам крепления, по накатнику расползлась плесень. Толстые, чуть не в обхват, кряжи, казалось, вросли в земные недра.

Дергасов привычно шел, посвечивая надзоркой по сторонам. Иногда он останавливался, осматривал трубы, тянувшиеся из глубины шахты, негромко предупреждал:

— Осторожно! Не оступитесь...

Встречный состав с углем заставил их забиться в какой-то комарок. Посветив по медленно проходившим вагонеткам, Рослицкий выхватил кусок угля. Редкие матовые прожилки играли в нем на свету ломким морозноватым отблеском.

— Ого, германий, — и сам себе пояснил:—Раньше использовался почти исключительно в радиопромышленности, а сейчас находит все большее применение в электронике. И много его у вас?

— Да нет. Пробовали отбирать на сортировке, но не вышло, — равнодушно сказал Дергасов.

Километра через полтора они свернули в боковой ходок и вскоре добрались до такого места, где кровля заметно просела, а стояки были повреждены или заменены новыми. Невыветрившийся запах свежей сосны напоминал просеку в лесу. На настиле под ногами похрустывала чешуя.

Дергасов остановился, опустил фонарь.

— Послушайте!

Рослицкий прислушался. По всему штреку—вдали и вблизи, совсем рядом — время от времени раздавалось едва различимое и словно бы осторожное потрескивание.

— Чувствуете, как жмет? Крепим, крепим, а оно...

Некоторые стояки были переломлены пополам, топорщились длинными, острыми иглами. Вода под настилом уходила в сборник, из которого ее откачивали на поверхность.

— Вот оно: трапецеидальное, — Дергасов пренебрежительно похлопал рукой по стояку, огляделся. — Самое дорогое! Крепим, крепим, а все без толку...

Похоже, он наконец уверился, что Рослицкий не собирается брать на заметку недостатки, и рассказывал не опасаясь.

— Да-а, — вглядываясь, протянул тот. — Ломают, как спички! Какое, вы говорите, здесь давление?

— Свыше ста двадцати тонн на квадратный метр.

Одеваясь, Рослицкий захватил с собой блокнот и ручку, но они были во внутреннем кармане. Он старался запомнить все, что могло пригодиться, и по привычке емко вбирал необходимое.

— Теперь покажу вам круглое крепление, — Дергасов двинулся снова. — Недалеко отсюда...

Увернувшись от ошестинившихся, словно рассерженные дикобразы, стояков, Рослицкий заторопился за ним. Миновав разветвление, где поблескивали накатанные рельсы, они оказались на другом участке.

Трапецеидальное крепление сменилось круглым, металлическим, похожим на обнажившиеся ребра какого-то доисторического чудовища. В одном месте оно было деформировано больше всего: вытянуто в ширину, сдавлено и действительно напоминало лежащее яйцо.

— Мы рассчитывали, что при круглом креплении давление горных пород будет меньше, — точно извиняясь за откровенность, стал объяснять Дергасов. — Но, как видно, на этом участке оно даже больше, чем предполагалось.

Рослицкому снова подумалось, что без Дергасова не обойтись.

«Герои, новаторы, — будто споря с кем-то, рассуждал он. — Любого можно взять! В этом и сила примера...»

Они пошли дальше и немного погодя оказались в выложенной кирпичом камере, из которой виднелся готовый тоннель, темно-серые бетонные тубинги. Дергасов торжествующе остановился.

— Теперь скоро и щит! Видите, как прокладывает...

Облегченно распрямившись, Рослицкий вытер рукавом спецовки вспотевший лоб.

— Хоть поезда пускай...

В тоннеле было сухо, чисто. Они стояли не сгибаясь. Аккуратно выведенные черной краской цифры уходили вдаль, нумеруя кольца тубингов.

Метростроевский щит представлял собой стальной каркас, несший гидравлические домкраты, похожий на руку — укладчик, подымавший и устанавливавший тубинги в свод тоннеля, ленточный транспортер и другие механизмы. Лобовая его часть имела стальной козырек, под прикрытием которого работали проходчики. Выбранный уголь и порода шли в подававшийся порожняк и отправлялись на-гора.

Рабочая площадка была освещена сильной электрической лампой. Оглушительный грохот отбойных молотков закладывал уши.

— Ну, как оно сегодня? — крикнул, здороваясь с водителем, Дергасов. — Сколько за ночь прошли?

— Всего ничего, — отозвался тот и для наглядности отчеркнул краешек крупного черного ногтя.

— Почему?

— Двумя атмосферами разве что возьмешь!

Точно в подтверждение сказанного, он подхватил кусок отбитой породы и показал Дергасову. Повертев в руках, тот обернулся, передал его Рослицкому — каменно-литой, стылый первозданной нежилой стылостью.

— Ничего! Скоро из капиталки компрессора придут...

Отбойные молотки захлебнулись, будто кончились пулеметные ленты. Стало слышно слабеющее шипенье

воздуха. Проходчики, как по команде, выключили их, оглянулись.

— Разве это давление? Придет получка — аванс не отработаем...

— Когда только этой муре конец будет?

Чувствовалось: они не верят успокаивающим посулам Дергасова и знают им цену.

— Чем такая работешка, лучше вручную кайлить!

Водитель щита Хижняк — усатый, похожий на запорожского казака — невесело поддержал:

— По крайности будешь знать, сколько выдюжил.

Дергасов по-начальнически одернул их:

— Никто этого не разрешит! Ручного труда у нас в шахтах нет...

— Ручного, оно нет. А безрукого — сколько хошь, — ввернул обнаженный по пояс и загоревший до черноты Салочкин. На груди, на руках и даже на спине у него виднелись наколотые синей тушью чудовища, женщины, какие-то диковинные деревья и цветы.

Дергасов постарался замять неловкость. Словно не расслышав ничего, он как ни в чем не бывало кивнул проходчикам на Рослицкого:

— Расскажите лучше представителю «Гипроугля», как вы собирали, монтировали щит.

Рослицкий вынужденно пошутил:

— Рассказывать — не рубать, можно и без давления!

Проходчики испытующе оглядели его.

— Плохо у нас с компрессорной...

— Прохватите кого следует, — посоветовал Хижняк. — С песочком, чи там с уксусом!

— А кого следует? — полушутливо постарался уточнить Рослицкий.

Но они не поддались.

— Полазайте, сами поглядите!

— Эх, зря вы не из «Крокодила», — пожалел помалкивавший до этого Мудряков. — Ему бы тут у нас поживы до сё хватило, — и черкнул ребром ладони по горлу.

Разговор принимал нежелательный оборот. Дергасов поднялся с металлической поперечины, на которой присел, и грубовато оборвал:

— Ну-ка, попробуйте: может, воздух пошел?

Пулеметная очередь рванулась снова, резанула уши. Хижняк скомандовал:

— И то, ребя. Кончай балагу-ур!

«Однако, он умеет, когда надо, — почти одобрительно подумал Рослицкий, пробираясь вниз, к транспортеру. — Все не переговоришь...»

II

Переговоришь или не переговоришь все, а выполнять распоряжение надо. Перед сменой к Волощуку подошел худощавый, ломоносый проходчик в надвинутой на глаза каске и коротко бросил:

— Принимай пополнение, Лаврен!

Не скрывая, что рад, Волощук дружелюбно спросил:

— Ну, как оно? Подлечился?

На них зашикали. Чистоедов давал последние указания спускавшимся и, запнувшись на полуслове, напутственно махнул рукой.

— Ну ладно, идите! Беда с некоторыми. Пока болеют — от дисциплины отвыкают.

Шахтеры потянулись к выходу. Держась поближе, Тимша приглядывался к новому проходчику и, чувствуя себя уже не новичком, а полноправным членом смены, тихонько спросил:

— Кого это к нам, Косарь?

— А тебе не все равно? — вместо ответа огрызнулся тот и громче, чем следовало, скомандовал: — Садись довеском! Поехали...

В забое Волощук, будто оправдываясь, стал объяснять:

— Я думаю, ты на комбайн, Ненаглядыч. А мы — крепить. Вроде бы сподручней будет.

— Давай так, — покладливо согласился тот. — Хотя тебе бы, как звеньевому, лучше самому на комбайне.

— Мы с тобой напеременку.

— Лады.

Он словно стеснялся, что Волощук уступил ему место звеньевого, и, окинув забой зорким по-ястребиному взглядом, пустил комбайн. Фреза врезалась в пласт, стала подрезать его сверху. Лапы погрузчика погнажи породу на транспортер, в вагонетки, а Ненаглядов, будто работал здесь всегда, прибавлял и прибавлял скорости.

Теперь дела хватало всем. Волощук с Косарем готовили металлические сегменты для крепления, накатник, распил. Тимша следил за транспортером и погрузкой, покрикивая Янкову, когда нужно было продвинуть состав, чтобы порода, нагрузив доверху очередную вагонетку, сыпалась в следующую.

Вчетвером работать было куда легче. Удавалось даже краешком глаза поглядывать, как работал на комбайне Ненаглядов, как ожесточенно, словно сердясь на кого-то, стягивал хомуты Косарь. По все-

му было видно — Волощук встретил пришедшего с радостью, а Косарь — неладно, точно Ненаглядов чем-то мешал ему.

«Видно, тоже на комбайн метился, — не без душевного удовлетворения догадался Тимша. — Да по-лучше проходчик нашелся!»

Сам он чуть не с первого дня со всем пылом страсти влюбился в комбайн и отдал бы, кажется, все — лишь бы сесть на него. Следя за работой Ненаглядова, Тимша сразу заметил, что тот всегда начинает уступ сверху, как бы обнажая пласт, заставляя его обрушиваться на погрузчик собственной тяжестью, пока не приходило время ставить и стягивать хомутами сегменты.

«Мне у него учиться да учиться, — радовался Тимша. — Ненаглядыч, наверно, с завязанными глазами работать будет и не собьется!»

Но как бы то ни было — звеньевым все-таки считался Волощук, и Ненаглядов с готовностью признавал это. Между ними установилось нечто похожее на взаимное признание превосходства друг в друге. Ненаглядов признавал, что Волощук и впрямь — старший в смене, а тот отдавал должное его умению и опыту.

Тимше нравилось это, хотелось походить то на Волощука, то на Ненаглядова, а лучше бы — на обоих сразу. И только Косарь злился неизвестно на кого, неизвестно за что и крутил гайки так, что те визжали и стонали.

Вентиляционный штрек, который они прокладывали, шел к Большому Матвею. Сухие участки перемежались с обводненными. В отдельных местах давление горных пород было таким, что не всякое крепление выдерживало.

Подтаскивать сегменты и крепеж приходилось то и дело. Тимша вызвался тоже. Нисколько не удивившись, Волощук принял это как должное.

— Пойдем! Бери рукавицы...

Накатник был свален неподалеку. Выбирая подходящий, Тимша обрадованно заметил:

— А работёшка сегодня ладно идет! Верно, бригадир?

— Верно, — не скрывая облегчения, отозвался тот. — Ненаглядыч, брат, даст табачку понюхать. Он ваньку валять не любит...

— Ты его вместо себя не ставь, — с внезапной ревностью сказал Тимша. — Я знаешь как это переживаю. И Косарь тоже.

— Ну, Косарь совсем не потому, — криво усмехнулся Волощук. — А ты брось! Ненаглядыч в звеньевые не собирается. У него свое.

— Откуда он к нам?

— До больницы в другой смене работал. А теперь у нас. Для партийной прослойки.

Подтащив накатник в забой, они вернулись за распилом. Горбылеватый, занозистый, он жалил ладони, но Волощук словно не чувствовал ничего.

— Ты не жалеешь, что его к нам в смену? — снова спросил Тимша.

— Тю! — чуть не прыснул со смеху тот. — Да Ненаглядыч — Герой Труда: Звезду и орден имеет.

Тимша подхватил распил, заторопился. Проникшись уважением к Ненагладову, в душе он все равно отдавал предпочтение Волощуку.

Пока Янков отвозил породу, комбайн не работал. Проходчики заделывали боковые стенки, перекрывали накатником верх. Работа шла споро, много легче, чем прежде. Даже Косарь не покрикивал на Тимшу, как

бывало, а молча с одного-двух ударов вгонял распил под крепление.

Наконец Ненаглядов присел, достал жестянку с нюхательным табаком. Ломоносое его лицо еще хранило отпечаток болезни, усы напоминали ячменные ости.

— Что ж ты там, в больнице? — хмуро поинтересовался Косарь. — Лечился? Или так же табачок нюхал?

— Лечился и нюхал.

Внутренне накаляясь сам не зная отчего, Косарь продолжал расспрашивать все с той же хмурой и пренебрежительной ухмылкой:

— И много там нашего брата... шахтера?

— Счетом не считал, — Ненаглядов будто не понимал, чего от него добиваются. — А ломота в ногах вроде полегчала. Теперь бы на курорт куда: на Кислые воды или в Сочи.

Волощук не вытерпел. Хлопнув Косаря по плечу, рассмеялся.

— А ты что? Тоже на курорты собираешься?

Тот уничиженно хмыкнул:

— Мне бы на халтурку куда. Что я, герой какой?

Издали слышалось лязганье приближающегося состава. Ненаглядов поднялся, с удовольствием чихнул несколько раз.

— Ты геройство не трожь, — в ястребиных его глазах блеснуло что-то разящее. — К нему через халтурку не пробьешься!

Включив комбайн, Волощук приподнял хобот. Фреза вонзилась в уступ, обрушила породу.

— Грузи! — крикнул он Тимше. — Да поторапливаться не забывай...

Задержки из-за порожняка не возникало. Скорость

проходки теперь зависела только от того, как быстро убиралась порода. Не отвлекаясь, Тимша следил за погрузкой, сигналил Янкову, когда передвигать вагонетки, и все больше входил во вкус спорой, слаженной работы. Забой ощутимо углублялся. Скоро, наверно, придется удлинять трапы, подъездные пути.

Но Тимша радовался не только этому, а и тому, что Косарь больше не покрикивал на него, как прежде, не срывал дурное настроение в обидных и бессмысленно грубых издевках. Между ними явственно встала какая-то неожиданная преграда. Наткнувшись на нее, Косарь рассвирепел, задевал всех по-прежнему, но Ненаглядов уже осадил его, а за ним решил не спускать ничего и Тимша.

«Что я ему — затурканный? Пускай только сунется!»

Электрическая лампа заливала забой светом. Патрон с проводом был прикреплен в самом верху, под накатником. Резкие тени от комбайна и всех предметов отбрасывало на стены штрека, на крепление. Шахтерки были совсем не нужны.

Не в пример, на этом участке что-то перекрыло дорогу подземным водам. Трудно было определить, где все же придется ставить насосы, продвигаться медленнее, чем сейчас.

Подготавливая место для очередного сегмента, Косарь вряд ли беспокоился обо всем этом, как беспокоился Волощук, и был занят совсем другим. Все время его не оставляло не то раздражение, не то обида, как будто с приходом Ненаглядова он, Косарь, стал значить в смене совсем не то, что значил.

«Навешают цацек, носятся, — злился он. — Герой, герой, а поглядишь — ничего особенного! И в получку, наверно, закладывает не хуже нас, грешных...»

Когда Ненаглядов сел на комбайн, Косаря и совсем разобрало. Напрасно он старался сдерживаться, все подталкивало на ссору.

Самого его судьба не баловала ничем, хотя, стремясь заработать побольше, Косарь старался не хуже других. Деньги у него водились, а вот орденов и званий не было — шахтер и шахтер, каких много.

Он работал в шахте, но не считал себя горняком; людей, подобных Ненаглядову, просто не понимал и со злорадством думал о том, что, несмотря на звезду и орден, тот работает в забое, а мог бы, наверно, заниматься чем-нибудь полегче.

«Дали цацку, он и рад! Вкалывает изо всех сил...»

Бороться за звание смены коммунистического труда, работать на один счет Косарю не хотелось. Но отказать наотрез было не просто, и он решил до поры до времени выждать, тем более что Ненаглядов — коммунист и, наверно, будет настаивать, чтобы они работали как все.

Первыми в шахте стали работать на один счет комсомольские смены. С этим Косарь еще мирился.

«Ребята молодые, — отстраненно, как о чем-то постороннем и его не касающемся, рассуждал он. — Не все им равно — копейкой больше, копейкой меньше? Зато по-новому!»

Но когда на один счет стали работать и другие, Косарь встревожился не на шутку. Он чувствовал: идти на попятный теперь не дадут, придется работать как все, или просить, чтобы перевели еще куда.

«А там, глядишь, то же самое? Вроде сплошной коллективизации...»

А Ненаглядов и не догадывался ни о чем. Он вернулся из больницы, где лечил обострение ревматизма, и, как все старые шахтеры, прошедшие суровую шко-

лу жизни и труда, не стремился ни командовать, ни руководить. Чистоедов перебросил его в смену Волощука — не только для того чтобы укомплектовать ее, но и укрепить.

«Подлечился, теперь надо работать. Не все равно где?..»

Волощука Ненаглядов знал по Щекину, а к остальным еще приглядывался. Тимша показался ему старательным, переимчивым пареньком, обещавшим со временем выравняться в настоящего проходчика, а Косарь не возбуждал ничего, кроме равнодушия и скуки.

«Со всячинкой, наглец! Из каких обиженных, что ль?..»

Ключом Ненаглядов владел хуже его. Тот сразу углядел, что он стягивает хомут не так, и, не скрывая издевки, набросился:

— Куда крутишь? Отвык в больнице ключом играть?

— А и впрямь отвык,—не обиделся Ненаглядов.— Вроде бы не слушается...

Косарь обезоруженно подобрел. Бросив свое, подскочил, показал.

— Насильно не крути, а то резьбу сорвешь. Нагрузки не сдержит!

К концу смены они прошли небывало много. Пришлось удлинять трапы и подъездные пути, чтобы работа шла по-прежнему. Помогая Волощуку, Тимша переимчиво запоминал все. Если б нужно было, он, наверно, справился бы и один.

Задержки из-за порожняка не было. Едва комбайн пошел снова, Янков осадил состав. Погрузка началась.

Впервые после того, как стал звеньевым, Волощук радовался, что так ладно работается. Сменное задание наверняка будет перевыполнено.

«Всегда бы так, — удовлетворенно и весело думал он. — Глядишь, подтянулись бы к концу месяца, долги наверстали».

Но когда нагрузили половину состава, внезапно погас свет. Комбайн со скрежетом остановился. Транспортёр замер.

— Вот те, бабушка, свадьбина ночь! — брякнул Косарь и, не удержавшись, забористо выругался: — Эх, мать-перемать! Хошь не хошь, а ложись спать!

Включив шахтерку, Волощук соскочил с комбайна. Почти одновременно зажглись шахтерки и у всех, наполнив забой причудливо беспокойными, ломкими тенями. В непривычной тишине слышнее стало потрескивание обшивки, шуршание осыпающейся породы.

— И часто оно так? — хмурясь, проговорил Ненаглядов. — Хорошо бы ненадолго... эта свадьба.

— Да нет, — отозвался Волощук, пытаюсь вспомнить, давно ли не было энергии. — В этом месяце вроде второй раз.

— А про третий-четвертый забыл? — сердито напомнил Косарь. Похоже, ему доставляло удовольствие растравлять себя и других. — Память — решето... не держит ничто!

Простаивать не хотелось. Подождав немного, Волощук решил узнать, в чем дело.

— Подтаскивайте пока крепёж, — распорядился он. — А я смотаюсь, узнаю, что там заколодило?

Тимша хотел попроситься с ним, но не решился. Втроем они пошли за лесом, а Волощук отправился звонить на-гора. «Карлик» работал на щелочных аккумуляторах и от случившегося не зависел. Вспых-

нувшие его фары заматались по стенкам откаточного штрека и скоро исчезли в крошечной тьме.

Поеживаясь непонятно отчего, Тимша шел, безотчетно держась поближе к проходчикам. Ненаглядоу заметил это и, не останавливаясь, посочувствовал:

— Ты чего это? Сам с собой не сладишь?

Косарь сумел насолить и тут:

— Шахтаря боится! А так он у нас парень храбрый, — и хохотнул неприятно и дико, как леший.

Тимша шарахнулся, уронил распил. Рассудком он понимал, что никакого Шахтаря нет, но сладить с темнотой за спиной не мог.

— Тебе какое дело?

Обратно Волощук вернулся пешком. До конца смены оставалось меньше часа. Оглядев подтащенный крепеж, мрачно сообщил:

— Авария на гресе. Говорят, до утра. Давайте сматываться, что ли?

— Ох, Шахтаря на них нет! — с силой швырнул ключ Косарь и нахлобучил на глаза каску. — А еще нашим углеградским антрацитом топят...

12

Углеградский антрацит был самым обычным углем Подмосковного бассейна и добывался с трудом. Без обогащения он горел в топках из рук вон плохо, а зольность его достигала порой тридцати процентов.

Недели полторы тому назад начальник шахты Костяника уехал с делегацией горняков за границу. Вместо него остался на Соловьянке Дергасов.

Акт комиссии, расследовавшей причины аварии, с этого и начинался, как будто отсутствие начальника

шахты вызвало аварию. Неожиданный этот выпад чувствительно задел Дергасова, но оспаривать, препираться с Быструком вряд ли стоило.

«Авария могла произойти и при Костянике, — сердился он. — Всё в шахте было, как и при нем! А они пишут...»

Вслед за этим в акте отмечалось, что техника безопасности во время спуска и подъема нарушалась многими. Назывались виновные — погибший электромеханик Журов, а из командиров производства, непосредственно отвечавших в то воскресенье за безопасность спуска в шахту, — маркшейдер Никольчик.

Чем дальше Дергасов читал, тем отчетливее видел, что Быструк руководствовался теми же соображениями, что и он сам.

«Мертвых не воскресишь, — думалось ему. — А живым — жить и работать...»

Таким образом, главным виновником аварии оказался Журов. Неосторожное признание Алевтины, что он накануне допил четвертинку, было заботливо внесено в акт и в нем выглядело уже совершенно определенно: электромеханик Журов был пьян, проходя мимо поднятого на-гора электровоза, самовольно взялся исправлять повреждение, пустил мотор и не смог остановить.

— Ну конечно! — благодарно воспрянул Дергасов, чувствуя, что с Быструком можно работать и дальше, как работалось до этого. — Иначе и быть не могло...

После такого вступления совсем по-другому выглядело и то, что электровоз находился не в ремонтном тупике, оборудованном специальным запором против угона, а в недопустимо опасной близости от вспомогательного ствола. Его только подняли на-гора и для ремонта должны были отвести в тупик.

Прочитав все, Дергасов облегченно перевел дыхание. Выходило, что руководство не виновато. Об этом не говорилось прямо, но вывод из всего возникал именно такой.

Никольчику, конечно, не избежать ответственности. В своем объяснении он откровенно написал, что заставил Журова ремонтировать электровоз, пообещав компенсировать день отдыха другим днем.

Озабоченно побарабанив пальцами по столу, Дергасов позвонил в горный надзор и, как обычно, с напускным добродушием заговорил:

— Григорий Павлович, ты не собираешься сегодня к нам на девятку?

Быструк действительно собирался. Нужно было проверить, что сделано после аварии и выполняется ли в соответствии с правилами безопасности все, что отмечено в акте.

— А что такое?

— Приезжай, пожалуйста. Тут у нас, брат, явная неувязка. Применительно к акту.

Неувязок Быструк не терпел. Все у него всегда было ясно и четко, а главное — правильно. Правда, после того, как что-нибудь произошло.

— Сейчас приеду, — пообещал он.

Дергасов не стал и прощаться.

— Жду-жду. Может, машину подослать?

Машины у него не было. Но можно было попросить в горкоме у Буданского или в исполкоме, там ему никогда не отказывали.

Обдуманного плана действий у него не было. Но Дергасов хорошо понимал: нужно переориентировать Никольчика в сознании того, как в действительности происходило дело.

«Мертвых не воскресишь, — всё так же, с холод-

ным расчетом, думал он. — Так зачем же осложнять жизнь живым?»

В дверь постучали. Дергасов никогда не упускал случая напоминать, что его кабинет не конюшня, и подчиненные привыкли спрашивать разрешения, а потом входить.

Чуть помедлив, он коротко откликнулся:

— Да...

Никольчик казался не в себе. Чувство вины совершенно выбило его из привычной колеи.

Испытующе оглядев его, Дергасов поморщился и не предложил сесть.

— Что вы тут наобъясняли? — небрежно ворохнул он его записку. — Кто-нибудь прочтет — за голову схватится! Разве так все было? — сделав ударение на слове «так», негодуяще добавил Дергасов, как будто сам был очевидцем случившегося и уличал Никольчика в заведомой лжи.

— А разве не так? — обескураженно удивился тот. — Я хотя непосредственно и не был на месте, но бросился к стволу сразу же, как услышал. Разрешите? — и, не ожидая ответа, налил воды, залпом выпил половину стакана. — Жжет! Третий день...

— Сядьте, — наконец как можно мягче сказал Дергасов, хотя считал мягкость с подчиненными совершенно ненужной, вредной для дела. — Успокойтесь, вспомните все как следует.

Дверь распахнулась. Быстрок словно ожидал, что увидит в кабинете Никольчика.

— Ну, что у вас тут еще? Здравствуйте!

Вместо ответа Дергасов протянул ему объяснительную записку маркшейдера.

— Да вот, — и, напоминая о телефонном разговоре, вздохнул: — Как ни верти — явная неувязка.

Застегивая форменную куртку, Быструк сел рядом, неторопливо прочел объяснительную записку, перевернул, точно искал что-то еще на обратной стороне, и, сразу сообразив все, односложно и многозначительно произнес:

— Да-а...

Никольчик присел на краешек стула, уставился на них напряженно остановившимся взглядом.

— Я знаю, что виноват. Мне нет оправдания!

Быструк поморщился, повертел его объяснение.

— Ответственности с вас никто не снимает. Но нагородили вы тут черт те что! — И, немного помедлив, словно втолковывая Никольчику, сказал: — Вы, наверно, собирались вызвать Журова для исправления электровоза, а он сам увидел его и стал ремонтировать.

— Понимаете, со-би-ра-лись, — подхватил Дергасов еще более вразумляюще. — А он сам... понимаете, сам — шел ми-мо, увидел и взялся исправлять!

Никольчик глядел и вроде не мог уразуметь — чего от него добиваются? Какое это в конце концов имело значение: сам Журов взялся ремонтировать электровоз или он попросил его? Все же написано в объяснительной записке — так, как было.

— Я же написал обо всем, Леонид Васильич, — вспыхивая так, что краска стала растекаться по шее и за воротник, напомнил он. — И вины с себя не снимаю... нисколько!

— Да кому она нужна, ваша вина? — не сдержался Быструк. — Ведь получается черт те что! Все говорят: Журов был пьян, шел мимо и по пьяному делу взялся исправлять электровоз. Вот акт, показания очевидцев. А вы что пишете?

— Что было, то и пишу, — все еще не понимал

его Никольчик. — А пьян Журов не был. Иначе я бы ни за что не допустил его к работе.

— Все утверждают, что Журов был пьян, а вы — нет. Кому же должна верить комиссия? Всем или вам?

— Н-не знаю.

— Тут и знать нечего. Конечно, всем!

— Ну, пускай, — убежденный неотразимостью его доводов, согласился Никольчик. — Что из этого?

Быструк жестко хлопнул ладонью по его записке.

— А то что, хотите вы этого или не хотите, получится — хуже некуда!

— Не понимаю. Ничего я не понимаю...

— Получится, что дежурный командир не только допустил, а и заставил пьяного ремонтировать электровоз в опасной близости от шахтного ствола, — принялся втолковывать ему Дергасов. — И загремите вы, ей-богу, лет на пять, не меньше! А с вами и еще кто-нибудь.

Наконец-то до Никольчика дошло все. Как ни был он потрясен случившимся, а понял роковое противоречие между тем, что написал сам и что утверждали другие, и, холодея, опомнился. Ему протягивали руку помощи. Спасения она не принесет, да он, Никольчик, и не ждет спасения. И как гибнущий хватается за что угодно, так и Никольчик безотчетно поддался тому, что от него требовали.

— Мертвые не воскреснут, а вам совсем ни к чему совать голову в петлю, — с явным облегчением проговорил Дергасов, видя наконец, что Никольчик, кажется, уразумел все, как надо. — Вы только хотели вызвать Журова, а он сам... понимаете, сам!

Растерянно достав платок, Никольчик вытер лоб, лицо и скомкал его, забыв спрятать в карман. Он под-

нял веки и увидел, что Дергасов тоже встревожен, может быть, даже не меньше, чем он сам, но только скрывает это.

«Ему-то чего бояться? — недоумевал Никольчик. — Греметь-то мне. А он — сбоку припека...»

Быструк поднялся, расстегнул куртку.

— Идите и напишите заново. А то поставите всех в дурацкое положение.

Точно желая удостовериться, что дело сделано, Дергасов подхватил:

— Поняли?

— По-нял, Леонид Васильич, — поспешно вставая, заверил Никольчик. — Сейчас перепишу и принесу...

— Нет-нет, напишите заново, — потребовал Быструк, видя, что тот хочет взять у него объяснительную записку. — А эта пускай полежит тут.

Никольчику не оставалось ничего другого, как согласиться.

— Хорошо. Я напишу заново.

Почти удовлетворенно барабанил пальцами по столу, Дергасов чувствовал: теперь беда заденет его лишь по касательной. Все-таки, что ни говори, Быструк не подвел, сразу понял все.

«Укажут, конечно, на недостаточное внимание к технике безопасности, и правильно. Не следили, распустили людей! Никольчика будут судить, но, пожалуй, тоже по касательной. Он ведь находился в дежурке и не мог знать, чем там во дворе самовольно занимается Журов, да к тому же еще — пьяный. Привлекут, наверно, и машиниста Янкова. А тот действительно заслуживает снисхождения: Журов непосредственно отвечал за технику, за ее исправность...»

Дергасов был уверен в том, что поступал правильно, как только можно поступать в сложившихся

обстоятельствах. Принять необходимые меры, чтобы не повторилось случившееся, всегда можно. В этом он был убежден по опыту жизни, а опыт в подобных случаях — великое дело.

«А оставь все, как написал Никольчик, — не миновать беды, — думал он. — Загремели бы мы с ним куда Макар телят не гоняет — ну, на пять не на пять лет, а года на два определенно! А кому польза? Журову? Светлой и незабвенной его памяти?..»

Дергасов никогда не задумывался над тем, что такое в нравственном отношении тот или иной из его подчиненных. Сам он во всех случаях привык поступать, руководствуясь выгодой или невыгодой того или иного для себя лично, и не представлял, что у других могут быть какие-либо иные побуждения, кроме той же выгоды-невыгоды.

«Тетеря! — снисходительно обозвал он Никольчика, почти представляя себе уже, как выпутается из того положения, в котором оказался. — Растерялся, как мальчишка! Хоть и хороший маркшейдер, опытный, ничего не поделаешь: своя рубашка, как говорится, ближе...»

А для Никольчика все это не имело никакого значения. Объясняя, как было дело, он не собирался выгораживать себя и оговаривать Журова. Правда случившегося была для него единственной правдой, не оставлявшей места для кривотолков и побочных умозаключений.

Он был настолько потрясен случившимся, что даже не задумывался об ответственности, а тем более о том, как обезопасить, выгородить руководство шахты. Вернувшись к себе, в горный отдел, он собрался написать объяснительную записку наново, начал — и не смог. Память Журова нужно было не чернить,

а защищать от напраслины и клеветы. Тот был трезв, что бы ни утверждали все, и взялся исправлять электровоз не самовольно, а по его приказу. Что же касается техники безопасности, то ее в шахте нарушали на каждом шагу. Виноваты в этом в первую голову они — командиры производства, не требовавшие от подчиненных соблюдения установленных правил.

В этом и только в этом была та правда, которую Никольчик не хотел и не мог в силу душевных своих качеств замалчивать и перетолковывать по-другому. Почти физически ощутимо он представлял себе огромное, впервые угадавшееся простирание: нужно идти в него не по касательной, а вкрест, совершенно точно и безошибочно вкрест, не то произойдет большая и вряд ли поправимая ошибка.

И как в маркшейдерии Никольчик не решил бы свою задачу иначе, так и теперь он не мог поступать по-другому, чем поступал.

«Вкрест, только вкрест, — стиснув до боли побелевшие, обескровленные губы, мысленно твердил он себе, почти забыв, чем вызвано это единственно возможное решение. — Иначе ничего у меня не получится...»

Вспомнив об Алевтине, Никольчик решил поговорить с ней. От нее ведь пошли слухи, что Журов был пьян и пьяный ремонтировал электровоз.

«Зачем ей это понадобилось? — недоумевал он. — Сболтнула разве по глупости. Или выдумала? С какой целью?»

Утренняя смена кончилась. Заступавшие на работу спускались в шахту, отработавшие поднимались на-гора. Клетки ходили без остановки; звонили звонки, лязгали двери. Как всегда во время пересмены, у вспомогательного ствола было многолюдно, шумно.

Садясь в клетку, шутники бросали рукоятчице то сочувственные замечания, то рискованные шуточки.

— Не тужи, краля! Гореванье не милованье...

— Пойдем с нами, ежели рискованных не боишься, — и подмигивали так, что окружающие покатывались.

— Да ну, не замай! А то по кибернетике схлопочешь...

И, не дошутив, со смехом проваливались в дышавшую мраком бездну.

А другие выходили на-гора—измазанные, мокрые, посвечивали рукоятчице в лицо разрядившимися шахтерками и, не глядя на усталость, притопывали по железному настилу, будто собираясь пуститься в пляс.

— Уголь, уголь, уголек! Ты навек меня завлек...

— Ну, как оно тут, на солнышке? Жить можно-о?

В куртке нараспашку, из-под которой виднелась татуировка, Салочкин, обращаясь к Алевтине, пообещал:

— Погоди, стану министром — заморской едой тебя буду кормить, на моторольке раскатывать!

Она давно привыкла ко всему этому и то отмалчивалась, то отшучивалась, умела постоять за себя.

Наконец из клетки показался Тимша, а за ним — Волощук, Ненаглядов и Косарь. Щурясь от солнечного света, щедро бившего в распахнутые двери, они ступили на железный настил и вздохнули. Волощук и Ненаглядов кивнули Алевтине как старые знакомые, Тимша — даже не взглянул, потому что был молод и считал ниже своего достоинства оглядываться на женщин, а Косарь, пропустив всех, вполголоса бросил:

— Приходи вечером! Знаешь куда...

Она против обыкновения не отвернулась, не закрылась платком, только сверкнула глазами.

— После экзамена.

Поняв, что пока Алевтина работает, поговорить не удастся, Никольчик решил подождать, когда она смейнется. А чтобы не исчезла, предупредил:

— Зайди ко мне, Журова. Как освободишься...

Она удивленно поправила платок.

— Это в горный отдел, что ль?

В шахту спускали крепеж, цемент, бетонные тубинги; поднимали подходивших из дальних выработок. Звонки, лязганье дверей, гуд подъемной машины не прекращались.

Минут через двадцать Алевтина распахнула дверь горного отдела. Вместо брезентовой спецовки и брюк на ней было то самое цветное, открытое платье, в котором она ходила раньше только по праздникам, а на голове — голубая косынка, завязанная по-девичьи под подбородком.

— Ну? Зачем я понадобилась?..

— Василь Васильич, — сказал Никольчик участковому маркшейдеру Чистякову. — Сходите-ка утрясите в материально-техническом складе наши требования.

Тот с готовностью взял папку.

— Хорошо, Петр Григорьевич. Боюсь только, не найдут они все, что мы выписали.

Алевтина помнила, что Никольчик дежурил в то воскресенье, когда произошла авария, и, естественно, считала его виновником гибели Журова. Об этом говорила и общая молва. Но первая горечь горя прошла, живая жизнь со всеми ее радостями и соблазнами брала свое и не к чему было ворошить отгоревшее.

— Садись, Журова, — заметно волнуясь, сказал Никольчик, мучительно не зная, с чего начать разговор. — Сюда, сюда... поближе.

Она настороженно села, ожидая, что будет дальше. То ли после душа, то ли отчего еще лицо ее шло жаркими, перемежавшимися пятнами, губы запеклись.

— У меня, между прочим, и своя фамилия есть,— точно недовольная тем, что Никольчик называл ее Журовой, обиженно заметила она. — Отцова еще: Скребницкая...

Он смутился.

— Извини, не знал. А позвал тебя вот зачем, — и как все не слишком волевые люди выложил без подготовки и напрямик. — В акте комиссии во всех показаниях говорится: Журов был пьян и в нетрезвом виде взялся ремонтировать электровоз. Это действительно так?

Алевтина замаялась. Не хотелось возвращаться к тому, что отошло, стало забываться, но приходилось ворошить все снова.

— Не знаю. Раз все говорят — значит, так и было.

— Но ты ведь должна знать лучше всех.

— Я и знаю.

Разговор явно не получался. Никольчик не мог понять почему.

— Что ты знаешь? — попробовал он преодолеть отчуждение, мешавшее им. Но Алевтина не поддавалась.



— Что знаю, то знаю.

— Ты пойми: нужно снять с него вину за случившееся. Ведь если Журов был пьян, самовольно взялся исправлять электровоз — вся вина падет на него.

Алевтина не поддавалась и на это.

— Ему теперь все равно. Прав ли, виноват ли...

— Ну, это не совсем так, — попробовал переубедить ее Никольчик. Хотелось сказать: дело даже не в самой вине, а в памяти, которую незачем чернить и после смерти. Но, глядя на подведенные ресницы, на выщипанные в ниточку ее брови, он чувствовал, что на Алевтину могут подействовать разве что только самые простые, материально-земные доводы. — Когда Журов был у меня, в дежурке, я, например, не заметил, что он пьян.

— Вы вообще ничего не заметили, — с неожиданной горечью упрекнула она и достала носовой платок. — Ни того, что воскресенье было, ни того, что мы к близнятам шли!

Никольчик боялся — заплачет, и обрадовался, увидев, с чего нужно было начинать. Стараясь заглянуть ей в глаза, он напомнил о детях.

— Подумай хорошенько: у тебя сын и дочка. Ведь, если Журов виноват во всем, ты не получишь на них того, что полагается.

Алевтина спрятала платок, решительно перевязала косынку.

— Как это не получу? Мне Леонид Васильич твердо обещал...

— Вопрос о пенсии будут решать судьи. А они взвесят всё.

— Верно, они взвесят, — вынуждена была согласиться она. Внезапно на лицо ее снова набежала не-

доверчивая отчужденность. — И зачем вы в это путаетесь? Вас ведь совсем за другое виноватят.

Никольчик нашелся не сразу.

— Я знаю, в чем виноват, — не скрывая, что нуждается в помощи и ждет ее, вздохнул он. — Но я не хочу, понимаешь, не хочу, чтобы всё взваливали на того, кто искупил свою вину, и выгораживали настоящих виновников.

Кажется, Алевтина начала понимать его. Теперь оставалось убедить ее, чтобы она опровергла все показания.

— Пойдем завтра в прокуратуру, — стал убеждать Никольчик. — Заявишь, что комиссия ошиблась: во-первых, Журов не был пьян, а во-вторых, взялся ремонтировать электровоз не самовольно, а после того как я приказал взяться за ремонт.

— Что вы ему там приказывали, я не знаю, — не согласно повела плечом Алевтина. — Я сидела на лавочке, ждала. А потом Журов вышел с инструментом, в комбинзоне, сказал: «Иди к близнятам одна, я заступаю на работу».

— Пусть так, — согласился Никольчик, увидев в этом хоть какой-то проблеск правды, которую решил отстаивать во что бы то ни стало. — Почему ты об этом не сказала Быструку?

Она потупилась.

— Он спросил только: «Верно, что Журов был пьян с утра?» Я удивилась даже: «Кто это вам нанес?» А он: «Неважно, дескать, кто. Люди говорят!» А Журов действительно допил ночью начатую четвертинку, после того как мы повздорили. Но утром ничего не пил и не был пьян нисколько.

Не позволяя себе радоваться, Никольчик попытался выяснить все до конца.

— Из-за чего же вы повздорили?

— Этого я не скажу. Хотя, что уж теперь! Из-за одного человека. — И, подняв откровенно смятенные глаза, неожиданно горько призналась: — Ревновал он меня до смерти! А я... ну, ничего поделать не могла.

Все это походило на исповедь. Никольчик почувствовал даже неловкость.

А Алевтина будто забыла, зачем пришла, и, прикрыв глаза подведенными тушью ресницами, мечтательно и совсем не по-вдовьи вздохнула.

— Теперь уж всё. Чему быть, тому быть... живому жить!

Будто упершись в незримую стену, Никольчик понял: ей совершенно безразлично, что думают о памяти погибшего мужа, как защитить ее от оговора и клеветы, — и не ошибся. Алевтина точно опомнилась, провела загорелой рукой по волосам и ломко проговорила:

— Никуда я не пойду. Мое счастье тоже чего-нибудь стоит. Погляжу, чего Дергасов наобещал. Тогда уж!

— Тогда будет поздно, — не скрывая отчаяния, предостерег он. — Пойми: Журова оклеветают — и ты проиграешь!

Она прищурилась, глянула, как под солнце, и, вызывающе поправив на плече выехавшую бретельку, усмехнулась.

— И-и! Хороший вы мужик, Петр Григорьевич, а не знаете, что ли: любая женщина никогда не гадает, где найдет, где потеряет. — И уходя, обернулась от двери. — Или рискованных не уважаете?

Не уважая рисковых, Косарь внутренне побаивался связывать себя с Алевтиной чем-либо прочней самых обычных и непритязательных отношений. Чувствуя это, она и не добивалась большего, довольствуясь тем, что получала, и от встречи к встрече понимала — ничего другого у них не будет.

— Эх их разбирает! — затаив дыхание, Косарь слушал последних соловьев, допевавших самые заветные, береженные песни. — Видно, напоследки...

Подкравшись поближе, он притаился под раскидистой, необломанной черемушиной, густо обсыпанной ягодами, а чуть в сторонке, в двух шагах, текла и струилась серебристая соловьиная трель. Не видный за листвою певец где-то рядом; кажется, протяни руку — запоет на раскрытой ладони.

— Перещелк, лешева дудка, бисерок, — считал, зажмурившись от удовольствия, Косарь. — А вот кукушкин перелет, а не то — родничок пробивается, горло полощет. Ишь выкамаривает! Хоть на пластинку записывай...

Алевтина задержалась, но Косарю хорошо и без нее. Не часто ему удастся бывать вот так — один на один с собой; в шахте соловьев нет.

«Вот-вот отпоют, — думает он. — Выведут птенцов, бросят гнезда и откомандируются в теплые края...»

Улыбаясь чему-то, Косарь с минуту думал об этом и наконец открыл глаза. Было время, когда и он вроде птенца выпорхнул из родного гнезда, полетел в белый свет.

— Как подлётых, — повторил он одними губами. — Куда глаза глядели...

Война застала его в колхозе, неподалеку отсюда. Отец ушел на фронт и пропал. Зимой, в сорок втором, умерла мать. Косаря взял к себе дядька, двоюродный брат отца, вернувшийся из окружения с перебитыми пальцами на левше. Бабы окрестили его Лёвошником; говорили, что за это судят и расстреливают и что мальчишке лучше бы у него не жить.

Во время оккупации Лёвошник сделался полицаем. Бабы прикусили языки. Косарь вытянулся, вырос, привык щеголять в чьей-нибудь, явно не по росту, городской одежде, глядеть на людей, на вещи цепкими, оценивающими глазами дядьки.

А когда в сорок третьем гитлеровцы побежали, исчез из села и Лёвошник. Думали уж, что погиб, но в середине лета он неожиданно вернулся — худой, обросший — и, присмирив, скупое рассказывал, что опять попал в окружение.

— В какое еще окружение?—недоумевали бабы.— В наше, что ль?

— Первый раз — в ихнее, второй—в наше. Наловчился!

— Ваше бабоньки, третье, — заискивающе шутил Лёвошник и, казалось, готов был на всё.

В колхозе он не брезговал никакой работой: шел куда пошлют, не отказываясь. А ночами на печи застуженно и горько сипел:

— Каждой мокрохвостке готов ж... лизать! Лишь бы про полицайство забыли.

Косарь думал о себе. В районе открылось техническое училище, набирали детей фронтовиков, партизан, — и он ушел туда.

Жил Лёвошник тихо, лизал всем, но кто-то сообщал о нем куда следует. Вызвали его в сельский

совет, отправили в район, а там — на пятнадцать лет, куда — никто толком не знал.

Забыв и думать о нем, Косарь в анкетах писал только об отце-матери, да о себе, сироте. Через два года стал строителем.

«А пришлось перекантоваться в проходчики, — усмехнулся он. — Пока полегче работешка сыщется — семьдесят семь потов сойдет!»

Соловей умолк. За Осьминкой, по ту сторону заросшего бирючиной и черемушником склона, запел другой. Прозрачно-раскатистый его рокоток рассыпался над ясными до дна водами речушки, наполняя всё вокруг неизъяснимо призрачным волшебством.

— Зачин. Оттолчка... юлиная стукотня, — самозабвенно считал Косарь. — А то — гусачок, клыканье... ну, дух перенимает!

Алевтина запаздывала.

«Она всегда осторожничают, — вспомнил Косарь. — А теперь как с ума сошла! Людей стесняется, — и презрительно плюнул. — Какое кому дело, что мы с ней?»

Алевтина была чисто по-женски несогласна с этим. Любовь, чувство не прикрывали порой слишком обнажавшуюся сущность их отношений. Дети пока в лагере, а вернутся — будут по-прежнему в садике.

Последнее время Журов проверял каждый ее шаг. Ссоры за ссорами раздражались, как грозы, но не приносили облегчения.

«Если б не авария, — думала Алевтина, — было бы что-нибудь другое... похуже. — И с бесстрашным отчаянием холодела. — Убил бы он меня под горячую руку. Или я что с ним...»

Горевала она недолго, ровно столько, сколько содрогалось от ужаса сердце. Дергасов разъяснил ей:

если будет вести себя как следует—помогут получить пенсию на детей.

Торопясь в заказник, Алевтина вспомнила о разговоре с Никольчиком и под влиянием его решила прояснить виды на будущее. Как ни тихо стоял, слушающая соловьев, Косарь, она подкралась еще тише и, меняясь в лице, пригляделась.

Солнце село. По кустам густели тени — оранжевые, синие, туманно-дымчатые. Как всегда в жаркую, ветреную погоду, можно было ждать обильных рос.

Почувствовав прохладные ее ладони, закрывшие ему глаза, Косарь попытался вырваться, но Алевтина не выпускала, пока не рассмеялась.

— Эх ты-ы! И не заметил, как пристигла...

— Уследишь тебя, как же, — стал оправдываться он. — Шмыгаешь вроде ящерики в траве: ш-шу! ш-шу!

— Ящерица не ящерица, а не уследил, — и, устало вздохнув, предложила: — Давай сядем, Феденька, ног под собой не чую.

— Давай, — зевнув, согласился Косарь, даже не поинтересовавшись, как прошел экзамен, сдала ли она; снял пиджак, расстелил под орешинной. — Долгонько ты сегодня, я уж уходить хотел.

Изнеможенно опустившись, Алевтина закинула руки за голову.

— Пока экзамен да пока крюк дала, — стала объяснять она. — Что же не спросишь — сдала ли? Какую отметку выставили?

Косарь лег в траву, положил голову ей на колени. Некрупная, медноволосая, голова его всегда вызывала в Алевтине прилив какой-то особой, похожей на материнскую, нежности, неодолимое желание приласкать и приласкаться.

— Пятерку... перевернутую? — осклабился он. — Или похуже?

— Неправда: четверочку. Не зазорней других.

— И что ж теперь?

— Как что? На второй курс перейду.

— А я уж боялся: тебя вместо Дергаса в главные инженеры произведут, — Косарь не верил в ее ученье, но не говорил об этом прямо. — Что́ я тогда?

— погоди, дай время, — ее словно задела на-смешка. — Окончу, стану нормировщицей...

— У нашей Алюты — фу-ты, ну-ты!

— Узнаешь тогда, — пригрозила Алевтина, перебирая пальцами его волосы — проволочно-жесткие, беловатые у основания. — Будешь мне почет-уважение оказывать! Не то, что теперь...

Прорвавшаяся боль говорила, что теперешнее положение всё же мучит ее. Но Косарь, лениво перевернувшись, мечтательно поглядел куда-то за Осьминку.

— Далёко я тогда буду. Фью-у!

— А я как же? — задетая его тоном, обиделась Алевтина.

— А ты — в нормировщицах. С начальством! Нашему брату, шахтеру, не чета.

И властно, по-мужски, привалился, подмял ее.

Заря на западе погасла. Сгустившиеся сумерки окутали заказник. Соловьи пели, точно состязались, кто больше колен выведет, удивит замысловатой трелью.

Отдыхая, Косарь глядел на проступавшие звезды. Разговоры о будущем всегда тревожили его, оставляли в душе беспокоящий, горький осадок. У всех оно было, а у него не было. Даже Алевтина и то думала о своем будущем. А что мог сказать он?

Не веря, что кто-то заботится о нем, заранее определяя его на годы вперед, Косарь в глубине души был убежден — все заняты самими собой, стремятся к лучшему только для себя. Какие бы громкие слова ни произносились, они только скрывают истинные намерения людей жить легче или устроиться получше среди себе подобных.

Косарь жил, провожая день за днем, изредка позволяя себе мечтать о том, как поднакопит денег и выйдет на-гора, под ясное солнышко. Что будет за этим, он не смог и представить. Ему хотелось жить легче, чем жил, а какой она должна быть, эта легкая жизнь, не сумел бы сказать.

«В передовики-новаторы мне не выйти, — злился он, хотя и понимал, что оставаться в стороне нельзя. — Ударник коммунистического труда тоже вряд ли получится!»

И, словно со стороны, разглядывал придирчиво и тоскливо:

«Где ж оно... мое будущее?»

Алевтина вернулась с Осьминки, присела рядом. Капельки влаги дрожали на ее волосах, на платье.

— Как же мы дальше будем, Феденька? — зябким от напряжения голосом спросила, ласкаясь, она. — Ты не заснул тут, пока меня не было?

— Что... как же?

— Не надоело таскаться по заулкам, комаров кормить?

Косаря неожиданно прорвало:

— Ты что... девка? Отца с матерью боишься?

Алевтина оскорбленно дрогнула.

— Знаю, что не девка...

Еще немного — она бы всхлипнула, расплакалась. Не поднимаясь, Косарь притянул ее к себе.

— Удивляюсь, до чего вдовки обидчивы стали! Хуже девок, ей-богу!

— А ты люби, так и обижаться не буду.

— А я что делаю? На, накинь пиджак, комары заедят!

Пиджак пахнул табаком и чем-то еще, едва уловимым. Закутавшись в него, Алевтина разымчиво вздохнула. Было в этом вздохе всё — подавленное чувство обиды, тоска по несбыточному, рассудочное стремление не прогадать, не оставляющее некоторых женщин даже в самые чувствительные минуты.

— Вызвал меня сегодня Никольчик и корит: «Зря ты мужа-покойника обговорила, что пьяный он с электровозом возился».

Косарь настороженно обернулся.

— Ну?

— «Одно дело, говорит, когда Журов твой трезвый, другое — пьяный. И детям пенсия по-другому будет».

— Ему-то что? Он, что ли, пенсию платить будет?

— «Мне, говорит, ничего, кроме правды, не нужно. Нельзя, мол, память погибших чернить». Я так поняла....

— Не всяка правда на правду похожа.

Доверчиво прижимаясь к нему, Алевтина призналась:

— Зазябла вся! Я тоже так думала, а потом вижу: не в себе он! Предлагал мне к прокурору идти, отказаться, что Журов в то воскресенье выпивал.

— А разве так?

— Так. Ночью мы с ним повздорили, он обиделся — допил четвертинку, лег один.

Косаря заинтересовало все это.

— Из-за чего?

— Не знаешь из-за чего муж с женой по ночам ссорятся?

— Да разве, допив четвертинку, пьян будешь?

— Все так показывали: пьяный, в нетрезвом виде. Самовольно ремонтировал. Оттого и авария...

— Дура ты, дура! — обругал он ее и поднялся. — Пойдем, поздно уже. Завтра мне в утреннюю смену.

14

В утреннюю смену нужно было и Тимше. Но по штреку мчался молодой, озорноватый коногон, а из пласта навстречу ему — Шахтарь: страшный, с сумасшедшим взглядом. По преданию, он появляется перед несчастьем; тот, кому привидится, не жилец на белом свете.

Картина висела на самом видном месте в Доме культуры, была хорошо освещена и обращала на себя внимание входивших. Тимша взглянул — и не мог оторваться. Забыв обо всем, он стоял и воображал себя коногоном, а по плечам, по спине тек пронзительный, ежастный холодок.

«Что его ждет? Обвал, взрыв рудничного газа, наводнение или какая другая беда? Вправду, значит, горняки боятся встречи с Шахтарем. После нее — конец...»

Прозвенел второй звонок. Зрители, пришедшие в кино, потянулись занимать места, а Тимша все стоял, разглядывая коногона, Шахтаря, змеисто разбегающиеся трещины в пласте антрацита. Казалось, случись нечто подобное — и всё.

Никифор Чанцев и Олег Яремба успели заглянуть в буфет, набрали бутербродов с колбасой.

— Пошли, Тимка! Сейчас свет гасить будут...

— Чего ты смотришь? Обструкционист же явный!

Тимша занял свое место, но, пока не погас свет и не началась картина, перед глазами у него стоял Шахтарь. Ребята ели бутерброды, смеялись, а он был во власти иного. Сердце захлестнуло что-то пронзительно ранящее, в горле стояли слезы. Было жаль коногона и одновременно себя, жаль, что тот жил и, наверно, погиб, так и не увидав ничего хорошего. О прежней шахтерской жизни ходило немало легенд, причудливых, страшных, — и хотя не всему верилось, Тимша знал: многое правда.

Когда они очутились в парке, Чанцев, недолго думая, предложил:

— Айда на танцы!

— Подцепим по хорошенькой, — обрадовался Яремба. — А что?

Тимша отказался.

— Я же без галстука. Дружинники придерутся.

— Не придерутся. У нас там дружки.

— Айда!

Площадка для танцев была неподалеку. Огороженная высокой железной решеткой, она напоминала огромную клетку, внутри которой виднелся дощатый круг, раковина для оркестра. •

Молодежи оказалось сравнительно немного. Но едва только они подошли, откуда-то появилась девчушка-дружинница, преградила дорогу к кассе. Чанцев прошел. Несмотря на обещание провести Тимшу, Яремба заторопился тоже.

— У вас костюм не в порядке, молодой человек, — строго взмахнув загорелой рукой, сказала Тимше дружинница. — Подите приоденьтесь, тогда пожалуйста!

— А если у меня костюма нет? — попробовал озорновато возразить он. — Если не заработал еще?..

— Одолжите у товарища.

— Мои товарищи давно танцуют.

Она критически оглядела его еще раз, проверяя можно ли пустить такого на танцевальную площадку, и не удержалась от брезгливой гримаски.

— Ну хорошо. Дело не в костюме. А почему брюки не выглажены? И ботинки? Разве в таких нечищенных ходят?

Тимша устыдился не столько нечищенных своих ботинок, сколько осуждающего ее взгляда. Одет он был действительно не по-праздничному. Ребята уже танцевали, присматривая какую-нибудь парочку, чтобы разбить ее. Он подмигнул им и пошел по молодому парку, высаженному вокруг Дома культуры.

На площадке играли в городки. Тимша любил их и играл довольно сносно, но сейчас нечего было и надеяться примкнуть к какой-либо партии.

«Почитаю, и на боковую, — подумал он. — Завтра в смену с утра. А Волощук с Косарем, наверно, в «Сквознячок» закатились...

Но среди играющих оказался Ненаглядов и — как ни удивительно — Волощук. С битами в руках они ждали своей очереди и заранее предвкушали азартное удовольствие состязания в силе и ловкости.

Противники пробили. Собрав разлетевшиеся биты, Волощук вышел на кон. В квадрате лежала Змея — пять зигзагообразно сложенных городков. Широко размахнувшись, он пустил биту и даже подался за ней сам. Та сильно прочертила землю, не задев фигуру, грохнула в деревянную загородку.

— Плашмя... плашмя, — не без досады подсказал Ненаглядов. — Что ты ее козлом посылаешь?

— Да шут ее знает... дыбом идет!

Присев, Волощук пустил вторую биту, но и она не достигла цели. Все старанье он вкладывал в силу удара. На то, чтобы бита шла как следует, внимания не оставалось.

Ненаглядов, должно быть, понял это и, вскидывая биту, остановил Волощука.

— погоди, дай-ка мне, Лаврен! А то будем мы с тобой вместо ослати их возить.

Будто не целясь, он крякнул, коротким взмахом послал биту. Противники ахнули: перед самой фигурой та перевернулась, пришлась Змее по голове. Раздался глухой, сильный щелчок: городки расшвыряло в стороны.

— Давай новую!

— Какую теперь?

— Ставь Колодец...

Тимша пробрался к Ненагладову. Азарт состязания захватил и его.

— Можно мне, — попросил он. — Артем Захарыч...

— А не промажешь?

Волощук охотно дал ему биту.

— Бей под сруб, чтоб не протекло!

Размахнувшись, Тимша ударил. Бита зацепила фигуру, развалила ее. Один городок вылетел из квадрата, второй остался на черте. По правилам, его должно было ставить на попа.

— Мазила! — захохотали наблюдавшие, но Тимша не повел и бровью.

— Одним концом не выбьешь, — заметил ему Ненаглядов. — Они ж тебе с хитринкой поставили: еле-еле сруб связали, чтоб от ветра развалился.

В училище такое переигрывали, но здесь нечего было и заикаться. Тимша вышел на середину кона и,

злясь на самого себя, на противников, ударил, как подсказывал Волощук, под самый сруб. Три городка вылетели под одобрительные возгласы наблюдающих, четвертый остался лежать в дальнем углу слева. Третьей битой он расправился и с ним.

Воротынцев — красивый, рослый — вышел на кон, прищурился. Ракету с хвостом как сдуло ветром — с одного удара.

— Вот так запусти-ил! — следившие за игрой восхищенно переглянулись.

— Прямо в космос...

— Ставьте следующую! Что там?

— Колбаса.

— Давай Колбасу...

Новые фигуры Воротынцев, как правило, начинал выбивать сам. Его партнеры доканчивали оставшееся.

Дождавшись, когда они пробили, Ненаглядов тоже взялся за Письмо. Распечатывать его нужно было обязательно со среднего городка. Остальное можно было добивать потом.

Первая бита прошла впустую. Городок, которым было запечатано Письмо, откатился с середины квадрата на край и остался лежать рядом с другим в виде буквы Т. Вздохнув поглубже, Ненаглядов ударил второй раз, целя по ним, выбил оба сразу.

— Доканчивай, Лаврен! — удовлетворенно бросил он. — Сейчас мы их, щучьих сынов, перегоним...

Пока Волощук добивал Письмо, Тимша выставил противникам очередную фигуру. Разыгравшись, те выбили Бабушку в окошке с двух ударов, а Паровоз — с одного.

Кончили игру перед вечером. Музыка на танце-

вальной площадке играла еще зазывней, и молодежи там толпилось больше, чем прежде.

Фасад Дома культуры выходил на железную дорогу, поблескивавшую огнями стрелок вниз; задняя сторона была обращена к городу. Скрывая этот просчет, там поставили обелиск на могиле героев-партизан, но и он не исправил положения.

— Артем Захарыч, — поинтересовался Тимша. — Ты видел картину в фойе?

— Какую это?

— Про Шахтаря, про коногона.

Ненаглядов насупился. Ломоносое его лицо стало неузнаваемо.

— Видал и сам коногонил. А никаких Шахтарей не встречал.

— Он, говорят, только перед бедой показывается, — вздрагивая, поежился Тимша. — Тому, у кого гибель за плечами.

— Брехня это! Двадцать пять лет я в шахтах, отец и дед тоже шахтерили. А ничего такого не случилось...

— Зачем же тогда рисуют?

— Слабачков пугать.

Тимша глядел на него — в сером чесучовом костюме с Золотой звездой на груди — и любовался. Хоть работать, хоть играть Ненаглядов умел превосходно.

— А одному в шахте страшно? — спросил он, заранее веря всему, что тот ни скажет. — Тебе приходилось в завал попадать?

Словно догадавшись, что у того на душе, Ненаглядов не спеша отозвался:

— Как тебе сказать? Приходилось.

— Страшно?

— Да некогда бояться. Двоих отбойщиков, что со

мною, насмерть придавило, а я прорубился. На четвертые сутки, как потом выяснилось...

— И Шахтаря не видал?

— Художника бы этого туда. Пускай бы покайлил с мое — знал, что мазать!

— А разве сказку нельзя?

— Сказка-складка, — не то возразил, не то просто так, к случаю, задумчиво сказал Ненаглядов. И, спохватившись, добавил: — Пойдем-ка, проводи меня! А то Кудимовна хуже всяких Шахтарей страху нагонит...

На автобусной станции стояла очередь. В праздничные дни из Северного в Углеград ездили больше, чем в будни: машин не хватало.

— Не будем стоять, — предложил Ненаглядов. — Пойдем потихоньку!

За мостом еще некошеные, в буйном разнотравье, луга тянулись до самой магистрали, дышали медовым ароматом и гудели на разные лады. Кое-где кроты нарыли глинистые свои террикончики; из-под ног во все стороны сигналы похожие на цирковых прыгунов кузнецы.

— Скоро земляника поспеет, — нагибаясь, всмотрелся Ненаглядов. — Вишь, как взялась!

Тимша шел молча, перебирая недавние впечатления.

— Зря мы оставили бригадира, — сказал он. — Сойдется с Косарем... хуже некуда.

— Косарю сегодня не до пьянства, — Ненаглядов сорвал щавелинку, разжевал. — Со вчерашнего на халтуру подался.

Тимша не знал об этом.

— Куда?

— В Чернушки. Избу какому-то кладовщику ставит.

— А как же смена? — удивился Тимша. — Ведь нам завтра с утра...

— Халтурщик он, а не шахтер. Косарь-хватарь! За магистралью земля заметно осела. Во впадине образовалось нечто вроде озерца, заросшего по краям травой-свинюшницей.

Обходя его, Ненаглядов озабоченно огляделся.

— Шахта подвинула. Вишь как?

— А если к Северному пойдет проваливаться? — забеспокоился Тимша. — Тогда что?

— К Северному не пойдет. Штейгеры знают, куда разработки ведут. Они под землей как по-писаному читают.

У дома Ненаглядов остановился, поглядел на освещенные окна квартиры. Попрощавшись, Тимша хотел было идти в общежитие, но тот удержал его:

— Зайдем чаю попьем. Кудимовна, поди, самовар заправила.

Похоже, он и в самом деле опасался возвращаться один. Тимше захотелось выручить его.

На заднем крыльце дымила труба. Старый, на гнутых коротеньких ножках самовар выглядел мирно, даже не верилось, будто возле него могут грозить какие-либо неприятности.

Марфа встретила их довольно сдержанно. Голова ее была непокрыта, на подбородке рос пучок седоватых волосков.

— Сыскался? — проговорила она, встречая Ненаглядова, и, разглядев Тимшу, стала допытываться: — А ты чей таков? Как звать?

— Это проходчик наш, Овчуков, — пояснил Ненаглядов, заметно прибодрившийся, что жена не осра-

мила его перед посторонним. — Давайте-ка чай пить!

Квартира их состояла из прихожей, кухни и довольно большой комнаты в два окна, из которой при желании можно было сделать две. В простенке между окнами стоял стол — простой, накрытый цветной клеенкой; по стенам — две деревянные кровати, застланные одеялами. На подоконниках виднелись горшки с геранями, а над ними клетки для птиц — пустые и давно не чищенные.

Ненаглядов принес кипящий самовар, Марфа — чайник и чашки.

— Где же ваши жители? — спросил Тимша. — Разлетелись?

— Ничего, к осени прилетят, — вздохнула Марфа. — Чуть захолодает, они в фортку и под кровать, где конопляное семя: давай, дескать! Вот они, мы...

Налив себе чашку, Ненаглядов стал рассказывать:

— Всю зиму поют! Зяблики — певуны известные.

— У нас дома тоже зяблик был, — вспомнил Тимша. — Когда отец с войны вернулся.

— А ты разве не здешний?

— Нет, бельский. Слыхали, может: туда Ленин на охоту ездил.

— Что ж, у вас старики небось его живого помнят?

— Помнят. Анкудин Зуев рассказывает: Ленин у него останавливался, в пятистенке. Привез, говорит, с собой мешочек соли: всем давал, а ему почему-то не дал.

— Соль тогда вроде денег хождение имела, — догадался Ненаглядов. — За нее можно было что хочешь достать-купить.

Но Тимша ничего не понял.

— Почему ж тогда Ленин не дал ему?

— А потому, наверно, что зажиточный он был, Анкудин Зуев, — предположил Ненаглядов. — Начальство небось в хорошую избу гостя поместило, а Ленин не захотел своей пайковой солью с богатеем делиться.

Марфа предложила Тимше вторую чашку.

— Пей-пей! И бублички свежие, — по-матерински угощала она. — Смолоду всяка еда сладка, а под старость и мед горек.

— Спасибо, — отказался тот. — Поздно уже. Мне еще подчитать кое-что требуется.

Насчет последнего Тимша попросту приврал. Подчитывать ему ничего не нужно было. Просто попалась интересная книжка — «Туманность Андромеды», а фантастику он еще в училище любил больше всяких других сочинений.

Задерживать его не стали.

— Заходи еще, — пригласила Марфа. — Без родителей живешь, свихнуться недолго!

— Ничего, я не вихлючий, — засмеялся Тимша. — Когда-нибудь надо и самому самостоятельности добиваться.

Ненаглядов проводил его на крыльцо и, расставаясь, подмигнул на прощанье:

— Старуха, брат, не беда! Беда без старухи...

Волощука в общежитии не было, а Косарь не придет, наверно, до завтра. Тимша вспомнил, как уничтожающе отозвался о нем Ненаглядов, и тоже повторил:

— Косарь-хватарь!..

Улегшись, достал из-под подушки книжку, стал читать, но не смог сосредоточиться.

«Одни работают, другие ловчат, — негодовал он. — Стараются урвать где можно...»

Косарь всегда казался ему ненастоящим горняком, и, думая о нем, Тимша не представлял, как быть. Смена, всё, что окружало,—давно сделалось для него своим, близким; нельзя было позволять кому-либо относиться к ним иначе.

Волощук пришел поздно. Увидав, что Тимша не спит, добродушно подмигнул и с наивной самоуверенностью похвастался:

— Капли не протекло! Под сруб бил...

Тот с сердцем сказал:

— Ложись, бригадир! Знали б мы с Ненаглядычем, что ты так, — ни за что не пустили бы.

Волощук распустил губы в улыбке.

— Эх, Тимофей, зелен ты еще шахтера осуждать! Возьми лучше в кармане конфетку. Тебе от сдачи припас.

— Не надо! Ешь сам...

— Мне, брат, никогда... никто. Вот и хочу, чтоб ты... чтоб тебе...

Блаженно улыбаясь, он лег, закрыл глаза. Тимша снова раскрыл книгу, но, не одолев и двух страниц, погасил свет.

Утром Волощук разбудил его. Он уже оделся, умылся и спешил на работу.

— Вставай, петушок! Пора...

Косарь так и не пришел.

— Загулеванил, видно, — добродушно предположил Волощук. — У вдовки своей...

— Не у вдовки, а на халтурке, — торопливо утираясь, сказал Тимша. — Слыхал: избу кому-то ставить взялся!

Он ожидал, что бригадир возмутится, узнав об этом, но тот лишь махнул рукой.

—А хоть и так. Попросили — отчего не помочь? Вот только плотник-то он...

— Кладовщику какому-то, — объяснил, все еще кипя, Тимша. — В Чернушках!

— Ну, значит, срубят — капли не протечет. Пошли-ка, он уж, верно, в нарядке нас ждет.

Но и в гардеробной Косаря не оказалось. Они переоделись, взяли шахтерки, а его все не было.

— Прогулов нам только не хватало, — возмущался Тимша. — Теперь прославимся!

Ненаглядов молчал, словно не веря, что Косарь загуляет. Проработали с час, пока тот действительно явился — вспотевший, запыхавшийся. Стараясь прикрыть опаску, еще издали сообщил:

— А на следствии — буза! Никольчик всех под обух подводит...

— Не болтай, — сердито одернул его Волощук. — Скажи лучше, почему в смену опоздал?

Дурашливо хохотнув, тот подтолкнул его к комбайну.

— Эх, и гульнем мы с тобой, Лаврен! Ей-ей, вот увидишь...

— У кладовщика? — Тимша не скрывал, что знает всё, знает и осуждает. — На новоселье?

— Ого? Пронюхали уже! — деланно ужаснулся Косарь. — Завидки берут? — И, схватив ключ, принялся подводить крепление.

15

Крепление давно уже не занимало Гуркина — с тех самых пор, как он сделался председателем шахткома. Ежедневная текучка совершенно поработи-

ла его. То он был занят оформлением профсоюзных документов, протоколов, списков, то подбирал материалы для наглядной агитации, а то бросал все и отправлялся на очередное совещание. Совещаниям и заседаниям не было конца. Не проходило дня, чтобы не вызывали куда-нибудь — по телефону, через шахтоуправление, а то и с нарочным.

Гуркин давно не бывал в лавах, не видел, как работают люди, в чем у них трудности, и о происходящем в шахте узнавал лишь со слов других. Встретив поднявшегося на-гора Ненаглядова, он отвел его в сторонку и, заслонив сутулой спиной от спешивших мимо шахтеров, поинтересовался:

— Ну, как оно? Что новенького в смене?

Не собираясь рассказывать о случае с Косарем и считая, что это их внутреннее дело, Ненаглядов все-таки не выдержал.

«Дело-то внутреннее, а председателю шахтного комитета сказать нелишне. Посоветуюсь...»

— Мало прошли сегодня.

— Почему? — жуя мундштук папиросы и думая о чем-то совсем другом, спросил Гуркин. — Перебоев с энергией вроде не было.

— Да Косарь у нас чуток подгулял. Хочу с тобой посоветоваться: как с ним быть?

Гуркин понимающе округлил глаза.

— Что так?

— В халтуру ударился, кому-то дом ставит. Всё воскресенье протрубил, а сегодня с утра прихватил. Ну, и...

Проходивший мимо Хижняк тронул Гуркина за плечо, спросил:

— Роман Дмитрич, совещание профоргов будет?

— Иду, иду, — отозвался тот и, обернувшись

к Ненаглядову, перегнал папиросу из одного угла рта в другой. — Что ж тебе посоветовать? Потолкуйте промеж себя, вправьте ему мозги...

Ненаглядов помрачнел.

— А по-моему, он же шахтерское наше званье порочит!

— Видишь ли, свободное время каждый может тратить, как вздумает. Так и в Конституции записано.

Одеваясь, Ненаглядов предупредил всех:

— Пошли в нарядку...

Тимша догадался, что разговор пойдет о случившемся. Ненаглядов хоть и не подменял Волощука, но проводил то, что считал необходимым.

— Давно пора! — синё полыхнув глазами, обрадовался он. — Давай, бригадир! Нечего время терять.

Волощук почему-то промолчал. А Косарь, как обычно, попробовал отбояриться:

— Чего еще? Всё уж говорено-переговорено!

В нарядной было пусто. Домино на столе, вокруг которого всегда теснились любители сыграть, валялось в беспорядке. Ненаглядов сгреб его в кучу, сел. Достав сигарету, Волощук хмуро пристроился напротив.

— Давайте, — заторопил их Косарь, всё еще не подозревая ничего. — Об чем разговор?

По-прежнему полыхая глазами, Тимша бесстрашно ввязался:

— О том, что опаздывать никому нельзя. Из-за тебя мы сегодня задание не выполнили!

Сразу взбеленившись, Косарь с силой ударил костями по столу:

— Вякай, да не завякивайся! Без году неделю в смене, а тоже...

В дверях показался Гуркин. Подойдя к окну, за-

крыл створку, чтобы не было сквозняку, и, обернувшись к ним, сказал:

— Ты бы, Косарев, лучше помолчал, когда тебя обсуждают.

Словно объясняя, что произошло, Ненаглядов неторопливо и внушительно заговорил:

— В халтуру ты, друг, ударился. Честь шахтерскую на кон поставил. Нашу честь! Я двадцать пять лет по шахтам, а нигде не халтурил, — посуровел он. Кости дробно посыпались на пол. — Понимаешь ты, об чем речь?

Волощук нагнулся, подобрал попадавшее. В тягостной тиши слышно было, как надсадно дышала компрессорная да где-то, должно быть, на подъемнике террикона, повизгивало несмазанное колесо.

Выждав для внушительности тоже, Гуркин предложил:

— Может, объяснишь, в чем дело? Как дошел до жизни такой?

Косарь вскочил. Загорелое его лицо то темнело пятнами, то бледнело.

— Объясню. Артем Захарыч, ты неправильно информировал всех, — он так и сказал, вспомнив к случаю сугубо книжное это слово, потому что знал: оно пригодится сейчас как нельзя лучше. — Я был не на халтуре, а помогал товарищу. В порядке социалистической выручки. Это, по-моему, не противоречит коммунистическому труду. Наоборот...

«Да ведь он же — кладовщик, — хотелось возмущенно крикнуть Тимше. — Хапуга!..»

Но Косарь победно оглядел всех и, не обращаясь ни к кому в отдельности, тут же опроверг и это.

— А что он — работник снабжения, так крыша

над головой каждому трудящему нужна. И государство наше ссуду кому зря не дает.

— Сколько ты взял с него за социалистическую свою выручку? — не обинуясь, спросил у него Ненаглядов. Похоже, он не верил ничему и упорно пытался добаться до истины. — Только начистоту? По-рабочему.

— Не верите, спросите у него.

— Адрес? Фамилия?

Косарь чуть замялся.

— Адрес? Улица Чернушенская, пятьдесят четыре. Гуркин записал.

— Ладно. Разберемся, — пообещал он, хотя знал, что вряд ли найдет время сделать это. И, обращаясь к Ненаглядову, заметил: — Обижать подозрениями загодя тоже не след.

Он ушел, а они остались, не зная, что делать дальше. Помолчав немного, Косарь насмешливо спросил:

— Ну, всё? Можно расходиться?

Волощук поднялся. Казалось, он не знал, что и думать по поводу всего этого. Объяснение Косаря показалось ему вроде бы правдоподобным, и, облегченно переведя дыхание, он сказал:

— Пошли. Артем Захарыч, до завтра!

— До свиданья, — отозвался Ненаглядов. — Завтра мы сегодняшнее наверстать должны.

— Завтра не завтра, а смены за две наверстаем!

Увидев, что Волощук с Косарем отстают, Тимша ушел вперед. Должно быть, бригадир хотел поговорить с дружкой без свидетелей, не стоило мешать им. Сам он, вначале не очень веривший тому, что Косарь помогает кому-то в порядке выручки, примирил-

ся с его объяснением, а главное — с тем, что Гуркин проверит все, разберется.

«Разве можно отказываться, если просят помочь? — думалось ему. — Ведь без этого и жить нельзя!»

Изредка оглядываясь, Тимша видел Волощука с Косарем, но потом потерял.

«Пускай объяснятся. Может, бригадир скорее до правды докопается?»

Вернулись они почти в сумерках и, не ужиная, легли молча. Разогрев в кухне сковороду с картошкой, Тимша поел, собрался дочитать «Туманность Андромеды», но Волощук обернулся, открыл глаза.

— Гаси свет! Людям отдыхать надо...

На следующий день всю смену они работали как заведенные. Даже Косарь, не любивший поторапливаться, старался изо всех сил, как ни в чем не бывало покрикивал:

— Давай сегменты! А то кровля просядет...

Ненаглядов гнал и гнал комбайн, грузя породой состав за составом. Волощук и Косарь едва успевали подводить крепление, перекрывать накатником, заделывать распилом боковины.

Таская лес, Тимша каждый раз выжидающе поглядывал в темноту штрека, боясь увидеть Шахтаря и презирая себя за это. Разумом, рассудком он понимал, что всё это — досужая выдумка художника, но, оставаясь один, ничего поделаться с собой не мог.

Наконец комбайн остановился. Волощук скомандовал передышку, Замерив пройденное, удовлетворенно сказал:

— Вот это ничего еще!

— До конца смены часа полтора, не мене, — доставая жестянку, прикинул Ненаглядов. Кажется, он

тоже был доволен тем, сколько прошли сегодня, даже на Косаря поглядывал без вчерашней неприязни.

Тимшу всегда удивляло, как он без часов определяет время и почти не ошибается. Жуя хлеб с колбасой, поинтересовался:

— Артем Захарыч, почему ты и без часов время знаешь?

— Так вот, знаю, — уклончиво ответил тот. — Летчики, брат, без ошибки его чувствуют.

— Без часов?

— Без часов.

— Ну, так то летчики, — ничего толком не поняв, протянул Тимша. — Я тоже где-то об этом читал.

— А я, может, в своем деле не хуже другого летчика, — подмигнул Ненаглядов. — Хоть и под землей...

— Ну, и сколько сейчас? — недоверчиво ввязался Косарь. — Как ты определяешь?

Ненаглядов прикинул что-то и, поднимаясь, сказал:

— Да так, вроде половина первого.

— Тимоха, закажи машинисту поглядеть на часы, когда к подъемке поедет, — сказал Косарь и тоже поднялся. — Давай нажмем, звеньевой, раз такое дело!

Комбайн снова заработал. Получалось, что когда на нем сидел Ненаглядов, а Волощук с Косарем крепили, дело спорилось лучше всего. С Ненаглядовым Косарю работалось хуже. Поняв это, Волощук уступал место старому проходчику, а сам брал ключ, подгонял хомуты, стягивал. Силы ему было не занимать, а уставал он не скоро, порядком измаяв напарника.

— Не сдюжишь с тобой, — выдохнувшись, пожаловался Косарь. — Здоров, как комбайн!

— А ты помене на стороне выматывайся, — предупреждающе напомнил Волощук. — Береги, брат, здоровье!

Занявшись очисткой транспортной ленты, Тимша забыл о наказе, но Янков, вернувшись с порожняком, объявил:

— Кому на-гора приспичило? Без четверти час!

Косарь хохотнул, перекрывая гул комбайна, крикнул Ненаглядову:

— Точно! Даже лучше летчика, — и, обернувшись к Тимше, глядевшему с нескрываемым восхищением на старого проходчика, назидательно добавил: — Видал? Старайся! Лет через полста тоже научишься...

Недолюбливавший его выходки Волощук отмалчивался. В том, что Ненаглядов определял время и без часов, не было ничего удивительного — их заменяло ему на проходке многое другое, чему подчас не придавалось значения.

«Все имеет свое время, как на земле, так и под землей, — рассудительно думал Волощук. — Комбайн идет своей скоростью; мы подгоняем и ставим крепление — своей. Умей только замечать, как оно идет, — часы не нужны. И без них приучишься отсчитывать».

Сам он никогда прежде не задумывался об этом, работал как работалось, жил как жилось. А теперь все чаще говорил себе:

«Пришло наше время! Шутелками, как Косарь, не отделаешься: «Я-де не я!» Когда двести миллионов двинулись к лучшей жизни — один не отсидишься, даже под землей. Раньше ведь как было? — вспоминал Волощук, пока ключ будто сам собой

крутил гайку за гайкой, стягивал хомуты. — Одни бросались вперед, другие поглядывали, что получится. Сейчас так не дадут. И пускай Косарь не хорохорится. Об этом уж мы, смена, позаботимся...»

Дня через два в общежитие явился незнакомый, маклаковатый парень. Брюки у него были франтова-то выпущены на сапоги, рябая кепка сидела набекрень, толстый суконный пиджак — нараспашку.

— Федька Косарев тут проживает? — шумно вваливаясь в комнату, спросил он.

— А ну, выйди, — оторвавшись от тетрадки, приказал Волощук.

— Где он? — развязно повысил голос парень. — Тут живет или еще где?

— Я тебе сказал: выйди и постучись, — негромко повторил Волощук. — Спроси: «Можно?» Как все культурные люди...

Испуганно попятившись, тот закрыл дверь, но стучаться не стал, поняв видимо, что лучше не связываться.

Через час, когда вернувшийся из магазина Косарь чистил картошку к ужину, парень явился снова, предварительно постучав, как все культурные люди, и, убедившись, что войти разрешают, осторожно приоткрыл дверь.

— Тебе чего, Метелкин? — хмуро встретил его Косарь и не договорил: — Я же вам все сполна...

— Не-ет, не сполна, Федор. Не сполна, — загорячился тот. — Давай-ка посчитаемся!

Похоже, он успел уже хватить где-то для храбрости, но держался не так развязно, как первый раз. Волощук не без любопытства прислушивался к разговору.

— Нечего нам считаться, — Косарь, похоже, опа-

сался подробностей и по обыкновению не собирался пересчитывать сосчитанное. — Иди... откуда пришел!

— Не-ет, никуда я не пойду, — сварливо наседали Метелкин. — Работали по-честному, а рассчитались не по справедливости! Ты сколько себе взял? Триста. А мне и Епихе Сергованцеву по сотне отвалил? Он еще придет, свое спросит...

Бросив чистить картошку, Косарь стал оправдываться:

— Я же вам, лопухам, за артельного был? Был! Мне и положено больше. А Сергованцеву скажи, чтоб не ходил — вы свое получили.

— Епиха говорит: нам еще по полста. А остальное пускай уж тебе за артельство.

Но с Косаря не так-то просто было получить что-либо. Он и сам умел канючить не хуже.

Наконец Волощук догадался, в чем дело, и, отодвинув тетрадку, угрожающе спросил:

— За что это они с тебя требуют, Федор?

— Да так, — отговорился тот. — По старой пьянке...

Но Метелкин не дал ему сочинять.

— Не озилай! Не по пьянке, а по халтурке. Поставили мы избу хапуге одному, — объяснил он Волощуку. — За пять тысяч. Ну, за пятьсот — по-теперешнему. Так себе Федька три косых отхватил, а нам с Епихой — по одной.

— Это правда? — устрашающе поднимаясь, спросил Волощук. — Ты в артельщиках, а они у тебя за подручных?

Косарь не придумал ничего другого, как ошеститься ответно. Глаза его заметались.

— Ну и что? Кому какое дело?

— А в нарядке ты кого обманывал?

— «Кого, кого»? Что ж я, по-твоему, должен был на коленки стать: «Простите, мол, люди добрые, ударнички коммунистические! Больше не буду...»

— Хмырь ты ёрный! — боясь самого себя, выругался Волощук и, не сдержавшись, дал Косарю в половину силы. Крутнувшись волчком, тот вскочил с койки, готовый сцепиться, но Волощук не позволил ему опомниться и снова сунул, стараясь только не перобавить.

— Очухайся! Ну?

Косарь сразу пришел в себя, размазал выступившую из носа кровь и бросился к двери.

— Куда? На, вытрись, — загородил выход Волощук. — И отдай ребятам, что причитается, — приказал он. — Сейчас же и поровну, до копейки!

Не то всхлипывая, не то оскорбленно вздыхая, Косарь стал утираться. Крови было немного, но под левым глазом вскочила порядочная кукса. Сняв со стены ручное зеркало, которым пользовались во время бритья, он стал сердито мять ее пальцами и не торопился отдавать деньги.

— Ловко ты его! — опомнился, восхищенно одобрил Метелкин. — Сразу в христианску веру...

— А ты не зуди, — пригрозил Волощук и, опасаясь, что кто-нибудь войдет, догадается о происхо-



дящем, напомнил Косарю: — Ну, ты! Поторапливайся...

Тот нехотя полез под койку, открыл сундук. Достав деньги, с трудом отсчитал сто тридцать рублей.

— Нате, подавитесь!

— Еще трёшку, — обрадованно потребовал Метелкин, не очень, видимо, веривший, что так получится. — Считать разучился?

Забрав деньги, он принялся благодарить Волощука. Должно быть, считал, что нужно обязательно сделать это, и, как по-настоящему культурный человек, даже снял кепку.

— Спасибочко за содействие! До свиданья, Федя! Так-то оно правильнее...

— Иди, иди, — едва владея собой, огрызнулся Косарь. — Да гляди: Епихе Сергованцеву долю отдай!

— Отдам, не сомневайся, — оскорбившись, заверил Метелкин. — Совесть-то у меня не твоя, мамина!

И ушел, уважительно притворив за собой дверь, а они, избегая глядеть друг на друга, как ни в чем не бывало вернулись к своим делам.

— Ох, придется повозиться с тобой, — вздохнув, сказал Волощук. — Пока человеком станешь!

И не без облегчения подумал:

«Хорошо хоть, что Тимофея нет».

16

— Нет уж! Хотя отставание и можно объяснить аварией, сводка в совнархозе. — Раздосадованно взглянув на Дергасова, Костяника пожевал губами. — Дело не поправишь, а себе напортишь хуже некуда.

Дергасов сокрушенно вздохнул.

— Обидно: два процента каких-нибудь недовыполнили.

Костяника достал немецкие сигареты, протянул ему.

— Угощайся!

— Эрзац? — преувеличенно опасливо осведомился тот. — Я уж лучше свои.

— Да ты сначала попробуй. Из лучших сухумских табаков!

Дергасов недоверчиво закурил. Брови его поднялись, изобразили неподдельное восхищение.

— Да-а! Откуда они там, когда у нас не густо?

— У них там многое, — вместе с дымом шумно выдохнул Костяника. — Иначе, брат, нельзя: аванпост социализма на Западе...

Дергасова не занимали такие высокие материи. Смакуя сигарету, он думал о своем.

— План мы наверстаем! А вот премии нам с тобой не видать. Никольчик корчит из себя борца за правду и справедливость, подводит всех под обух! Поговори ты с ним, Михалыч, — попросил он. — Еще не поздно.

Они работали вместе не первый год. Дергасов знал: Костянику заботит не столько судьба Никольчика, сколько своя собственная судьба.

— Ладно, поговорю.

Где-то разорвалась граната грома, осколки забарабанили по крыше. Хлынул дождь — обломный, кипяченный на зное, секший по стеклам длинными прямыми прутьями.

— Да-а, надо как-то выпутываться, — Костяника тяжело поднялся, достал из плаща газету. — Хорошо хоть, что в печати нас с тобой похвалили. Читал?

— От статей дети не родятся, — Дергасов думал, что Костяника имеет в виду какую-нибудь заметку, но тот распахнул, показал ему целый подвал. «Тоннель к углю» — возвещал заголовок, а чуть ниже виднелась фамилия Рослицкого, набранная довольно крупно и подчеркнутая жирной линейкой. — Нет еще... не видал.

— А я в Вязьме на вокзале купил. Прочел, обрадовался: «Ну, — думаю, — и про нас в центральной печати писать стали!»

Дергасов пробежал глазами напечатанное. О нем самом упоминалось в разных местах два или три раза; на первом плане был коллектив шахты, пестрели фамилии проходчиков, водителя щита Хижняка, бригадира Хлудова, Салочкина и кое-кого еще. Общий тон был одобрительно-приподнятый, выставлявший всё и всех в самом лучшем свете. Об аварии даже не упоминалось.

— Приезжал тут представитель «Гипроугля», — лениво пояснил он. — Лазал со мной в шахту, к щиту. Я и не думал, что так получится.

— А говоришь: от статей дети не родятся! Не будь этой статьи, не знаю, что б мы с тобой сейчас делали!

— Это, пожалуй, верно...

— А что в прокуратуре?

— Да закрутили следствие, — Дергасов старался изо всех сил не показать, что встревожен этим, и как о чем-то само собой разумеющемся сообщил: — Оказывается, Никольчик приказал Журову ремонтировать электровоз, пьяному! А это черт те чем пахнет!

— Еще бы, — помрачнел Костяника. — Неужели он не понимает?

— Мы с Быструком ему битый час втолковывали. Он вроде понял, а потом задурил...

— Надо поговорить с ним, — Костяника снял трубку телефона, попросил горный отдел. — Петр Григорьевич, зайдите-ка ко мне!

Никольчик явился немедленно. Судя по внешнему виду, он немного пришел в себя, успокоился.

Костяника, недолго думая, спросил напрямик:

— Что у вас тут произошло?

— Не понимаю, Степан Михайлович, — с кем?

— С моим заместителем!

Никольчик замялся:

— Ничего. Я бы не хотел об этом...

— Ну-ну!

— Леонид Васильич заставляет меня чернить память ни в чем не повинного человека. А я не могу и не хочу.

— Почему вы думаете, что он чернит эту память?

— Потому, что правда только одна.

— Петр Григорьевич, не противопоставляйте себя коллективу. Скорее то, что утверждают все, — правда.

Со стороны могло показаться: Костяника просто не понимает, в чем дело. Когда он заговаривал о таких материях, получалось особенно внушительно. Оба они работали в шахтоуправлении с самых первых дней, и, если на то, коллективом Никольчик дорожил не меньше, чем Костяника.

— Да, это приходило в голову и мне, — признался он. — Вначале я тоже так думал, а теперь...

— А теперь? — подхватил Костяника и даже изменился в лице. — Что же произошло? С вами, с вами, а не с кем-то другим?

Никольчик не сразу отозвался:

— Простить себе не могу, что хоть ненадолго согласился оклеветать ни в чем не повинного человека!

Дергасов предпочитал держаться как бы в сторонке. Делал вид, что занят газетой.

— Что же вас заставило? — допытывался Костяника. — Ведь чего доброго, вы и дальше так же станете.

— Вот именно, — не сдержался Дергасов и с шумом сложил газету. — Вчера — одно, сегодня — другое.

Никольчик полоснул его откровенно не принимающим взглядом и, словно вспомнив, что нужно договаривать все до конца, горько усмехнулся.

— Не что заставило, а кто. И я скажу: вы, Леонид Васильич! — с прежней запальчивостью проговорил он. — Я не могу и не хочу утверждать, что Журов был пьян, клеветать на него... на мертвого!

— Ну, ему от этого ни холодно, ни жарко, — спокойно бросил Дергасов. — А коллективу совсем не безразлично — доброе у нас имя или нет.

Костяника с явным недоумением попытался примирить их.

— Надо же смотреть на вещи здраво. А у меня, простите, Петр Григорьевич, такое впечатление, что у вас — того, — покрутил он пальцем возле виска и даже пошутил: — Как это, по-вашему, по-маркшейдерски? Ага: вкрест простиранию!

Как ни был сбит с толку Никольчик, он почувствовал, что Костяника скорее отстаивает заведенный порядок, чем пытается понять случившееся. Он попробовал убедить его, что виноват во всем сам и-сам будет отвечать, но тот и слушать не стал.

— Вы-то, безусловно, ответите. И в том, и в другом случае. Но к чему гадить нам, руководству?

«Вот правдолюбец, я и не знал! Ничего не понимает, — едва подавляя закипавшее раздражение, думал Костяника. — Ну, как ему вдолбить, что дело обстоит только так: или виноват Журов, или мы все. Журов погиб и — как бы ни было — погубил еще троих. Так неужели не понятно?»

Никольчик по-прежнему стоял перед ним, меняясь в лице и прижимая к груди папку, с которой обычно являлся к начальнику шахты или главному инженеру. Костяника забыл даже сказать, чтобы он сел, как всегда, когда вызывал подчиненных, а сам Никольчик так и не догадался.

— Подумайте хорошенько, Петр Григорьевич, — помолчав для внушительности, сказал он. — Дергасов ведь дал вам рекомендацию, вы в партию вступаете. Наконец, у вас семья.

— Жена меня понимает, — трудно вздохнул Никольчик. — А что касается партии, то я не могу вступать в нее с нечистой совестью.

— Нет, видно, с вами не договоришься! Что ж, по-вашему, у всех нас совесть нечистая? Так, что ли? На мертвого вы клеветать не хотите, а на живых — сколько угодно.

— Ну, к чему это? — краснея, попытался возразить Никольчик. — Я и не думал так. Просто мне совесть не позволяет иначе...

Дергасов бросил снова:

— А мне совесть не позволяет теперь давать вам рекомендацию в партию. И предупреждаю: при разборе вашего заявления я буду против приема.

Никольчик болезненно поморщился. Что-то внезапно прострелило сердце, перехватило дыхание, отозвалось под лопаткой.

— Дело ваше. Теперь я сам отказался бы от нее.

Папка выехала из-под мышки, упала. Он суетливо нагнулся, собрал разлетевшиеся бумаги и, болезненно пошатываясь, вышел.

Костяника отдышался, неторопливо прикинул что-то.

— Придется говорить с Мамаевым. Кто в прокуратуре ведет расследование?

— Кажется, Павлюченков.

Набрав номер, Костяника как ни в чем не бывало зачастил:

— Здорово, Лукич! Узнаешь рыболова? Привез, привез и тебе дам. Ну, как окуньки? И много? Давай, если так, в субботу на ночь, — лицо его приняло мечтательное выражение, глаза глядели куда-то вдаль. — Как в Германии? Ничего, живут! Неплохо, говорю, живут: социализм строят...

Дергасов не любил слишком долгих подходов к делу. Он бы уж давно перешел к самому главному, а Костяника тянул и тянул — о разных разносях.

Наконец, словно вспомнив, зачем позвонил, тот как бы между прочим спросил:

— Лукич, кто у тебя нашим делом занимается? Павлюченков? Главный виновник ведь наказал себя сам. Ну конечно! Я тебя прошу: проследи лично...

По тому, как урчало в трубке — то деловито-сдержанно, то шутливо-раскатисто, — Дергасов без слов понимал, что городской прокурор сделает все, о чем просит Костяника, и что они непременно поедут на рыбалку — пить водку, рассказывать анекдоты и не спать всю ночь. Он позавидовал тому, что лишен этого увлечения и, как человек практический, предпочитает ловить рыбу совсем в другой воде.

— Собачья должность! — окончив разговор, не-

ожиданно пожаловался Костяника. Одутловатое его лицо покраснело, угольные брови сердито встопорщились. — Наворочали, а я выкручивайся!

— Ну, что считаться? — повеселев, возразил Дергасов. — Дело-то общее.

— Я не считаюсь, — Костяника брякнул ладонью по столу. — А надоело! План не добрали! Каких-нибудь два процента, а разговоров теперь не оберешься. И премии не видать...

Но на Дергасова это не произвело никакого впечатления.

— Чего ты шумишь? Компрессоры у нас никуда. Простои замучили.

Перебирать можно было многое. Все оказывалось взаимосвязано и все важно.

— Да, знаешь что, — усмехнулся он, словно обещая нечто забавное. — Журов узнал, что жена его путается с кем-то из проходчиков, и запил.

Ничего не понимая, Костяника уставился на него.

— Какой Журов?

— Электромеханик. Погибший.

— Ну и что?

— При случае подкинь это своему прокурору. А он уж приобщит к делу.

Телефонный звонок заставил Костянику снова подняться, взять трубку. Разговаривая, ходить возле стола, насколько отпускал скрутившийся шнур, вошло у него в привычку.

Звонил Суродеев. Не понимая, чего он хочет, Костяника односложно ронял:

— Хорошо. Ну, что ты? Все-таки интересно было увидеть снова. Следов войны почти не осталось. А все остальное — заводы, шахты, колхозы — по телефону не расскажешь, Иван Сергееч.

Суродеев поймал его на слове.

— Вот потому я и звоню. Соберем кое-кого в гор-
коме, расскажешь подробнее.

— Ну, какой из меня рассказчик? — озадаченно
остановился Костяника. — Я без бумажки двух слов
не свяжу.

Тот рассмеялся.

— Ничего, ничего! Попробуй...

Задумчиво положив трубку, Костяника сел.

— Суродеев, — пояснил он Дергасову. — Хочет
послушать впечатления о поездке.

— А что ж, — тот будто почерпнул в этом об-
стоятельстве новые силы. — Расскажи. При другом
обороте горкому было бы не до твоих впечатлений.

Сам бы Костяника не сразу додумался до этого.

— Ну ладно. Ты мне что хочешь — вырви из ка-
питалки компрессоры!

— Вырву, — пообещал, поднимаясь, Дергасов. —
Поеду на завод и без них не вернусь. А механик наш
ни черта не стоит!

17

Ни черта не стоили и обещания Дергасова. Кто-
то, а Костяника хорошо знал это.

В субботу, воспользовавшись коротким рабочим
днем, он собрался на рыбалку. «Москвич» его выгля-
дел еще довольно прилично и был выкрашен даже
в две краски: крыша — под слоновую кость, кузов —
под цвет морской волны.

Сложив в багажник спиннинг, жерлицы и сачок,
Костяника взял приготовленную женой еду, чугунок
для ухи и привезенную из Германии бутылку

«доппель-кюммеля». За Мамаевым он должен был заехать по пути.

Ежедневные заботы и тревожения не мешали ему увлекаться рыбной ловлей и райским времяпрепровождением на берегу Днепра. Дешевле, наверно, было приобрести его добычу в магазине или на рынке, но разве она могла идти в какое-нибудь сравнение с той ухой, что варилась там.

Подъехав к дому, в котором жил прокурор, Костяника дал условленный гудок и, выйдя из машины, носком сапога попробовал скаты. Давление было нормальное, бензину — половина бака. Заранее предвкушая, как они остановятся возле Царь-омута, он с удовольствием закурил.

Мамаев не заставил себя ждать. В противоположность Костянике он был худой, желчный, знающий силу прокурорской своей власти. Жажда деятельности в должностной сфере обуревала его.

— Рано ты сегодня, — отрывисто проговорил он. — Еще рыба на кормежку не вышла.

— Садись, садись. Пока доедем да пока расположимся...

— А палатку захватил?

— Избаловался ты, Лукич! В шалаше рая не признаешь?

Сунув на заднее сиденье удочки, Мамаев втиснулся в машину, подобрав ноги. Острые, худые колени мотались из стороны в сторону на каждой выбоине.

— Еле вырвался, — пожаловался он. — Перед самым обедом позвонил областной, хотел упечь в какую-то комиссию. С выездом.

— У нас тоже этого хватает, — посочувствовал Костяника. — Но у меня, что бы ни было, — день седьмой господу богу!

Выбравшись на магистраль, машина пошла быстрее. Кузов кряхтел, вздрагивал. Костяника любил езду с ветерком и гнал, не обращая внимания ни на что.

Не доезжая до Днепра, он свернул с магистрали вправо и заросшим проселком спустился по течению реки километров семь-восемь. Там, на обрывистом днепровском берегу, росли старые, кряжистые дубы, а чуть ниже виднелся Царь-омут, возле которого они обычно располагались.

Луга уже были скошены. Привядшая трава курилась таким сладковато-горькавым и головокружительным ароматом, что, вдохнув его, Костяника почувствовал себя счастливым, а Мамаев — помолодевшим на десять лет.

— И что такое? — заговорил он, поглубже вбирая воздух и снимая тесную форменную фуражку, оставившую на лбу красновато-белый обруч. — Дышал бы вот так — век износу не было бы!

— Великое дело! — подтвердил Костяника. — Вот мы трубим, трубим: то-то, мол, и то-то, а главное в жизни, если хочешь знать, мать-природа.

Мамаев насмешливо фыркнул.

— Философия у тебя какая-то щучья! Ешь, хватай, да лежи, забившись в омут.

— А ты уж тут как тут? Со статьей? Нашел подходящую?

— Нашел, — не без желчи хихикнул тот. — Восемьсот сорокнадцатая: хищничество в пресных водах. Карается варкой в котелке с перцем и лавровым листом!

Царь-омут, как прозвали его рыбаки, медленно крутил уходившие в воду буравчики и казался бездонным. Иногда из непроглядной его пучины всплы-

вала какая-нибудь коряга, будто вытолкнутая невидимой силой, но чаще течение со стремительной неотвратимостью тянуло вниз; даже самые бесстрашные пловцы избегали купаться в этом месте.

Костяника отвязал стоявшую в кустах душегубку, перебрался на противоположный берег. Рыба, даже хищная, не любила шума и толчеи. Поэтому, приезжая, они обычно расходились в разные стороны, старались не мешать друг другу.

У каждого были свои облюбленные места. Мамаев уходил вверх. Он не любил хвастаться, но всякий раз приносил оттуда окуней и щурят, а иногда и порядочных шересперов. За поворотом, на широкой луговой пойме, оставались с весны тихие старицы, в которых он и промыслял, отговариваясь, что, кроме лягушатины, там ничего нет, и предоставляя Костянике думать, будто добывает свою рыбу в реке.

В противоположность ему Костяника любил ловить в самых глубоких и беспокойных местах, где можно было потерять блесну, стоило лишь зазеваться, опустить ее до дна. Насадив наживку, он забросил дорожку, привязал ее к корневищу, торчавшему у воды, и пошел со спиннингом по берегу.

Трещала, разматываясь, катушка, всплескивала блесна, чертила воду леска. Солнце заливало все вокруг красным теплым светом. Стрекозы, как вертолеты, недвижно стояли над самой быстринной. Дрожащие лопасти их крыльев просвечивали. Бесчисленные мошки толклись в воздухе, как всегда занятые нехитрым своим делом, и предвещали хорошую погоду на завтра.

Отрешившись от всего, что заполняло день, Костяника брел по берегу, размахиваясь и забрасывая

спиннинг. Блесна стремительной рыбкой играла в воде, легко скользя против течения.

Вспоминая о разговоре с Никольчиком, он недовольно кривил губы. Трудно было придумать что-нибудь глупее, а тем не менее — ничего не поделаешь.

«Сам под суд пойдет и всех утопит, — думалось ему. — Правдолюбец, честный! Меня-то не было, я отделаюсь легким испугом, а Дергасов пострадает. Нет, надо поговорить с Мамаевым, чтобы спустил чуть на тормозах. Неладно, да что поделаешь: Быструк свое сделал, теперь пускай прокуратура».

Мелкая рыбешка всплескивала на поверхности, охотясь то за мошкой, то за каким-нибудь жучком-водомером, перебегавшим по заводи. Листья, соломинки, сор, медленно кружась, плыли по течению; иногда виднелась ослабевшая муха или мертвая бабочка.

Занятый спиннингом, Костяника уходил всё дальше-дальше — в куртке, в болотных сапогах, перевернув козырьком назад кепку и щуря от солнца ничем не защищенные глаза. В душе у него кипело.

«Вначале я не верил, — точно убеждал он себя в чем-то. — Боялся: Дергасов наговаривает на Никольчика, а теперь вижу — не-ет! Черт те что заварилось...»

Взойдя на мысок, он забросил спиннинг подальше, на самую середину Днепра, и, взявшись за катушку, тотчас же почувствовал дрогнувшую от напряжения леску. Она вспорола гладь, подалась в сторону, потом — назад и вдруг, стремительно разматываясь, стрельнула в глубину. Привычно придерживая катушку большим пальцем, Костяника позволил добыче уйти на довольно большое расстояние, а затем стал осторожно сматывать леску, всё время ощущая,

что рыба очень сильна и может сорваться, если не выводить ее до изнеможения.

По повадке он уже знал, что это — щука, а вот какая — можно будет определить, только подведя ее поближе к берегу. Забыв о Дергасове, о Никольчике, обо всех неприятностях в шахте, он весь напрягся, то отпуская леску, когда щука рвалась в глубину, то снова подтаскивая ее, едва она позволяла вертеть катушку.

— Это тебе не щуренок из старицы, — шептал он, представляя, как принесет, покажет удивленному до крайности Мамаеву свою добычу. — Видал миндал, ваше высокообвинительство? Что, завидки берут?

Леска брунжала, как струна. Казалось, еще немного — над водой послышится ясный альтовый звук.

Щука снова заметалась, разматывая до предела всю катушку. Нечего было и думать, что можно удержать ее, если не дать хоть немного воли, и, внутренне холодея, Костяника отпустил палец снова.

«Сколько ж может продолжаться эта игра? Час, два, а то и все три?..»

Наконец щука поняла, что попалась всерьез, и даже позволила подвести себя на мелководье. Разглядев остерорылую ее морду и свирепо насторожившиеся глаза, Костяника не обрадовался.

«Матерая щучища! — не без опаски определил он. — Никакого вкуса, кроме разве трофейного...»

Впервые пожалев, что нет никого, кто мог бы помочь справиться с ней, Костяника попробовал подвести щуку еще ближе. Словно не подозревая опасности, она пошла и вдруг, инстинктивно сжавшись как огромная пружина, метнулась вверх, оборвала дзинькнувшую струной леску и плюхнулась в воду. Широченные круги пошли по омуту; буравчики сби-

лись, перестали крутиться и тотчас же стали возникать снова — быстрые и, как всегда, втягивающие в себя что ни попадалось.

— Ох, ты... мерзавка! — выругался Костяника и, пожалев о потерянной блесне, не без облегчения добавил: — Гуляй, пока не издохнешь! Да больше не хватай...

Пора было возвращаться. Проверив дорожку, он снял трех попавшихся голавлей и переправился к машине.

Поблизости из бугра бил родничок. Набрав воды, Костяника поставил котелок на огонь и принялся чистить рыбу, всё еще восхищаясь тем, как провела его щука.

Вскоре подошел Мамаев. В руке у него был кулан, а на нем — с десятков ершей и окуньков, еще не примирившихся со своей участью и грозно щетинившихся игольчатыми плавниками.

— С полем! — возбужденно заговорил он. — Гляди, какие ершишки попались! А у тебя что?

— У меня щука сорвалась — во-о! — всё еще переживая неудачу, показал, разведя руки, Костяника. — Царица!

— Ну, мне однажды кит попался, — Мамаев не без удовлетворения присел возле костра. — Сорвалась — значит, не была!

— Как же не была, если была? — загорячился Костяника. — Только подвел к берегу, она ка-ак бултыхнется — чуть самого в омут не стащила...

— А что? И могла, — охотно согласился тот. — Будь бы ты мужик не на семь пудов.

Сняв ершей, Мамаев умело очистил их, даже не исколов пальцы, и бросил в котелок. Закипавшая вода на мгновение успокоилась, потом забурлила снова.

— Что там у тебя еще? Может, окуней подбросим?

— Головли. Окуней давай лучше домой.

— А перчику с лавровым листом положил?

— Рано еще. Когда доходить начнет...

Дурманный запах молодого сенца кружил головы, клонил ко сну. А может, это сказывалась усталость минувшей недели. С удовольствием зевнув, Мамаев поднялся.

— Пойду сена в палатку принесу. А то впотьмах по кустам натолчешься...

— А я еще валежничку, — сказал Костяника. — Вокруг-то весь подобрали.

Когда они вернулись, от котелка несло таким невыразимо-волшебным ароматом, что оба, как по команде, глубоко вдохнули его и засмеялись.

— Доспевает...

— Давай-ка лаврового листику! Да перцу, перцу!

Ужинали в темноте. Костер отбрасывал на лица, на воду замиравшие отблески. Уснувшие дубы едва шевелили листвой. Летучие мыши, как духи, носились над Днепром; в Царь-омуте что-то вздыхало, побулькивало — то ли подмываемый берег осыпался в воду, то ли течение крутило бесчисленные буравчики и по-прежнему втягивало все, что попадалось.

— Ну, а водочки? — устраиваясь поудобней, плотоядно вспомнил Мамаев.

— Давай по одной. Под уху.

— Что там у тебя? «Московская»?

— Подымай выше, — похвастался Костяника. — «Доппель-кюммель»!

Он принес из машины, откупорил бутылку.

— Видал какая? Из Германской Демократической. На дорогу подарили.

Мамаев выпил, поморщился, пожевал запекшимися губами.

— Так себе. Тмином разит...

Уха была в меру навариста и нестерпимо горяча. Ели прямо из котелка, обжигаясь, дуя на ложки.

Костяника хотел заговорить о следствии, но все не мог выбрать подходящую минуту. Наконец Мамаев вспомнил об этом сам и, откладывая ложку, сказал:

— Материалы по вашей аварии в порядке. Все, кого опросила комиссия, показывают, что Журов ремонтировал электровоз в нетрезвом состоянии. Один только маркшейдер Никольчик утверждает обратное...

— Я разговаривал с ним, — признался Костяника. — Бросается в глаза: сначала показывал одно, потом — другое.

— Да. И мотивация какая-то не конкретно-фактическая, а чисто моральная.

— Давай еще по одной. Что-то он, этот «доппелькюммель», действительно...

— Выпьем, чтобы крепче спалось на свежем сенце. А зорькой еще пройдемся.

Костяника плеснул по кружкам, прикинул оставшееся и, встряхнув его, разлил до конца: себе — чуть поменьше, Мамаеву — побольше. Опустевшую бутылку, размахнувшись, швырнул в Царь-омут. Плеснув, как рыба, та ушла в глубину, вынырнула и, погрузившись на три четверти, так что только горлышко выставало из воды, поплыла по течению.

— Не все равно, трезвый Журов или пьяный? — осторожно сказал он. — Из-за одного долдона на всей шахте пятно! К тому же, говорят, жена его спуталась с кем-то из проходчиков, а он узнал — запил...

Но на Мамаева это не произвело впечатления.

— Разберемся, — хмуро пообещал он. И, подняв с чувством собственного достоинства кружку, спросил: — Ну? За что же мы?

— За органы надзора! — торопливо подсказал Костяника. — До дна.

Мамаев вздохнул.

— Давай, — и, словно вспомнив о чем-то затаенном, признался: — Когда-то у них была сила!

18

Когда-то у органов надзора была сила. Следователь Павлюченков работал в прокуратуре второй год и не застал прежнего. Он был влюблен в свое дело и нередко думал, что вряд ли мог быть кем-нибудь еще, работать с таким увлечением.

«Когда-нибудь, — думалось ему, — не будет, конечно, ни прокурорских работников, ни судей. — И сразу же поправлял себя: — Ну, не так скоро, впрочем, — при коммунизме. При коммунизме отпадет необходимость и в органах надзора. Высокоразвитое общество станет обходиться без них. А пока... пока правильно говорил Маяковский про ассенизаторов и водовозов. Необходима еще и такая работёшка!»

А по правде говоря, Павлюченков гордился, что работает в прокуратуре, хотя и был совершенно лишен того, что составляло сущность его начальника, городского прокурора Мамаева. Тот привык считать прокурорскую работу присущей ему только в силу каких-то особых личных качеств, которых не было ни у кого другого.

Изучая материалы аварии в Соловьишке, Павлюченков обратил внимание на явную тенденциозность выводов комиссии горного надзора, возлагавшей всю вину на погибшего электромеханика Журова и явно умалявшей ответственность руководства. Решив отправиться на место и поближе познакомиться не только со всеми обстоятельствами, но и с теми, кто был рядом с погибшими в то воскресенье, он сказал об этом Мамаеву.

— Ну-ну? — не дослушав его, желчно поморщился тот. — Зачем тебе это нужно?

Пропустив мимо ушей оттенок снисходительности старшего, опытного, к младшему и неопытному, Павлюченков горячо сказал:

— Пройду по всей цепи доказательств! Раз уж одно звено непрочное, возможно, и другие такие же. А тогда...

— Что тогда?

Не понимая вопроса, тот немного книжно, как учили в институте, пояснил:

— Дойдем, если удастся, до истинных виновников. Как нас учили, Арсений Лукич.

— А тебя не учили тому, что вряд ли целесообразно тратить на это столько государственного времени? — напомнил Мамаев. — Сколько оно у нас отняло?

— Да всего третья неделя пошла, Арсений Лукич, — стал оправдываться Павлюченков. — И то я параллельно с ним растратчиками в горторге занимаюсь.

— Вот и плохо, что расхищение социалистической собственности у тебя параллельно расследуется! Займись им в первую очередь, а аварию эту — шут с ней! — пора отставить. Да и привлечь некого. Главный виновник ответил за все.

— Не торопите меня еще хотя бы немного. Обещаю вам...

— Нет-нет, — перебил Мамаев. — Прекращай дело, и в архив. Полугодие кончилось, а у нас еще таких незаконченных и переходящих — пруд пруди.

Комиссия в акте больше всего напирала на Журова, выставляя его не только главным, но и почти единственным виновником аварии. Непосредственно виновата еще была и рукоятчица, не навесившая двери в клетки, да, пожалуй, маркшейдер Никольчик, дежуривший по шахте и не проследивший, где ремонтируется поднятый на-гора электровоз. Быструк несомненно хорошо разбирался в правилах безопасности, перечисляя параграф за параграфом, нарушенные Журовым и рукоятчицей. Чем больше вчитывался в акт Павлюченков, тем явственней видел, что состояние техники безопасности в шахте замалчивалось неспроста.

«А ведь дело-то в этом, — убеждался он. — Главным образом — в этом. И удивительно, что Быструк ни словом не обмолвился о том, как обстоит с техникой безопасности в шахте. А прокурор — только присутствовал во время аварии и ни в чем не разобрался...»

Рискуя навлечь гнев начальства, Павлюченков все-таки выбрал время и отправился на Соловьянку. Ни Костяники, ни Дергасова не оказалось. Чистоедов тоже не смог сопровождать его в шахту и поручил это Воротынцеву.

Дежуривший внизу стволовой Бацук привычно отправлял и принимал ходившие клетки и едва успевал рассказывать:

— Ту сменку я как раз толечко заступил. Спустили людей, подняли на-гора породу. Потом снова сигнал:

спускаются запоздавшие. Вдруг ка-ак мотнет: канаты аж забрунжали. И крик — страшный такой, волосья дыбом. А сверху прямо в зумпф, вот сюда, — плюх-плюх-плюх. Трое. За ними — банки. Аккумуляторные. А в другое отделение — «карлик». Немного погодя — еще один, четвертый...

Невольно вздрагивая не то от сырости, не то еще отчего-то, Павлюченков уточнил:

— А четвертый кричал? Не помнишь?

Немного помедлив, Бацук припомнил:

— Молчал он. Те кричали, один — даже до последнего. А этот молча плюхнулся, как куль.

— А потом что?

— Потом? Погоди, сейчас крепёж приму.

Он встретил спускавшуюся клеть, выгрузил вагонетку с сосновыми стояками и, отправив на-гора породу, снова обернулся.

— Потом они вот тут лежали. Все не очень побитые, только один Журов. Горный надзор все на него свалил: дескать, пьяный!

— Журов упал последним?

— Выходит, что так. Но только он никогда не приходил выпивши на работу.

— А дверь в клетки по чьему распоряжению сняли?

— Это наверху. Рукоятчица должна знать. Но своей властью и она не могла.

Павлюченков, собственно, так и думал.

— А ты мог бы?

— Что я... не в своих шариках?

Воротынцева потребовали на участок. Он ушел, пообещав, что скоро вернется.

Оставшись один, Павлюченков почувствовал себя свободнее.

— Машиниста Янкова как найти? — спросил он у ствольного.

— Сейчас подъедет.

— А проходчиков? Волощука? Косаря?

— Янков покажет.

Груженный породой состав, громыхая и лязгая, въехал на окоlostвольный двор. Пока отцепили вагонетки да пока машинист взял порожняк, прошло, наверно, с четверть часа.

— Янков! — повелительно окликнул его Бацук. — Покажи товарищу следователю, где Волощукова смена работает.

— Пускай за мной поспешает.

Электровоз тронул состав.

— Остерегайся, а то контакт зацепишь, — хлопнув себя по каске для наглядности, предупредил Янков. — Я торопиться не буду... успеешь.

Натужно грохоча, электровоз проходил участок за участком. Изредка оглядываясь, Янков что-то кричал Павлюченкову, кивал то на воду, заливавшую рельсы, то на просевшую кровлю, но тот ничего толком не разбирал.

Наконец показался какой-то штрек, пахнувший, как просека, боровой, смолистой сосной. Остановившись, Янков соскочил, перевел стрелку.

— Теперь недалеко. Сейчас я начну осаживать.

— Не тот ли это «карлик», что во время аварии сорвался? — поинтересовался Павлюченков.

— Не-ет.

Решив заставить его разговориться, он держался, как любопытный, которому в конце концов все равно.

— А авария при тебе произошла?

— Надоело уж язык об зубы бить, — мрачняя,

признался Янков. — Много тут всяких расспрашивало.

— А почему «карлик» не в ремонтном тупике стоял?

Янков презрительно плюнул.

— Сказал бы я тебе, да стукачей не люблю.

Павлюченков почувствовал, что предположения его были сделаны не без достаточных оснований.

— А начальство требовало, чтобы технику безопасности соблюдали?

— Кой черт! — Янков несогласно махнул рукой. — Дергасу хоть в клетки, между небом и землей, ремонтируйся, лишь бы простоев не было. План-то не выполняли, вот он и подгонял, не обращал внимания на опасность-безопасность.

Этого Павлюченков и не подозревал. Прикидываясь по-прежнему посторонним, он равнодушно заметил:

— Теперь уж ничего не поделаешь. Раз все показали, что Журов виноват, — не поправишь!

— Как это все? — взъерошился Янков. — А Никольчик? Он ведь не захотел Журова виноватить.

— Никольчик один. Одному меньше веры, чем всем.

— А ежели... двое?

Павлюченков сделал вид, что забыл о говорившемся. Не нужно было мешать Янкову дойти до всего своим умом.

— Двоим, конечно, веры больше. Да второго-то нет...

— А я? Хошь под присягой: неправду показывают! Журов был как стеклышко! А что он до последнего старался электровоз остановить — никто в толк не взял.

Из штрека донеслось:

— Янко-ов! Давай порожня-ак...

— Ах, чтоб вам! — в сердцах выругался тот и стал осаживать состав.

Не позволяя себе увлекаться, Павлюченков пошел за ним. Предположение его начинало, кажется, оправдываться. Теперь нужно было попытаться установить, по чьему распоряжению сняли двери в клетках? Как ни странно, Быструка это совершенно не заинтересовало, и Павлюченков, похоже, начинал догадываться почему.

Проходчики словно ждали его. Косарь сразу сообразил что к чему и не стал скрывать ничего.

— Какая там дверь, когда ее с кулаков долой!

— Что значит: с кулаков? Сорвало, что ль?

Волощук пояснил:

— Не сорвало, а сняли. Перед отправкой крепежа.

— А потом стали спускать людей?

— Всегда так. Начальству скоро-некогда, а наш брат жистянкой рискует!

— Разве горный надзор не выяснял, кто так распорядился? — спросил Павлюченков. — Ведь расследовали же...

— Не знаю. Меня вызвали, говорят: «Ты как думаешь: Журов пьян был?» Я, говорю, с ним не пил. «Лады, так и запишем: слышал, мол, что пьяный самовольно электровоз ремонтировал. От этого и авария».

— И мне так же записали, — вставил Косарь. — Инспектор Быструк с нашим начальством в дружках.

— А ты откуда знаешь?

Но тот не смутился.

— На плакатах ненаглядной агитации вычитал. Возле шахтоуправления!

Воротынцев догнал Павлюченкова возле щита. Тот разговаривал с Хижняком.

— Значит, щит хорош, да порядок не гожд?

— Это уж как есть,— твердил Хижняк.— Больше загорает, чем работаем!

— Отбойные молотки на собственном давлении,— усмехаясь, пожаловались проходчики.— Намного ли его хватит?

— А вас начальство требует! — обрадовавшись, что разыскал его, Воротынцев пробрался поближе.— И Чистоедову влетело, говорят...

— За что?

— За то, что приказал мне спустить вас в шахту. Они отправились к вспомогательному стволу.

— Ну, как вам наш щит? — спросил по дороге Воротынцев.— Понравился?

— Еще бы! Целый день глядел бы, как тубинги укладывает...

— А вы читали, что о нем в газете расписали?

По долгу службы Павлюченков больше привык задавать вопросы, чем отвечать на них. Взмахнув шахтеркой так, что она описала желтоватый круг, он насторожился.

— А что? Вы считаете — неправильно?

— Разве дело во мне?

Он постарался понять, что имел в виду Воротынцев, и не смог.

— Не понимаю.

— Дело-то в затратах,— неохотно пояснил тот.— Оправдает ли Большой Матвей весь этот метрополитен?

— А разве не подсчитано? Ведь леса, например, расходуется намного меньше. И цемента...

— Что касается цемента — вряд ли. Да и с другими материалами еще не ясно.

— А судя по тому, что писали в газете, всё — наоборот.

Воротынцев пожал плечами.

— Посмотрим! А по-моему...

Упрекнув себя за прекраснодушие, Павлюченков попросил:

— Вы не могли бы сделать необходимые выкладки? Обоснованно?

Но Воротынцев решительно отказался:

— Нет-нет.

Павлюченков не ошибся. Тот казался скорее себе на уме, чем действительно умен.

— Почему?

— Существует еще такой пережиток, как инженерная этика, — и, не договорив, пошел, размахивая надзоркой, к вспомогательному стволу.

«Этика, этика, — раздосадованно повторял, спеша за ним, Павлюченков. — Пережиток не она, а отношение к государственным средствам!»

И Воротынцев, который вначале показался ему симпатичным и дельным горняком, стал едва переносим.

19

Непереносимо показалось и ожидание у Костяники. В кабинете было людно, накурено и, по правде, не до посторонних. Обсуждалась готовность к разработке Большого Матвея. Павлюченков посидел, послушал и хотел было уйти.

Но Костяника остановил его:

— Сейчас мы закончим. Подождите...

— Хорошо, — вздохнув, согласился тот. — Я покурю пока в коридоре.

Минут через десять, отпустив собравшихся, Костяника пригласил:

— Прошу!

В голосе невольно прозвучало желание во что бы то ни стало избежать осложнений. Павлюченков бросил докуренную папиросу и вернулся.

Окна в кабинете были открыты, но кислый запах табачного дыма не выветрился. Костяника сделал вид, будто доволен тем, что видит следователя и что тот побывал в шахте.

— Ну как? Посмотрели нашу Соловьишку? С людьми потолковали?

— Почти со всеми очевидцами аварии.

— И какие выводы сделали?

— Ну, не так скоро, — прикинулся простачком Павлюченков. — Выводы — дело начальства, а мое — восстановить обстановку, предшествовавшую катастрофе.

— Не стоит так громко: катастрофа. Скорее — происшествие, несчастный случай.

Костяника словно пытался разоружить его, заставить глядеть на все, как на простую случайность. Павлюченков не поддался.

— Ничего не поделаешь. Привык называть вещи своими именами.

Разговор что-то не получался. Но не в привычках Костяники было отступать, даже при более серьезных неудачах.

— А что говорят очевидцы?

— Очевидцы подсказывают: комиссия горного

надзора, расследовавшая причины аварии, подошла ко многому по меньшей мере предвзято.

Угольные брови Костяники подскочили вверх, изогнулись.

— Акт комиссии для меня прежде всего, — внушительно сказал он. — И мы обязаны считаться с ним, как с официальным документом.

— До тех пор, как не установим, что он, мягко говоря, фальшивит.

— В чем же он, если на то пошло, фальшивит?

— В том, что представляет виновным не того, кто виноват.

Они отбросили прежние условности и разговаривали теперь начистоту.

— Значит, вы считаете, что электромеханик Журов не виноват?

Павлюченков старался держаться как можно спокойней:

— Дело не в Журове, а в порядках, которые существовали да и существуют до сих пор. Не будь их, не было бы и аварии.

Разведя руками, Костяника даже приподнялся:

— Вот это вы-вод. И Никольчик, по-вашему, тоже не виноват?

— О Никольчике речь особая...

— Ну, если не виноваты Журов и Никольчик, тогда, может, кто-то другой виноват? Может быть, я?

Решив договорить все до конца, Павлюченков не стал скрывать ничего.

— Хотите знать правду? Виноваты в нарушении правил безопасности действительно вы и главный инженер Дергасов. Все остальное — производное от этого.



Озадаченно округлив глаза, Костяника уставился на него.

— Ну, знаете ли, — он хотел добавить что-то еще, но на пороге кабинета появился Дергасов. — Ты только послушай, Леонид Васильич, что нам преподносит товарищ следователь! Виноватит нас с тобой во всех бедах...

Дергасов сделал вид, что ничего другого и не ожидал. Почти не изменившись в лице, он покладливо согласился:

— Руководитель всегда виноват. План добычи не выполнил — виноват, зарплату в срок не выдал — виноват. Вспышка на солнце, град, вихрь, что ни стрясись — виноват!

Павлюченков не удержался от улыбки.

— Ну, во вспышке на солнце вас никто, впрочем, не винит. А что касается техники безопасности, то действительно...

Костяника несговорчиво pokrutil головой.

— Как тебе нравится: Журов, оказывается, не виноват, Никольчик — тоже. А нас с тобой, рабов божьих, на цугундер!

— погоди, Михалыч, — остановил его Дергасов и, обратившись к Павлюченкову, настороженно спросил: — Вы что же, считаете: электровоз забурил в шахту не Журов?

Суше, чем обычно, тот снова подтвердил:

— Нет, не считаю. Электровоз упустил Журов, но виноваты в этом вы.

— Видал? — загорячился Костяника. — Ну и логика!

— Вижу, — сокрушенно отозвался Дергасов. — Вижу и удивляюсь, что...

— Я облазил всю шахту, — перебил его Павлюченков. — И удивлен, как при таком состоянии техники безопасности авария не произошла раньше!

Дергасов попытался возразить. Лучше всего было сослаться на кого-нибудь более авторитетного, и он вспомнил:

— А вот горный надзор считает иначе.

— Горный надзор мог и ошибиться.

— Кажется, Никольчик подкинул-таки вам в прокуратуру свою идейку насчет Журова.

Костяника с жаром поддержал:

— Ну конечно! А сам...

Покраснев, Павлюченков даже не ответил ему.

«Неужели они считают меня простачком в самом деле? — самолюбиво подумалось ему. — Ну-ну! Посмотрим, кто скорей расколется?»

— Никольчик не уходит от ответственности, — холодно заметил он Дергасову. — Тогда, как другие...

— После того, как понял, что спрятаться не удастся и что придется отвечать, — не сдержавшись, резанул тот. — Да-да! Именно после того, как не удалось спрятаться, — и, не меняя тона, обратился к Костянике: — Михалыч, у тебя та самая объяснительная записка, которую он представил после аварии? Покажи ее, пожалуйста.

Костяника достал из сейфа объяснительную за-

писку Никольчика и протянул Дергасову. Развернув, тот передал ее Павлюченкову.

— Вот. Убедитесь сами.

Павлюченков прочел, и из обвинителя чуть не превратился в обвиняемого. Объяснение Никольчика было документом, и, основываясь на нем, Дергасов и Костяника могли наступать.

Почувствовав его замешательство, Костяника миролюбиво проговорил:

— Никольчик не Журов, он — командир производства, полностью отвечающий за безопасность вверенных людей. Ему и предъявят обвинение в забвении техники безопасности. С него и спросят... по всей строгости закона.

— Правильнее будет спрашивать с того, кто замазывает преступление, — взяв себя в руки, несговорчиво возразил Павлюченков. — А о тех, кто помогает разоблачению истинных виновников, разговор особый.

Не обращая внимания на его слова, Дергасов взял записку и, сложив, отдал Костянике.

— Убедились? Заставив заведомо пьяного ремонтировать электровоз, Никольчику ничего не осталось, как утверждать, что тот был трезв. Иначе его вина усугублялась бы еще больше.

— Пришлите нам копию этого объяснения, — попросил Павлюченков и, как бы между прочим, произнес: — Кстати, установлено, что Журов не был пьян и мог бы ответить за свои поступки. Вскрытие обнаружило совершенно незначительные остатки алкоголя примерно двадцатичасовой давности.

Дергасов растерялся. Торжествующая ухмылка сошла с его лица, глаза заметались.

— Но жена утверждает, что он пил накануне аварии.

— Это еще нуждается в проверке, — повеселел Павлюченков. Доводы противников оказались явно несостоятельными. — Я вызову ее завтра к себе и выясню мотивы этого.

Поняв наконец, что ничего доброго не получится, Костяника снова попытался обернуть все по-хорошему. Грузный, расплывшийся от жары, он едва умещался в кресле, вытирал платком лицо и шею.

— Нельзя же так, товарищи дорогие! Вина электромеханика Журова не вызывает сомнений. Что касается техники безопасности, то она, как отмечено в акте горного надзора, за исключением отдельных моментов, у нас на уровне. И я...

— С техникой безопасности в шахте из рук вон плохо, — перебил его Павлюченков. — Если не хуже!

Дергасова взорвало:

— Вы не горняк. Люди более компетентные, специалисты, всё, что считали необходимым, отметили в акте...

Телефонный звонок прервал их спор. Костяника взял трубку.

— Девятка слушает. Да, я, — лицо его не выражало ничего, кроме скуки и равнодушия. — Здесь. Сейчас передам, — и, протягивая через стол трубку, сказал Павлюченкову: — Вас разыскивают...

Звонили из прокуратуры. Мамаеву понадобилось обвинительное заключение по делу о хищениях в горторге. Оказывается, срочно запросили в область.

— Хорошо, — выслушав, сдержанно отозвался Павлюченков. — Сейчас приеду.

Отдуваясь, Костяника почувствовал, что это как нельзя кстати. Затянувшийся спор не сулил ничего

хорошего. Положив трубку, он поднялся и, прощаясь с Павлюченковым, на всякий случай пошутил:

— Где мои двадцать лет? Ох и любил я... вроде вас!

— Мне уже скоро тридцать, — улыбнулся Павлюченков. — А доспорить нам еще придется. В официальном порядке.

И, увидав в окно подошедший автобус, заторопился к остановке.

«Что там стряслось? — недоумевал он, вспомнив о понадобившихся Мамаеву материалах. — Чуть не месяц никому дела не было, а теперь...»

Следствие еще не закончено. Всю последнюю неделю Павлюченков занимался делом о хищениях параллельно с изучением причин аварии и, вопреки прямому указанию начальства, даже отложил его, увлекшись открывшимся в шахте.

Тяжело переваливаясь на выбоинах дороги, автобус тащился в Углеград, а он сидел у раскрытого окна и глядел по сторонам. Пахло молодым медвяным сенцом, набегающей свежестью мимолетного дождичка, от которого дружнее и гуще идут в рост хлеба и шумней говорят деревья.

Ему действительно было уже около тридцати, а горячности — хоть отбавляй. Она нередко создавала ненужные осложнения в работе, а подчас заставляла и ошибаться.

«Опять не удержался! — досадливо корил себя Павлюченков, вспомнив разговор с Костяникой и Дергасовым. — Ну, к чему было говорить им об экспертизе? А еще чуть не брякнул про Янкова. Да они бы его так скрутили, что...»

Но одновременно он был доволен, сойдясь лицом к лицу с противниками. Когда следствие будет

закончено, суд установит, кто из них прав. Виновные ответят за свои проступки, а в шахте наведут порядок, чтобы никогда больше не могло повториться случившееся.

«Валя, наверно, ждет, — вспомнил он, сходя с автобуса в центре города. — Забегу на минутку в прокуратуру, узнаю в чем дело, — и обедать!»

Едва он появился, секретарша упрекнула:

— Ну, что вы так долго? Арсений Лукич недавно опять спрашивал. Идите к нему!

Мамаев разговаривал с кем-то по телефону. Глаза его были полуприкрыты шафранно-сухими, как бабочки-лимонницы, веками. Сердито сунув трубку на рычаг, он кивнул Павлюченкову, чтобы подошел поближе.

— Где это ты разгуливаешь? Срочный запрос, а тебя нет!

— Я же предупреждал, что поеду на Соловьино, — не придавая значения его тону, объяснил Павлюченков. — Только вернулся...

— Что у тебя с хищениями в горторге? — недовольно буркнул Мамаев. — Звонят от областного, спрашивают, а я передоверился на старости.

Павлюченков стал рассказывать:

— Следствие почти закончено. Осталось только назначить экспертизу да решить, как быть со свидетелями обвинения.

Мамаев хлопнул по столу суховатой, жесткой ладонью.

— Так что ж ты не решаешь? Какого лешего тянешь?

— Не одно оно у меня, Арсений Лукич, — попытался напомнить ему Павлюченков. — Всё в свой черед...

Окинув его нескрываемо раздраженным взглядом, Мамаев поднялся. Стоя, он обычно высказывался сугубо официально.

— Какое я указание дал? — под стать остальному, перешел он на «вы». — Дело о хищениях заканчивать в первую очередь. А то, чем занимаетесь, сдать в архив. Да-да, за недоказанностью обвинения!

Павлюченков знал по опыту, что лучше не перебивать его, дать выкипеться. Со стороны могло показаться — он целиком согласен с Мамаевым, но когда тот затих — возразил:

— Я не согласен, Арсений Лукич. О доказанности или недоказанности обвинения будем говорить, когда закончу дело. А пока... ведь срок еще не вышел.

Но Мамаев и слушать ничего не хотел.

— Хорош законник! Воры воруют, а он сроки высчитывает...

— Я коммунист, — неожиданно обиделся Павлюченков. — Свои обязанности знаю. И выполняю.

— Коммунист ты еще молодой, а в органах надзора — без году неделя. И слушай, что говорят старшие.

Понимая, что его не переубедишь, тот решил согласиться хотя бы для вида.

— Дело о хищениях я закончу к концу недели. А об аварии... прошу: выслушайте меня спокойно.

— Спокойно, спокойно, — заметно остывая, повторил Мамаев. — С вами спокойно поработаешь! Заканчивай расследование, чтобы я мог доложить областному. А об аварии и слушать ничего не хочу!

Пересилив себя, Павлюченков стал докладывать:

— В отношении бывшего директора горторга Свиридкина хочу переквалифицировать обвинение вместо статьи сто семьдесят второй на статью семнадца-

тую — восемьдесят девятую, часть вторая. Не в халатности у него суть, а в самом настоящем соучастии с непосредственными преступниками. Материалами следствия это установлено.

Мамаев выслушал его профессионально придирчиво. Наметанным глазом сразу определил верную хватку и сдержанно одобрил ее:

— Добро!

— В отношении завмага Напастникова предлагаю квалифицировать обвинение по статье девяносто второй, часть вторая. Что же касается продавцов Левонюка и Мыльниковой — их действия квалифицируются той же статьей.

— Хорошо. Закругляй немедленно. Буду докладывать областному.

Павлюченков пошел к себе. Очные ставки, назначение экспертизы, вызов свидетелей! — все это хотя и займет несколько дней, но не заслонит открывшегося в шахте.

«Ничего! Мы еще доспорим, — мысленно пообещал он Дергасову. — Посмотрим, кто прав...»

20

Кто прав, кто не прав — Шаронина не занимало. Приехав с Суродеевым на Соловьиный, он даже не вспомнил об этом.

Кабинет начальника шахты оказался закрыт. Но Суродеев услышал, что Костяника там, и дернул дверь:

— Откройте!

Костяника и Гуркин рассматривали показатели бригад, боровшихся за звание коллективов коммунистического труда. Хотя план добычи и не был выполнен, многие не только справились со своими заданиями, но и перекрыли их.

Услышав требование, Гуркин хотел было открыть, но Костяника не позволил:

— Не рыпайся! А то до ночи не кончим...

— И то, — покладливо согласился тот. — Кто там у нас еще?

— Смена Волощука. Пожалуй, можно будет присвоить, — сказал Костяника. — План — сто четыре процента. Рост производительности налицо, снижение себестоимости — один и четыре десятых. Аморальных поступков и нарушений вроде не было.

— Пускай еще поборются, — вспомнив о Косаре, возразил Гуркин. — Другие смены на пятки им наступают...

В дверь снова постучали. Гуркин неохотно поднялся.

— Пойду погляжу: кто там?

Не выпуская ручку, он приоткрыл дверь и, узнав Суродеева, обескураженно попятился:

— Иван Сергеич? Что ж вы сразу не...

— «Не, не!» — Суродеев старался не показать, что сердится. — А вы что тут? Фальшивые деньги лелаете?

— Списки ударников утрясаем...

Шаронин усмехнулся:

— При закрытых дверях?

Он прошел, сел и, посерьезнев, спросил:

— Ну, как дела? Рассказывайте!

Узнав его, Костяника попытался сообразить хоть что-нибудь.

— Давай ты, Роман Дмитрич, — деловито кивнул он Гуркину. — По линии шахткома.

Гуркин собрал разложенные на столе бумажки и, хотя не понимал, что к чему, стал рассказывать:

— Соревнованием за звание коллектива коммунистического труда охвачены все бригады, смены. Почетное звание присвоено...

— Подожди, Гуркин, — остановил его Суродеев. — Что ты, как пономарь... Лучше скажи: как у вас с техникой безопасности?

— Где? — не сразу уразумел тот.

— Не у тебя в шахтومه, конечно. В забоях, в лавах, на подъемке? Какие выводы из аварии сделаны?

Гуркин растерялся.

— Выводы комиссия горного надзора делала. Это ее дело.

Невесело оглядевшись, Шаронин уронил:

— А шахтком в сторонке?

— Почему в сторонке? Мы согласились с ними.

Кажется, Костяника начал догадываться, что привело их.

— Комиссия авторитетная, — поспешил он выручить Гуркина. — У нас не было оснований не доверять ей или сомневаться в чем-либо.

— Суждения о причинах аварии, конечно, разные были, — откровенно признался Гуркин. — Но мы, по правде, опасались в хвосте идти. У шахткома линия определенная...

— Похоже, — хмуро согласился Шаронин. — Не в хвосте у масс, а в хвосте у руководства.

Костяника не вытерпел:

— Товарищ Шаронин, скажите: в чем дело? Мы понимаем: вы к нам не зря...

Суродеев переглянулся с Шарониным, как бы спрашивая — говорить или нет. Тот сделал вид, что не понимает, о чем речь.

— После вашей аварии коллективы многих шахт сделали соответствующие выводы, — заговорил Суродеев. — Объявили смотр техники безопасности, проверяют оборудование, механизмы...

— Мы, конечно, у себя пока никаких смотров не проводили, — облегченно вздохнув, подхватил Костяника. — Случившаяся авария, говоря откровенно, застала нас врасплох.

Шаронин снова усмехнулся:

— Еще бы! Не хватало только, чтобы вы к ней заранее подготовились. Всем треугольником!

Поняв, что выразился неудачно, Костяника, не теряясь, попытался поправиться. Но Шаронин спросил:

— Кто у вас секретарь парткома?

Суродеев поторопился ответить:

— Чернушин. Он на семинаре сейчас...

— Ну-ну, — сказал Шаронин. — На семинаре так на семинаре. Мы и без него, — и, обращаясь ко всем вместе, поинтересовался: — Сколько человек в партию вступило?

Костяника смущенно уточнил:

— За какое время?

— Ну, хотя бы с начала года.

— Почти ни одного.

— Что значит: почти?

— Готовились, но пришлось воздержаться. По независящим причинам.

— Кто же это?

— Сейчас я все объясню, — побагровел Костяника. Но Суродеев перебил его:

— С партийной работой у них последнее время

подослабло. Чернушин — на семинаре, а без него действительно...

— Вижу, — Шаронин трудно вздохнул. — А у горкома своих хлопот полон рот!

И, словно вспомнив о чем-то, спросил:

— Кто в прокуратуре занимается расследованием аварии?

— Кажется, следователь Павлюченков.

— Позвоните-ка ему.

Опередив Суродеева, Костяника бросился набирать номер и, услышав голос Павлюченкова, предупредил, что с ним будет говорить секретарь обкома.

— Здравствуйте, — взяв трубку, поздоровался Шаронин. — Скажите: вы ведете дело по Соловьишке?

Не ожидавший этого вопроса, Павлюченков неохотно подтвердил:

— Я.

— В каком оно состоянии?

— Да денька через три-четыре, наверно, сдадим в архив.

— Почему?

— За недоказанностью обвинения, — в голосе Павлюченкова послышалось нескрываемое. — Есть у нас такая формулировочка...

Шаронин недоумевающе поморщился:

— Постойте. Что-то я ничего не пойму. Четыре человека погибли. А у вас — «недоказанность обвинения».

Похоже, Павлюченкову нечего было сказать в оправдание. Наконец, понизив голос, он признался:

— По этому вопросу я хотел бы не по телефону. Как коммунист...

Поняв, что в прокуратуре, по-видимому, существуют противоположные взгляды на дело об аварии

и что Павлюченкову не так просто рассказывать об этом — по соображениям субординации или почему-либо еще, — Шаронин сказал:

— Хорошо. Я сейчас на Соловьишке, пробуду часов до трех. Приходите в горком около пяти.

— Спасибо! — обрадованно поблагодарил Павлюченков и сразу же подсказал: — Обратите там внимание на маркшейдера Никольчика и машиниста электровоза Янкова. Их показания существенно меняют представление о виновниках аварии.

— Хорошо, — пообещал Шаронин и, передав трубку Костянике, попросил Гуркина: — Позовите сюда машиниста Янкова.

— Янков сегодня во вторую смену, — вспомнил тот. — Наверно, переодевается...

Давно сообразив, что все гораздо хуже, чем показалось вначале, Костяника старался не теряться. Он даже взялся просматривать списки ударников, что-то зачеркивая и вписывая опять, как будто это было сейчас самое главное и не терпело отлагательства.

Шаронин остановился и не смягчил ничего:

— Сейчас мы одни, и я вам скажу. Вы, Костяника, не начальник шахты, а дергасовский подголосок!

— Вот именно, — подхватил Суродеев. — Лучше не скажешь!

Глядя на них холодно-заоловяневшими глазами, Костяника вертел в руках карандаш. Вряд ли он согласился с тем, что услышал, но тотчас же сделал вид, что принимает все, и постарался уверить их:

— Я... я же хотел как лучше.

— Надо было сразу принимать меры, — суровая, сказал Шаронин. — Вы командир, которому партия доверила коллектив шахты, жизнь людей!

— И не обижайся, — сказал Суродеев. — Это правда.

— За правду обижаться — добра не видать, — покаянно поддакнул Костяника. — Спасибо, учту!

Дверь открылась, и на пороге показался Янков. Он был в обычной своей робе, а в руках мял чистые концы.

— Иди, иди, — подбадривал его Гуркин. — Секретарь обкома хочет с тобой поговорить.

— Да разве я против? — бубнил Янков. — А только — смена, некогда.

— Я не задержу, — пообещал Шаронин. — Садись, товарищ Янков! Закуривай...

Держался он запросто, как принято между своими, точно они давно знали друг друга и не обижались на короткость обращения.

Янков взял папиросу, закурил. Похоже было, он по-прежнему считал все ненужным и не скрывал этого.

Суродеев понимающе подмигнул ему.

— А может, начальства стесняешься?

— Чего мне стесняться? — Янков послюнил отклеившуюся бумажку, приладил, чтобы не просыпáлся табак, и хитровато сощурился. — Дальше шахты не пошлют!

— Как у вас сейчас с техникой безопасности? — заговорил Шаронин. — Только честно.

Янков выпустил дым.

— Мы вроде курей у бабки вместе не крали. А с техникой безопасности у нас, как и было, — никуда!

— Что значит: «никуда»?

— Нарушаем... все понемножку.

— И ты тоже?

— А что ж? Оттого и Журов веку не дожил.

Шаронин попытался расспросить его поподробней.

— А мог он спастись, с электровоза соскочить? Как ты считаешь?

Янков неохотно сунул папироску в пепельницу. Концы торчали у него из кармана — разноцветные, путаные — должно быть, из отходов какой-то текстильной фабрики.

— Считаю, что мог, если б захотел. Но он ведь партийный был, об себе не думал.

Шаронин и Суродеев переглянулись, точно не ждали ничего другого. А Янков разошелся, стал рассказывать:

— В то воскресенье он, Журов, шел с жинкой в лагерь близнят проведать, а я — возле «карлика». Дежурный по шахте приказал ему: «Давай ремонтируй! Работать нечем...»

— Почему ж вы электровоз в ремонтный тупик не отогнали? — вмешался Гуркин. — Как по инструкции положено.

— В ремонтном на неисправных вагонетках скаты меняли. Главный инженер еще весной обещал: «Скоро на свалку сплишем!» А с ними и до сё маются.

Костянику что-то задело:

— Ох, Янков, Янков! Бога ты не боишься...

Тот снова нахмурился, понял, что наговорил лишнего. Диковатая его фигура казалась вырубленной из мореного дуба.

— При чем тут бог? Совесть тоже уважить надо!

Отпустив его, Шаронин снова молча заходил по кабинету. Руководители шахты не хотели обременять себя заботой о людях, о том, чтобы им жилось лучше и легче. Это проступало все резче и становилось ясно

для него — руководителя областной партийной организации.

Когда вчера ему позвонили из ЦК и сообщили о жалобе проходчиков Рудольского и Воронка, Шаронин вспомнил об аварии и немедленно выехал в Углеград.

«Как же мы все-таки только издали знали, что делалось здесь, чем живут люди, — коря Суродеева, думал он. — Мы, руководители, не разглядели ничего, а проходчики, выходит, видели...»

Суродеев обеспокоенно поглядывал на него, но Шаронин все так же молча ходил от двери к столу и обратно и, казалось, не обращал внимания ни на кого.

«Были, наверно, безусловно, должны были быть какие-нибудь сигналы об этом. И в шахтOME, и в партийной организации. Но к ним не прислушались: Гуркин — по привычке, а Чернушин — на семинаре».

— Павел Иванович, — решился наконец напомнить Суродеев. — Уже половина первого.

— Ну так что? — Шаронин сердито отмахнулся. — Слыхали, что сказал Янков?

Костяника попытался немного поправить положение:

— Не понимаю, почему вы придаете этому такое значение?

Временами казалось — он начинает понимать случившееся, вот-вот увидит всё в правильном свете. Но это была напрасная надежда: Костяника видел окружающее только так, как привык.

— Найдите маркшейдера Никольчика, — сказал ему Шаронин. — И рукоятчицу Скребницкую.

— Сейчас, — Костяника поднялся, обиженно по-

жевал губами. — А насчет подголоска вы, ей-богу, не правы! Не могу согласиться...

Едва он вышел, появился Никольчик. За две недели, прошедшие после аварии, он издергался до последнего и порой не верил уже, что добьется чего-либо. Случившееся невольно заставило его пересмотреть всю свою жизнь. Он был немолод, жил нелегко и незадолго перед этим подал заявление о приеме в партию. Не оправдывая себя ни в чем, Никольчик само собой не мог теперь даже и думать об этом.

«Не та у тебя, брат, биография, с которой в партию вступают! — говорил он себе. — Будь счастлив, если отделаешься двумя-тремя годами...»

Чем больше он растравлял себя, тем отчетливей сознавал, что партия для него — всё. Ее идеи вели миллионы людей, связавших свою жизнь с великими предначертаниями коммунизма, и, думая об этом, Никольчик не представлял себе существования отдельно от нее.

— Не знаю, прав ли я? — остановившись в дверях, заговорил он, словно напрашиваясь на одобрение. — Но все равно: больше не могу!

Ничего не поняв, Шаронин обернулся.

— О чем вы?

— Журов не виновен! — взволнованно стал уверять Никольчик. — А у нас нашлись люди, которые не постеснялись очернить его память! Их расчет прост: если виноват Журов — значит, не виноваты они, — и видя, что Шаронин все еще не знает, верить или не верить этому, торопливо и сбивчиво стал рассказывать, как Быструк заставлял его переписывать объяснительную записку, убеждая не подводить руко-

водство шахты. — Если б я согласился, всё было бы по-другому. Но я не могу! За случившееся должны отвечать все, а не один Журов...

Наконец-то Шаронин понял, что его беспокоило. Искренность Никольчика невольно подкупала.

— Скажите: вы беспартийный? — неожиданно поинтересовался он. — Почему?

— Не с моей биографией в партию.

— Ну, не надо забегать вперед. Если все так, вам не придется стыдиться своей биографии.

Никольчик не очень поверил этому.

— В парткоме мое заявление о приеме, — вздохнул он. — Но Дергасов взял рекомендацию обратно. После того, как я отказался свалить вину на Журова...

Шаронин обернулся к Суродееву.

— Это верно?

Тот вынужден был неохотно подтвердить:

— Кажется, да.

— Невелика потеря, — помрачнел Шаронин и, провожая Никольчика до двери, постарался обратить все в шутку. — Значит — зуб за зуб? Пускай!

Возле душевой толпились девчонки, слышался смех. Кто-то мурлыкал песенку о первом свидании, о невысказанной любви.

Костяника окликнул причесывавшуюся перед зеркалом Алевтину:

— Зайди-ка ко мне... красавица!

— Красавицы в кино, товарищ начальник, — отозвалась та. — А я — женщина трудовая. Помылась и домой!

— Зайди, зайди, — повторил он, хотя и опасался, что та еще больше усугубит его положение. — Поговорить с тобой хотят.

Алевтина нехотя согласилась:

— Пойдемте. Только не знаю, о чем разговаривать?

За нарочитой этой смиренностью слышалось явное нежелание касаться того, что было пережито и похоронено, и Костяника понял это. Но что бы ни слышалось, а необходимо было проводить ее к Шаронину.

Щурясь от солнца, Алевтина потрянула волосами, чтобы поскорее сохли, открыла дверь и вошла первой.

— Здравствуй, Скребницкая! — встретил ее Суродеев. — Познакомься, это — секретарь обкома партии Павел Иванович Шаронин.

— Здравствуйте, — остановилась у порога она. — Хоть бы голову высушить дали...

— Ну, как живешь? Как дети? — возвращаясь к тому, о чем хотел говорить с ней Шаронин, спросил Суродеев. И, точно поясняя, что имел в виду, добавил: — Дело-то вдовье.

— Вдовье, — охотно вздохнув, повторила Алевтина. — Только успевай сочувствующих отваживать!

— Пенсию на детей получила? — поопасся углубляться он. — Кое-чем мы тебе поможем. По линии профсоюза.

Алевтина снова потрянула волосами. Короткие, золотистые, они будто плавилась на солнце.

— Нет еще. Стращают, тянут... не знай чего.

— А чего они хотят... стращатели? — невольно улыбаясь, поинтересовался Шаронин. — Вы вроде бы не из пугливых.

— Дергасов обещал: получишь мол, что по закону при утрате кормильца положено. А начальник шахты наотрез: «Не буду платить! Спьяну аварию устроил,

троих погубил. Не буду, и всё!» А какое там—спьяну, если я им это и наклепала.

Предчувствие не обмануло Костянику. Знать бы, что так получится, он давно бы согласился на любую пенсию детям Журова.

— Послушай, Скребницкая, — как можно участливее заговорил Суродеев, не обратив внимания на ее слова. — Ответь нам... только откровенно.

— Что еще?

— Как вы с Журовым жили? Плохо?

Алевтина потемнела.

— Сначала вроде хорошо, близнят даже завели. А последнее время, верно: плохо.

— Не любил он тебя, что ли?

— Нет, любил.

— Так почему же плохо? — не понял Шаронин. — Или — что болтают? Да?

Она недоверчиво обернулась к нему. В глазах блеснуло что-то затаенное.

— Верно.

— Почему же вы не положите конец этим слухам?

— Я бы с моим желанием, — откровенно призналась Алевтина. — Да как?

— Ну, если ты любишь и тебя любят, всегда можно сладить, — поддержал Суродеев. — Выходи замуж!

Алевтина только улыбнулась над его подсказкой.

— С близнятами? Какой дурак на мне женится?

— Тогда, знаешь, гони его в шею, умника своего! — сказал он. — А то сама в дураках окажешься.

— Это бы не хитро, — согласилась она и вдруг беспомощно всхлипнула. — Да старая любовь не ржавеет!

Старая любовь не ржавела.

Клекот отбойных молотков отражался от стальной обшивки, взвивался в вихревом коловороте и, не находя выхода, временами достигал неимоверной силы. Затем он вроде бы спадал, становился тише, но проходчики не замечали ничего.

Не то нормировщик, не то очередной приезжий, что по делу и без дела лазали в шахте и обычно не проходили мимо щита, пробрался к Салочкину, знаком попросил отбойный молоток.

«И чего, хрен-тётя, ему тут надо?» — неодобрительно покосился Хижняк.

Выключив воздух, Салочкин кивнул, чтобы пришедший становился на его место, не задерживал других. Как ни работать отбойным молотком, а даже сильный человек не сразу подчинит его своей воле.

Но тот включил его и, закусив губу, почти одновременно вонзил пику в пласт. Оказывается, он знал, что сжатый воздух как бы помогает управлять молотком, делая его легче.

Салочкин поправил съехавшую каску, многозначительно подмигнул Хижняку:

«Видал, дескать? Из наших!..»

Пока они менялись, остальные проходчики закончили уступ. Чтобы догнать их, пришлось напрячь силы. Мощный угольный пласт в этом месте лежал плотным, литым массивом и поддавался не легко. Лучше всего было в самом начале подрубить снизу хотя бы небольшую кромку, а потом обрушивать весь пласт, используя собственную тяжесть угля.

Отваливая плитчатые куски, отбойный молоток то захлебывался, то вновь клекотал оглушительно, торжествующе. Надвинув каску пониже, пришедший работал не останавливаясь, не передыхая. Уголь доходил ему до щиколоток.

Когда вся выемка была закончена, Хижняк дал команду остановиться. Один за другим отбойные молотки стихли. Стало слышно шуршанье транспортной ленты. Проходчики взялись за лопаты.

«А все-таки это не нормировщик, — внимательней приглядевшись, подумал Салочкин, по каким-то признакам безошибочно определив, что тот вел бы себя по-другому. — Из треста, должно. А то и повыше...»

— Лихо рубашешь! — похвалил он, подбирая лопатой уголь сам и давая подобрать работавшему рядом Мудрякову. — Случалось, видать?

— Случалось, — сдержанно отозвался, переводя дыхание, пришедший. — Еще как случалось!

— Не в Щекине?

— Нет, на Метрострое.

— А теперь где? «Рубашешь?» — хотел спросить Мудряков в свою очередь, но это было понятно и так.

— В обкоме.

Хижняк стал приглядываться к нему с еще большим интересом, чем прежде. Брат закадычного его дружка был навалоотбойщиком, а потом перешел на партийную работу и сейчас, говорили, где-то в обкоме — не то инструктором, не то каким-то инспектором.

— Меренкова там не знаешь? — спросил он, как будто не зная того было просто нельзя. — Тоже в обкоме где-то. Хорошую должность занимает!

Налегая на лопаты, Салочкин и Мудряков стали подчищать площадку до земника, словно хотели по-

казать, что даже самая тяжелая работа может идти легко и споро, если делать ее старательно.

— Ну? Сколько уложили сегодня? — услышал сзади Хижняк и, обернувшись, узнал подошедшего Костянику, а за ним — Суродеева, Мозолькевича и Дергасова.

— Три кольца пока, — ответил он, сразу сообразив, что начальство явилось не иначе как сопровождая незнакомого и что тот, должно быть, начальник над начальниками.

«По всему видать, — рассудительно решили и остальные проходчики. — Пускай не прикидывается, что на Метрострое рубал!»

Пользуясь затишьем, Мозолькевич принялся объяснять:

— Как видите, щит обеспечивает совершенную безопасность горных работ в любых породах. С ним не страшно никакое давление, а об экономии леса, цемента и других материалов говорить не приходится.

Насаживавший в сторонке лопату Козорез тихонько спросил:

— Кто это? С отбойным молотком?

— Шаронин, — сказал Дергасов. — Секретарь обкома...

— То-то я гляжу. — И с озорноватой прямоотой Козорез обратился к Шаронину. — А позвольте узнать, товарищ секретарь: вы — первый? Или второй-третий?

Шаронин весело обернулся.

— Кажется, первый. А вам какой нужен?

— Тогда вы, конечно, на Двадцатом съезде в Кремле были и всё знаете, — не отвечая, продолжал тот. — Скажите нам: Сталин чего больше народу принес — вреда или пользы?

Шаронин посерьезнел. Бросив копать, проходчики с любопытством ждали ответа на этот, видимо, горячо и не однажды обсуждавшийся вопрос.

— Двадцатый съезд, как вы знаете, раскритиковал культ личности Сталина, допущенные им ошибки. Сталин был долгое время руководителем партии. Когда поступал правильно — он приносил пользу нашей стране, а когда ошибался — несомненный вред.

Лента транспортера шуршала безостановочно. В тоннеле погромливали нагружаемые вагонетки.

Салочкин простодушно полез пятерней в затылок. Мальчишеское его лицо с выгоревшими от солнца почти бесцветными бровями выражало растерянность и смущение.

— Теперь у меня к вам вопрос, — предупредил Шаронин. — Ответите?

Проходчики переглянулись. А Мудряков, почувствовав подвох, на всякий случай обезопасился:

— Ежели ума-разума хватит.

— Хватит-хватит, — заверил Шаронин. — Судя по тому, какие вопросы сами задаете, даже с избытком.

— Тогда спрашивайте.

— Слушаем...

Не обинуясь, Шаронин требовательно спросил:

— Почему даете самый дорогой уголь в стране? В чем дело?

Козорез озадаченно подтолкнул Мудрякова: давай, дескать, ты!

Тот отмахнулся и в свою очередь метнул:

— Откровенно?

— Ну конечно откровенно. Как считаете, так и скажите.

Салочкин снова стал искать что-то в затылке.

— На то целая бухгалтерия в тресте сидит. Там, наверно, знают...

Опасавшийся чего-то Хижняк попытался перевести разговор на другое.

— Пласты с повышенным давлением не дают развернуться, — заговорил он, как бы продолжая объяснение Мозолькевича. — Приходится остерегаться, а то выдавит щит туда, где послабже.

Костяника подхватил тоже:

— В особо опасных местах мы принимаем меры предосторожности, усиливаем цементную подушку.

Шаронин прищурился.

— Вроде вот этого? — И, не дав ответить, предупреждающе тронул его за плечо. — Послушаем лучше, что скажут они.

Мудряков воткнул лопату в кучу угля. Измазанное его лицо казалось непроницаемым. Но глаза поблескивали, обещая нечто неожиданное.

— Почему, говорите, дорогой уголек даем? — переспросил он. И, не ожидая подтверждения, как отлил: — Потому, что ваш КПД дешево стоит!

Все заулыбались:

— Грамотный!

— Теперь все ученые.

Костяника растерялся. Но Шаронин и не почувствовал себя задетым.

— Ничего смешного, товарищи, нет. Действительно, наш коэффициент полезного действия подчас еще немногого стоит. И вы правы: зависимость тут самая прямая. Чем он лучше, дороже — тем дешевле уголь, его себестоимость!

Мозолькевич счел за лучшее вернуться к тому, с чего начал.

— Безопасность горных работ в наших условиях—

самое главное, — напомнил он. — А себестоимость мы снижаем. В прошлом году по тресту... на двенадцать и три десятых процента.

Козорез не смолчал:

— Цифрия какие угодно вспомнить можно. А хотите, — обращаясь к Шаронину, сказал он, — я проведу вас по тем участкам, где кровля на плечи садится? Но мы притерпелись, ходим да еще посмеиваемся: ничего, дескать! Бывает и хуже...

— А пойдете, — охотно согласился Шаронин и на прощанье сказал: — Давайте вместе наш КПД поднимать! Чтобы уголь дешевле был...

Взяв шахтерку, Козорез повел их на шестнадцатый участок. Костянике ничего не оставалось, как объяснить Шаронину, что вывозка угля производится другим путем.

— Тем путем до лав — три километра, — обернувшись, заметил Козорез. — А как шахтеры ходят — вдвое короче. — И озорно показал: — Правда, воды — по самую фамилию!

Ходок, которым пользовались шахтеры, оказался действительно запущен. Крепление во многих местах обветшало. Плесень на стояках, на оголовниках причудливо разузорила, запах гниющего дерева кружил голову. Занозисто-отщепившиеся прутья цеплялись за одежду.

Подняв шахтерку повыше, Козорез сделал знак остановиться.

— Прислушайтесь, — негромко и как-то по-особенному сказал он. — Чуете, как земная твердь дышит?

Скрипело и вправду совершенно явственно. Временами казалось: если Шахтарь действительно существует, он мог бы примерещиться только здесь.

Шаронин испытующе прислушался:

— Да-а, дороговато это дыхание может обойтись!

— Затраты на поддержание старых выработок сокращаются из года в год, — поспешил объяснить Костяника. — Приходится выкручиваться!

— Какой же это старый штрек, если им ежедневно пользуются? — повысил голос Шаронин. — Разве нельзя держать его в безопасном состоянии?

Наступила заминка. Мозолькевичу отмалчиваться было нельзя.

— Техника безопасности здесь действительно нуждается в улучшении...

Суродеев остановил его. Разве об этом нужно было сейчас говорить.

— Мы, работники горкома, ей-богу, не представляли себе, что тут происходит, — сказал он, — иначе вовремя справились бы с тем, что от нас требовалось, с алгеброй руководства. Случилась не только авария с электровозом. Авария гораздо более серьезная произошла с руководством шахты!

Побагровев, Костяника почувствовал себя точно на горячей сковороде. А Суродеев, едва сдерживаясь, обернулся к Дергасову:

— Штурмовщину, равнодушие к судьбам людей — вот что вы насаждали здесь, Дергасов! И пора дать настоящую оценку всему этому.

— Я должен был выполнять план, — не смолчал тот. — С меня требовали уголь любой ценой. И я старался...

— План... ценой аварии? — подхватил Суродеев. — Уголь... ценой человеческих жизней?

Дергасов взорвался:

— Неверно это! Я жаловаться буду... в ЦК.

Шаронин заставил его замолчать:

— ЦК все известно. О том, что у вас тут происходило, написали проходчики Рудольский и Воронок.

— Все равно. Я не первый день в партии и свои права знаю. Это не при культе, когда можно что угодно...

На него неприятно было глядеть.

— Успокойтесь,—остановил его снова Шаронин.— Горком еще не завел на вас персональное дело, Дергасов.

Не глядя ни на кого, тот вызывающе фыркнул, бросился к выходу, но вовремя опомнился. А Мозолькевич, словно оправдываясь, вздохнул.

— Планы выполнять тоже надо умеючи...

Шаронин как бы душевно вернулся к тому, о чем шел разговор до этого. Выразительное его лицо много знающего и много пережившего человека стало снова сосредоточенным.

«Тоже мне: не справился с алгеброй руководства,— подумал он, мысленно возражая Суродееву.— С самолюбием не справился — это верней. А алгебра, на то она и алгебра, чтобы все время выдвигать и ставить свои задачи!»

Шаронин понимал, что партийным работником, разнорабочим партии, как он любил называть себя, не становятся по наитию свыше. Сам он все время учился быть партийным работником с тех пор, как сделался им, и все время сознавал, что ему недостает то того, то другого. Необыкновенно трудна была эта алгебра, а главное — постоянно усложнялась и усложнялась, и вчерашний опыт часто не помогал в решении встававших задач.

«А разве я, секретарь обкома, справился с алгеброй руководства применительно к вам? Мне бы приехать, как только узнал об аварии. А я дождался, пока из

ЦК подтолкнули. Вот и суди после этого об алгебре...»

Он любил и ценил Суродеева за прямоту, за цельность характера и считал, что тот нашел в партийной работе свое призвание. Сам Шаронин не променял бы партийную работу ни на какую другую. Он делал свое дело и с волнением видел, как меняются, растут люди, какими великанами становятся — поворачивают реки, передвигают горы и вырываются в космос.

«Надо будет потолковать с ним на досуге, — привычно подумал он о Суродееве. — Работник хороший и коммунист настоящий, а вот насчет самоанализа — хлебом не корми, дай в себе покопаться!»

И, внутренне улыбаясь чему-то, сказал:

— У многих, наверно, складывается мнение, что за такой серьезный вопрос, как состояние техники безопасности, мы беремся вроде бы не с того конца. Что такое техника безопасности в переводе на язык политики? — он обвел взглядом Мозолькевича, Костянику, Суродеева, хотел было ответить и сказал: — Подумайте об этом хорошенько и ответьте себе сами! А пока давайте еще полазаем, потолкуем с горняками, послушаем, что они скажут, что подскажут?

Отпустив Козореза, они решили пройти дальше, на другие участки. Мозолькевич вызвался вести, но вскоре выяснилось, что дорогу не знает, и вышел в главный откаточный штрек.

Остановив состав с углем, Костяника расспросил машиниста, как пройти к Большому Матвею.

— Держите по колее, — пояснил тот. — До развилки, а там вправо!

Весть о том, что в шахте секретарь обкома и все

начальство, дошла до самых отдаленных лав и забоев. Помогая переводить комбайн на новую заходку, Косарь рассказывал:

— С пикой, как назалоотбойщик! Ходит, по часам нормы проверяет: «Все вы, говорит, против настоящих трудяг слабаки! Вот как надо вкалывать!»

— Не трепись, — одернул его Волощук. — Откуда ты знаешь?

Пока удлинняли пути, Ненаглядов старательно отчистил фрезу, подгреб разбросанную породу. По правде говоря, он не любил суматохи вроде сегодняшней. Костяника успел предупредить горных мастеров, чтобы подготовились; те, как всегда в таких случаях, приняли необходимые меры. Каждая смена должна была создать фронт работы и приступить к ней с появлением начальства.

Нечто подобное должны были сделать и Волощук с Ненаглядовым. Воротынцев забежал к ним, попросил:

— Вы уж не умничайте, организуйтесь как следует! А когда увидите, что идут — рубайте!

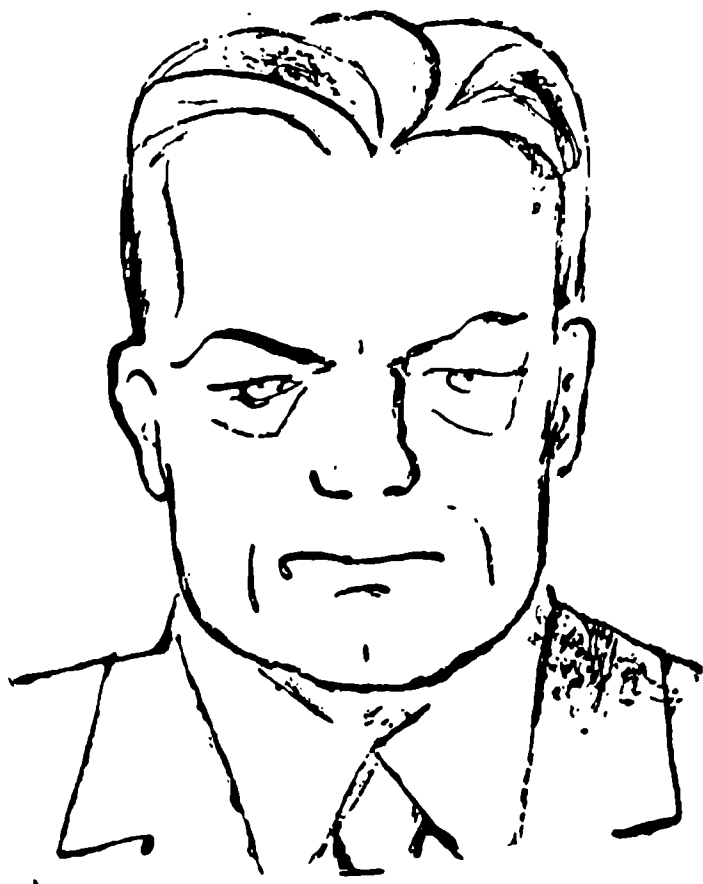
В сущности он поступал, как приказывали. Разве лучше, если начальство придет и застанет комбайн не работающим, а смену — подводящей пути или подтаскивающей крепление?

— Показуха это, — несговорчиво плюнул Волощук. — Неужто без нее нельзя?

— А ты думаешь, начальству что другое требуется? — посмеивался, себе на уме, Косарь. — Думаешь, ему как все по правде нужно?

Этого Тимша не мог понять. Ему всегда казалось, что правда, какая бы ни была, превыше всего. Но с Косарем спорить было бесполезно.

Когда они вернулись с накатником, в забое было



тесно. Возле комбайна стоял невысокий, плотно сбитый — инженер не инженер — и внимательно следил за работой Волощука. Казалось, он забыл, что находится глубоко под землей, в шахте, и думал не об этом, а о чем-то совсем другом.

«Шаронин, — догадался Тимша. — А рядом — начальник наш, Костяника, управляющий трестом Мозолькевич и Суродеев...»

— Как видите, этот способ проходки несомненно быстрее и даже, на первый взгляд, дешевле, — объяснял Костяника. — Но это только на первый взгляд. Здесь мы расходуем металл и много леса! А там — бетонные тубинги. И надежность не та...

Шаронин вспомнил:

— Кажется, об этом недавно писали? Не то в «Труде»? Не то в «Известиях»?

— Об этом, об этом, — обрадовался Костяника. — Интересный был материал... поучительный.

Обернувшись к Ненагладову, Шаронин поинтересовался:

— А проходчики согласны?

Тот невпопад ответил:

— Согласны, но... немножко не в яблочко товарищ секретарь.

— Как это... «не в яблочко»?

— А так. Представитель этот в шахте побывал, а того, что надо, не увидал.

Костяника не простил бы себе, если б не вме-
шался:

— Ну, это ты зря, Ненаглядыч! Щит работает; люди, которые его создали, перечислены; производ-
ственные показатели упомянуты. Разве все это не
правда?

— Правда, — разошелся Ненаглядов. — Да толь-
ко это — тутошняя правда. А он, представитель, дол-
жен был и о другой правде подумать.

Не скрывая, что полностью согласен с ним, Ша-
ронин заметил Костянике:

— В том или ином случае, конечно, есть своя
правда. Но это еще не вся правда. И представитель
«Гипроугля» должен был знать об этом, соотнести
вашу, тутошнюю правду с правдой партийной, госу-
дарственной. Тогда бы в статье все оказалось по-на-
стоящему.

Волощук остановил вдруг комбайн и, словно из-
виняясь, хмуро согласился:

— Это уж так. И что мы, не дождавшись вас, ра-
ботать стали тоже!

Все рассмеялись. А Шаронин, посьерьезнев,
спросил:

— Почему не дождавшись?

— Да такая команда была.

— Это кто ж так раскомандовался?

— Глядите лучше, увидите!

Шаронин шутливо покрутил головой.

— Без вас я, как тот представитель, ничего не
увиджу.

Не забывая о транспорте, Тимша слушал и гля-
дел во все глаза. До этого ему казалось: правда все-

гда бывает только той, какую видишь вокруг, в повседневной жизни. А оказывается, это еще не вся правда; кроме нее, тутошней, как сказал Ненаглядов, есть еще другая — государственная, партийная.

— Может, пройдем теперь на новое месторождение? — стараясь как можно лучше играть роль заботливого хозяина, предложил Костяника. — Сегодня начали разрабатывать! Досрочно...

— Ну что ж, пойдемте, — согласился Шаронин. — Время у нас еще есть.

Все, кто пришел с ним, повернули обратно, чтобы направиться к Большому Матвею, где в забоях ждали сигнала навалоотбойщики. Косарь хотел было ужом за ними, но Волощук вовремя заметил это:

— А ты куда? Забыла девка про крапиву — опять по малину...

— За правдой, — не растерялся тот. — Занозила она меня — хуже некуда!

22

Занозило душу и Тимше. Впервые он задумался: почему одни люди — коммунисты, а другие — нет? Почему одним — дело до всего, что происходит вокруг, а другим, — кроме собственного благополучия, ничего не нужно?

Правду, о которой говорил Шаронин, Тимша старался теперь видеть везде и во всем. Происходившее в шахте обрело как бы двойное значение: их, местное, и общегосударственное, то, о котором раньше не думалось.

Уходил он часто после всех; сокращая путь, спешил через Провалы. Дорогой этой можно было поль-

зоваться в хорошую погоду, когда пересыхало в низких местах.

Бывало, смена заканчивала работу, а задание оказывалось не выполнено. Считалось, об этом должны заботиться бригадир, начальник участка, главный инженер. А теперь пришло время беспокоиться всем.

«А как же? Что у нас ничего, кроме собственной болячки, не саднит?..»

Раздумывая об этом, Тимша дошел чуть не до середины Провалов и увидел крепкого, кондового старика с плетеным кошелем за плечами. Одет он был в домотканый пиджак и добротные сапоги. На голове — кепка; борода и усы аккуратно подобраны.

Собираясь разжечь костерок, тот повелительно окликнул:

— Эй, малой! Подь-ка сюда...

Тимша подошел.

— Чего?

— Ты не в шахте робишь?

— В шахте, — ответил он и в свою очередь поинтересовался: — Ночевать тут собираетесь?

Старик отозвался как-то неопределенно:

— А чо... ночь теплая.

Костерок разгорелся. В безветренном, недвижном воздухе дым стоял синевато-серым столбушком — истончившийся, почти прозрачный. Старик достал из кошеля хлеб, завернутое в тряпицу сало, зеленый лук, топорщивший во все стороны строптивые перья.

— Дело ваше, — согласился Тимша. — Хорошо и на воле.

— Ну, воля — дело нехитро, — возразил тот. — Не всяка, малой, неволя — тюрьма.

— А-а, вы реабилитированный? — догадался Тимша, обрадовавшись, что видит одного из тех, о ком

последние годы молва твердила повсюду. — После тридцать седьмого?

Старик осуждающе сощурился не то на огонь, не то на него. Крупные серые глаза были себе на уме и видывали, наверно, многое.

— Скор ты, да не больно умен. — И, словно желая переменить разговор, спросил: — Живешь тут с родителями?

— Нет, в общежитке, — не обижаясь, удовлетворил его любопытство Тимша. — Еще что?

— Еще спрошу, — подбросив хворосту в костер, как нечто само собой разумеющееся, сказал старик. — Косарева Федора, часом, не знаешь?

— А зачем он вам?

— Сродственник он мне. Двоюродный племянник.

— Знаю. Вместе работаем, в одной смене.

— Вот это в сук, — обрадовался старик и, отрезав сала — потолще себе, потоньше — Тимше, насадил на пруток, протянул: — На-ко, угостись! Поди, не часто в глаза видите?

— Спасибо, — отказался тот. — Я больше мясо...

— А ты не брезгуй. Подпеки да на хлеб.

Тимша взял, поднес прут к огню. Потрескивая, занимаясь от жара, сало стало румяниться, чернеть, роняя полновесные капли жира.

— Ешь, а потом Федора мне покличь, — непрекаемо приказал старик. — Шумни: дядя, мол, Денис Емельянов, ждет!

— Разве вы здешний?

Старик осторожно огляделся.

— И-и! До сорок пятого года. А потом — в товарняк и на Ковду. На дики места...

— За что? — перестав есть, Тимша опасливо поду-

мал, что тот, наверно, натворил тут. — Я сразу догадался, что вы из заключения.

— А ни за чо. В окружении, вишь, покалечился я. Руку леву чуть не потерял.

— Что ж вы там, на Ковде? Все время—в тюрьме?

— Зачем — в тюрьме, — старик призакрыл веки, то ли от дыма, то ли от жара воспоминаний. — С топора кормились! Перво время, верно, в лагере, потом на поселении. Старуха померла, а меня всё сюда, на роднинно место тянуло, да нельзя было. Однако, после культа стали по-другому примеряться. И вышло, что вроде я ни за чо пострадал.

Все это казалось Тимше удивительно.

— Насовсем приехали?

— Зачем, — неохотно отозвался тот. И, понимая, что лучше все же как-то объяснить это, вздохнул. — На роднинны места глянуть, малой! Перед смертью...

Внутренним зрением Тимша видел еще забой, крепление, роющую фрезу комбайна. А тут — этот старик, дядька Косаря, с салом и чудной своей жизнью, от которой осталась не то обида, не то жалость.

— Ладно, — покладливо пообещал он. — Если Косарь дома — скажу.

— Шумни аккуратненько: дядя, мол. Денис Емельянов!

Добравшись до Северного, Тимша оглянулся. Сумеречная темень заволакивала Провалы. Только в той стороне, где остался костер, курился едва приметный, синеватый дымок.

Угольный край раскинулся вокруг, переделал все по-своему. Поднялись терриконы, копры шахт, осела земля — будто прошлая жизнь хотела уйти вглубь, не оставив по себе ни следа, ни памяти.

«И чего ему тут? — невольно подумал о старике Тимша. — А чем-то похожи они с Косарем. Ей-богу!»

В общежитии никого не было. Он решил сходить к Журовым, хотя ни разу не был там. Показав, куда идти, встречная женщина возле «Гастронома» словоохотливо затараторила:

— Пройдешь до «Горняка», своротишь в заулочек! А там — третий дом, одноэтажный. Крылечко справа...

Поднявшись на крыльцо, Тимша постучал, не дождался ответа и открыл дверь. В комнате раздался кашель, кто-то хотел справиться с ним, но не мог.

Косарь лежал на диване. Босые ноги синевато посвечивали мослами.

— Кто там еще? Сквозняку напустил...

— Дядька твой, Денис Емельяныч, — остановившись на пороге, выпалил одним духом Тимша. — На Провалах. Прислал передать, чтобы ты к нему шел...

Косарь приподнялся на локте, недовольно прохрипел:

— Какой еще Денис Емельяныч?

— С Ковды. Куцепалый.

Брови Косаря удивленно полезли вверх. Спустив ноги на пол, он почесал под мышками.

— Иди-ка ты откуда пришел. Двоюродный племень нашему частоколу!

Тимша огрызнулся, обиженно брякнул дверью:

— Оба вы...

Оставшись один, Косарь сел, обулся, соображая, что делать с некстати явившимся Лёвошником.

«Нашему частоколу двоюродный полицай! Думалось, уж и в живых нету, а на-ко...»

В кухне загремело ведро. Косарь надел пиджак, снял с гвоздя кепку.

— Куда ты? — удивилась Алевтина, едва он пока-

зался. Загородив дверь, она стала с веником в руках. — Повадился каждый вечер!

Косарь не без досады отвел ее руку.

— Да не в «Сквознячок», пусти! Дядю черт принес. С Ковды...

— Какого еще дядю? — не поверила она. — Опять врешь-несешь?

— Высланного. Приехал, на Провалах ждет.

— Знаю я твои Провалы. Заладил каждый вечер!

Видя, что добром она не пустит, Косарь нашелся:

— Пойдем вместе, если не веришь. Разве я тебе придумывал невесть что?

— Никуда я не пойду, — Алевтина наконец сдалась, отступила с порога. — И ты... загуляешь — можешь не приходить!

На улице Косарь огляделся.

«Ничего не поделаешь, придется вести ночевать, — решил он, сворачивая на тропку к Провалам. — Авось Алевтина не прогонит...»

Возле костра никого не было. Не замечая, что за ним наблюдают, Косарь огляделся.

— Кто таков? — выходя из-за олешника, спросил Лёвошник, ничем не выдавая, что ждет кого-то. — Куда путь держишь?

Вздрогнув от неожиданности, Косарь обернулся:

— Человек. А ты кто?

Настало время объясниться.

— Я-то? Я, можно сказать, тутошний житель, — всё так же необязательно-безразлично проговорил Лёвошник. — По фамилии Косарев.

— И я — Косарев.

— Тогда, выходит, мы друг дружке сродственники, — Лёвошник обрадованно взгляделся в лицо Косаря. — Я — дядя, а ты — мой племянник.

Опустившись перед костром, он подбросил в него хворосту, раздул жар. Огонь трепетно озарил седую с чернью его бороду, красные вурдалачьи губы.

— Дай-ка погляжу на тебя. Похож ты на того пацана, что у меня жил?

— Люди говорили, похож!—усмехнулся Косарь.— Ну как?

— Схожи с рожи, кабы нутро то же, — посуровел Лёвошник. — По-тогдашнему, ты сирота был, а я — раненый, покалеченный.

Косарь беспечно отмахнулся.

— Ну, это быльем поросло!

— Пришел, гляжу — не узнать ничего, — Лёвошник встал, выпрямился и, оглянув все вокруг, вздохнул. — Леса сошли и вновь поднялись, дороги наново легли. А в душе, милоч, ничего быльем не поросло и не зарастет никогда.

Откровенное это признание тронуло Косаря.

— Ничего не поделаешь. Обездолила, значит, судьба!

— Культ меня обездолил, а не судьба, — несогласно повел рукой Лёвошник. — Зачем таких, как я, под корень рубили?

— Это верно. Рубили и не таких, — напомнил Косарь, точно сам имел непосредственное отношение к рубившим. — Партейных, с дореволюционным стажем!

Костер разгорелся, осветил их. Неспокойные тени метались над Провалами, словно явившиеся из небытия. Какая-то ночная птица, потревоженная огнем, носилась в вышине, вдали слышалось размеренное дыхание компрессорной.

— Так ты, значит, тут, в шахтах? — помолчав, спросил Лёвошник.

— Тут, — опускаясь у костра, подтвердил Косарь. — Вон, на девятке...

— Один живешь? Парнишка даве сказывал: в общежитии.

— В общежитии, — Косарю явно не хотелось распространяться о своей жизни, но в голосе Лёвошника, в манере спрашивать было что-то заставлявшее его отвечать. — А что мне — холостому-неженатому? Где день, где ночь: переспал, и лады!

— Так-то оно так, а все ж, — Лёвошник снова подбросил хворосту в костер, кряхтя, опустился рядом. — Окореняться надо! Без корня человек не жилец на земле.

Косарь сбил пламя, словно опасался, что кто-нибудь набредет, подслушает их.

— Ночевать тебе тут несподручно. Есть у меня знакомка одна, вдова...

— Это — дело другое, — охотно поддакнул Лёвошник. — Вдова, чо трава: кто хочет, тот и топчет.

Косаря занимало — зачем он приехал, сколько пробудет? В бескорыстное желание повидать роднинные края верил плохо и, кажется, не ошибался.

Дорогой Лёвошник упрекнул его:

— Жители! Не успели поселок выстроить, все провалами пошло. — И, вздохнув еще раз, пожаловался: — И моя жизнь — тоже! Хочу в колхоз наведаться, глянуть — кто на подворье окоренился?

Косарь фыркнул.

— Не угадаешь!

— Председатель небось? Кто там теперь в председателях — не знашь?

— Руженцев. А в твоём доме детский сад шумит. Лёвошник рассвирепел:

— Насобирали, значит, выб...ков! Придешь — и переночевать негде.

— А чего тебе там ночевать? Думаешь, люди забыли, кем ты был?

— Да не-ет, поди, не забыли, — мрачней, согласился тот. — Осталась у меня там изба с подворьем. Как ни бедовать, а продавать — не миновать!

23

«Бедовать — не миновать! Хочешь, не хочешь, а это уж так...»

Как ни храбрился Косарь, грозясь, что уйдет из смены, но не ушел. Даже побаивался, что Ненагладов узнает о случившемся.

Но Волощук сдержал обещание — не проговорился о Метелкине никому. А тот, получив недоданное, больше не являлся.

Работали они по-прежнему, заканчивали вентиляционный штрек. Вслед за ними прокладывались воздушные рукава, бурились водоотводники, подключались насосы для откачки.

В день получки Косарь в знак примирения позвал Волощука в «Сквознячок».

— Пойдем побалуемся! Убоинки душа запросила: надоели пустопостные харчи...

Прежде Волощук никогда не раздумывал — идти или не идти, а этот раз заколебался. Обычно в получку он не отказывал себе в хорошем ужине.

«Не забуриться бы? Или сходить, но не пить?..»

В «Сквознячке» было шумно. Пахло шашлыками и пивом; надрывно стонал насос. Радиола крутила

пластинку за пластинкой с хватающими за сердце мелодиями.

Свободных столиков не было. Наметанным глазом Косарь определил, где скоро освободится, помог официантке собрать грязную посуду, переменить бумажную скатерку и, не заглядывая в меню, заказал шесть шашлыков, бутылку «Московской», селедочку и два салата.

Волощук подивился:

— Ты что? Еще кого зазвал? Я пить не буду.

— Разве это выпивка, — добродушно возразил Косарь. — Пить нам с тобой теперь надо аккуратно. Не то, что бывало... в свое удовольствие!

— Ты лучше скажи: кого зазвал? — Волощук огляделся, поискал глазами, нет ли знакомых.

— Да должен вроде подойти один.

— Один или одна? Что-то ты последнее время дома не ночуешь!

— А что? Мое дело — не рожать...

Где-то требовательно и негодуяще стучали ножом по тарелке; кто-то беспамятно выводил:

— Уголь, уголь, уголек,
Ты навек меня завлек...
Р-разойдись, шушера,
Едет уголь на-горá!

От шума и оживления вокруг охватило желание забыться, выпить, как когда-то. Но Волощук тут же одернул себя:

«Уже раскис? Сдался? Не надолго ж характеру хватило...»

Косарь держался хозяином. Против обыкновения он даже не предупредил Волощука о том, что все расходы пополам.

Официантка принесла, поставила закуску, хлеб, пошла к буфету за вином. Ловко двигаясь между столиками с подносом, уставленным бутылками и тарелками, она умудрялась еще улыбаться то тому, то другому завсегдатаю.

Вход был задрапирован плюшевой портьерой, ниспадавшей до самого пола. Из-за нее появился какой-то франт в куцем пиджачке и тощеватых брючках, из которых он не то вырос, не то нарочно выпростал крупные ноги в желтых полуботинках и франтоватых носках.

Косарь вскочил, призывно помахал рукой.

— Знакомьтесь, — сказал он, когда тот подошел к столу. — Ван Ваныч Крохалев. — А это — Лаврен Волощук, — кивнул он франту. — Звеньевой мой... дружок.

— Ого, у вас уже все готово, — присаживаясь, одобрительно и оживленно проговорил Крохалев. — Даром время не теряли.

— Кто теряет, тот воду хлебает, — забористо хохотнул Косарь. — А мы — водочку!

Он принялся за дело. Рюмки оказались всклень, но на бумажную скатерть не пролилось ни капли.

Четвертого, как видно, не предполагалось. Не без любопытства Волощук глядел, что будет дальше.

«Где ж этот стрюк работает? — не принимая участия в застольном оживлении, думал он. — В Углеграде, что ль?..»

— Давай выпьем, Лаврен, — стараясь расшевелить его, предложил Косарь. — Ван Ваныч, будьте здоровы!

— Спасибо. И вы тоже...

Пил Крохалев деловито. Кадык выпирал под запрокинувшимся подбородком и, поросший редкими

рыжеватыми волосками, покатывался при каждом глотке.

Едва пригубив, Волощук поскорее отставил рюмку.

— Что ж вы? — небрежно кивнул Крохалев и, достав спичку, поковырял в зубах. — Пить, так пить поровну. Зла не оставлять!

— Пускай пьет по потребности, — миролюбиво сказал Косарь. — Как при коммунизме...

— При чем тут зло? — Волощук медленно забрал в кулак скатерть, сжал. Крохалев, ковырянье в зубах не нравились ему. — Не идет и не буду!

Косарь предупреждающе схватил его за руку.

— Не идет и не надо. Нам же больше достанется! — И, налив Крохалеву и себе, попросил: — Расскажите лучше, Ван Ваныч, как у вас? Что новенького в районе?

Шашлыки оказались на металлических прутках. Лук подрумянился крупными кольцами, распавшимися от жара. Словно не замечая рюмку Волощука, Косарь и Крохалев чокнулись и с удовольствием выпили.

— Строим! День и ночь, — увлеченно махнул вилок Крохалев. — Чего-чего, ассигнований хватает...

Обильно полив соусом самый лучший кусок и отправив его в рот, Косарь деловито осведомился:

— Что-нибудь интересненькое есть?

— Да не-ет. Хотя, кажется, намечается. — Крохалев тянул, будто набивая себе цену, старался вовлечь в разговор Волощука, но тот отмалчивался по-прежнему. — А у вас отпускá скоро?

По обыкновению Косарь прихвастнул:

— Вентиляционный штрек пробьем — и в Крым!

— Тю! Я вам отдых и тут найду, — поддев вилок

кусоч шашлыка, Крохалев плотоядно прищелкнул языком. — Лучше Крыма!

Сделав вид, что слышит об этом впервые, Косарь недоверчиво повел головой.

— Какой отдых? Где?

— На свежем воздухе.

— Да ну-у, — точно не представляя, о чем он говорит, отмахнулся Косарь. — Придумаете! — и хитро подмигнул Волощуку: кто, дескать, этому поверит? Застольные обещанки — наполовину вранье.

— Мое слово — олово, — заверил Крохалев. — Колхоз «Россия» скотный двор ставить собирается. Оборудование завезено, лес есть. За мастерами только остановка.

Что-то озаботило Косаря больше, чем следовало бы.

— В «России», Ван Ваныч, мне несподручно.

— Не все равно, где работать? — не понял тот. — Круглый двор, на кирпичных столбах вокруг силосной башни. Простенки — взбор.

Волощук по-прежнему отмалчивался, ел. Не то, чтобы он не умел рубить взбор, а по-прежнему не хотел связываться.

— Колхоз-то этот мне вроде свой, — пояснил наконец Косарь. — У дядьки я там мальчишкой жил. Только назывался он тогда по-другому: имени Сталина.

— Свой не свой, кому какое дело? — Крохалев не понимал его опасений. — Своему доверия больше.

— И Руженцев — председатель нравный.

Волощук не успел рта раскрыть, как Косарь сообразил, много ли плотников понадобится и кого взять, прикинул, сколько запросить за работу и какой куш отломится ему самому. Пускай только Крохалев от-

даст подряд, а уж Косарь подберет кого надо и не забудет отблагодарить его.

В «Сквознячке» было душно, беспутно-шумно. За соседним столом ссорились, припоминали какие-то обиды. Но только в такой кутерьме, как в мутной воде, и можно было обделывать дела, подобные этому.

Размашисто наполнив рюмки, Косарь предложил выпить снова и, едва дав Крохалеву закусить, не откладывая, сказал:

— Может, ты как раз и подгадаешь свой отпуск, Лаврен?

— Не знаю. Вдруг штейгерá еще какую загогулину придумают, — Волощук не скрывал совершенного равнодушия ко всей этой затее. — А ты как же? Двоих из смены сразу не отпустят.

— А я после работы буду прихватывать, — не унимался Косарь. — Ван Ваныч, вы уж нас не обходите. Мы отблагодарим, как всегда!

Крохалев заметно охмелел, съел обе порции шашлыка. Щеки его точно почугунели, налились фиолетово-бурачной краской.

— Это само собой. Счета-то, договор оформлять у меня, в отделе строительства, будете. А уж я знаю что почему, я — техник.

Наконец-то Волощук понял, зачем зазвал его Косарь. Затея эта, видно, родилась не сейчас, а может, еще в те дни, когда они прорабатывали его за халтуру в Чернушках.

«Вот ловкач! Хоть из смены гони...»

Наклонившись друг к другу, Крохалев и Косарь вполголоса улаживались о чем-то, заранее требовали не подводить и, по всему видно, не надеялись, что не подведут.

— Уговор дороже денег. Мне, как положено, двести, — предупреждал Крохалев. — А уж я на impulse соответственно проведу.

— Три косых, — в свою очередь настаивал Косарь. — Не меньше.

— Хвати-ил! Дай бог две. И то хорошо.

— Две с половиной. На четверых по пятьсот пятьдесят да мне еще сотню. За артельство.

Зачищая тарелку, Крохалев наконец согласился.

— Ладно, постараюсь. «Россия» — колхоз богатый: может, и отломим!

Бутылка опустела. На радостях Косарь хотел заказать еще, но Волощук не позволил.

— Хватит! А то дружинники придерутся.

— Хватит так хватит, — согласился тот. — Ван Ваныч, вы — нам, мы — вам!

У Волощука даже не спросили, что он думает обо всем. Крохалев считал это само собой разумеющимся, а Косарь как-то забыл.

Официантка принесла чай. Впервые Волощук хорошо поужинал и был не пьян: даже чудно казалось уходить из «Сквознячка». Достав деньги, он положил свою долю на стол.

— Ты что? — хмельно повел глазами Косарь. — Я угощал! В счет совместной будущей...

— А я в артель не собираюсь. И за угощение плачу сам.

Крохалев снисходительно попытался урезонить его:

— Ну, это уж совсем ни к чему. Федор Арсентьевич от всего, можно сказать, сердца...

Волощук разозлился.

— П-шел ты! Куда подальше...

— Не порти компанию, Лаврен, — старался уго-

ворить его Косарь. — Пойдем проводим Ван Ваныча, потом разберемся.

Субботний вечер был оживлен. Дети играли в прятки, взрослые сидели у домов и в палисадниках. Из распахнутых окон слышались музыка, пение, смех.

Проводив Крохалева до автобуса, Косарь с Волощуком, не задерживаясь, повернули в общежитие.

— Ну, чего ты, Лаврен? — упрекнул дружка Косарь. — Сидел весь вечер, как сыч. Обидел нужного, верного человека...

— Дело́к он, — уничтожающе резанул Волощук. — По нему давно тюряга плачет!

— А почему в артель не хочешь?

Волощук отозвался не сразу. Жалко ли ему было отпуска или самого себя — кто знает.

— Всех денег не переберешь!

— Но стараться надо, — на всякий случай вспомнил давнюю поговорку Косарь. — Так раньше умные люди говорили.

— И потом... не хочу, чтобы глаза халтурой кололи.

Косарь, видно, не терял еще надежды переубедить его.

— За что? Это, ежели хочешь знать, не халтура, а помощь города колхозной деревне.

— За тридцать тысяч.

— А кто сказал, что помогать нужно даром? Помнишь, что про материальный стиму́л лектор говорил?

Тимша сидел за книжкой, зажав уши ладонями, и, стараясь не слушать музыку за окном, читал. Прежде, бывало, возвращаясь с Косарем из «Сквознячка», Волощук обязательно доставал принесенные

этикетки и, разгладив на столе тяжелой, как утюг, ладонью, приобщал к собранным ранее. Задумчиво улыбаясь, произносил вслух:

— «Померанцевая»... «Горный дубняк»... «Рислинг». Это какой же рислинг? Даже не упомянул.

— Вроде кваска. Помнишь: по паре бутылок хватили, а ни в одном глазу?

— А-а, — грубоватое лицо Волощука делалось мягче, разымчивей. Но что он мог вспомнить, разглядывая пестро и безвкусно размалеванные этикетки. — Это когда с водкой перебой был?..

Чаще всего он пил самую обычную «Московскую», иногда — «Столичную», «Кубанскую», «Виноградную», еще реже — какую-нибудь «Петровскую» или «Горилку» со стручком красного перца, сидевшем, как гномик, на самом дне и шевелившемся, точно живой. Затем шли — «Перцовая», «Спотыкач», «Вишневая наливка», «Старка», настойка на корне кориандра, подцвеченная марганцовкой, и всякие другие. Все они были одинаковы.

Достав из чемодана заветную тетрадь, Волощук пристроился рядом с Тимшей, стал разглядывать этикетки. Они были заложены, как в альбоме, уголками в прорезанные отверстия.

— Ну, прямо изба-читальня! — пьяно захохотал Косарь. — Передвижки только не хватает, — и выразительно щелкнул пальцем по горлу. — А может, вызовем? Поглядим, что за картина такая из американской жизни — «Белый домик»?

Перевертывая страницу, Тимша с досадой оглянулся, бросил:

— Ложись лучше!

— Ты меня не укладывай, — ни с того, ни с сего вздурил Косарь. — Не с тобой разговаривают...

Не ответив, Волощук вдруг рванул тетрадь снизу вверх — по корешку, потом — поперек и, молча скомкав грудю косых и угластых клочьев, отнес в печь на кухню. Оторвавшись от книжки, Тимша усмехнулся, а Косарь оторопело поглядел вслед и покрутил головой.

— Беда беду заставит играть в дуду!

24

Как ни играли, а вентиляционный штрек они все-таки закончили раньше, чем предполагали. Тимша теперь мог и крепить, и грузить, и наращивать пути для откатки; сумел бы, наверно, и с отбойным молотком, как самый заправский навалоотбойщик.

Лавы уходили в глубь месторождения — одна параллельно другой. Почти ощутимо чувствовалась наваливавшаяся тяжесть угольных пластов.

Как-то Ненаглядов показал ему такое, чего Тимша, пожалуй, не увидел бы сам никогда.

— Гляди, угольный пласт как лег — чуть не в два метра! Вот хвощ лапу отпечатал. А на стенке, оборотись: германиевы прожилки проступают!

Точно вспомнив что-то, Ненаглядов выпрямился, посветил вокруг. Тимша почувствовал: таким его и запомнит — с высоко поднятой шахтеркой, зорко вглядывающегося в темную прорезь лавы.

— Уголь-уголек, горюч-камень! Давным-давно, может, миллион лет тому назад, солнышко красное в нем схоронилось, в каждом куске — лучик алый, огненный. Расколешь вот так, — он взял большой, угластый обломок и, положив на ладонь, сильно ру-

банул ребром другой, — и видишь: он, как живой, с красным солнышком внутри!

Тимше показалось: из разлома и впрямь жарко полыхнула алая косынка пламени, он и не думал до этого, что так явственно, точно в самом деле, наяву.

— Не зря шахтеров Прометеями прозвали, — взволнованно согласился он. — Где-то я читал, что это про них легенда сложена...

Волощук ушел в отпуск, получил путевку в дом отдыха. Но через неделю, придя с комсомольского собрания, Тимша застал его на койке в общежитии и, боясь разбудить, тихонько разделся. Ему показалось, что в комнате едва уловимо пахнет перегаром.

— Нюхай, нюхай, — переворачиваясь на другой бок, ворчливо буркнул тот. — Нюхала теща из-под зятя — не от квасу ли занемог?

Не скрывая, что рад, Тимша бросился к нему.

— Ты чего, бригадир? Не понравилось на отдыхе?

— Пусти, — осторожно отстранился Волощук. — Дом знатный: в имении князя какого-то, Голицына, что ль? Встанешь, поешь, — тут бы на наряд, а ты, как тунеядец какой, до самого обеда время канителишь.

— И что ж ты надумал?

— Не знаю еще. Но только понял: ежели не сбегу — запью.

— Давай тогда ужинать, — смеясь, предложил Тимша. — У меня, знаешь, лещ какой копченый! В тумбочке, на кукане...

— Лещ это вещь, — Волощук, не одеваясь, в трусах, подсел к столу. — Давай, ежели поймал! Я там здорово еду переводить приобых...

Назавтра, не придумав ничего лучшего, они решили сходить в «Россию», поглядеть, как работается Косарю.

Усадьба колхоза была неподалеку от магистрали. Стоило только спуститься в низинку, подняться на противоположную сторону, как она открывалась на горочке всеми своими постройками.

Скотный двор по проекту рассчитывали на сто сорок голов, но Руженцев по-хозяйски прикинул, что разместит в нем не меньше ста шестидесяти. Кирпичные столбы шли вокруг силосной башни, держали простенки, врубленные в пазы. Она должна была разгружаться через верхние люки, а корм — подаваться скоту в подвесных вагонетках.

Косарь рубил простенок с Метелкиным, что приходил дополучать деньги. Остальных Волощук не знал.

Работа была в самом разгаре. Изредка то здесь, то там слышалось:

— А ну, подай!

— Руби...

— Не коси, тюха! И так на кривой кобыле тянем.

Косарь собрал артель из первых подвернувшихся под руку отходников. Метелкина и Епиху Сергованцева он позвал по старой памяти, предупредив, что будет за старшего и поэтому заранее оговаривает себе сверх равной доли сто рублей. Сергованцев привел отчима Трифоныча, сразу перепоясавшегося ремешком по лбу, как завзятый плотник.

В порядке надзора Крохалев приезжал на велосипеде с моторчиком и, затеняя шляпой глаза от солнца, неторопливо обходил стройку, приказывая для виду поправить то одно, то другое. Руженцев — невысокий, плотный — прижмуривал кутузовское веко, боялся, что не хватит леса.

— Уж вы поаккуратней, ребята! — просил он. — По-хозяйски рубите, а не тяп-ляп...

— А мы разве не по-хозяйски? — посмеивался Косарь. — Всяку дрянью взбор гоним. Проконопатим — сто лет стоять будет!

— Сто для колхозной стройки не предел, — заверил Крохалев и отправлялся к Руженцеву на яичницу. — Это же не временка какая-нибудь, а капитальный коровник!

Отходники работали от зари до зари. Косарь хватывал после смены в шахте. Ночевали тут же, на сене, застав его кто ряднинкой, кто одеялом, а кто — брошенной одежкой. Руженцев велел зарезать барана; молока и творогу отпускал добавочно.

— Вы ведь у нас на главной магистрали, — напомнил ему Крохалев. — Не куда-нибудь, а в столицу нашей родины — Москву. Значит, и выглядеть надо соответственно.

Яичница скворчала салом во всю сковороду. Руженцев налил по стопке белой и, вскинув кутузовское свое веко, согласился:

— Живем на магистрали, да силёшка не та! Мужиков — раз-два, обчелся. А то бы я разве позволил такие деньжищи из колхоза отдавать.

Похоже было, он все еще внутренне не примирился ни с халтурщиками-отходниками, ни с опекой Крохалева и только не говорил об этом прямо.

— И мы бы вам не разрешили, — ничего не поняв, заверил с достоинством Крохалев. — Мужчин у вас действительно маловато. Для руководства и то не хватает...

Обойдя стройку, Волощук остановился, окликнул на подмостях Косаря:

— Здорóво, работнички аховы!

Тот оглянулся, за словом в карман не полез.

— Ахал бы дядя, на пуп глядя: «Ох, и здоров выдурлся!»

— Ну как? Не надоело еще? — пропустив мимо ушей сказанное, кивнул Волощук. — Или хуже обушка?

— Чудаков работа любит, — отозвался Косарь и, заметив Тимшу, насмешливо бросил: — А-а, и ты явился?

Непонятно, отчего тот обиделся.

— А тебе и являться не надо. Ты весь тут!

Завидев издали стряпуху с обедом, Косарь зычно скомандовал:

— Шаба-аш! Перекур с дремотой...

Оставив топоры в бревнах, отходники стали спускаться вниз. На траве появилась полотняная ряднинка, а на ней — хлеб, ложки, гренки лука и в круглой коробочке из-под монпансье — соль.

Разбитная, моложавая стряпуха налила чуть не вровень с краями общую миску.

— Садитесь и вы, — по-хозяйски пригласил пришедших Косарь. — Чего как инспекция по качеству зыркаете?

— Садитесь, садитесь, — засуетилась стряпуха. — Не объедите! Вот только ложек лишних нету.

С потешной ужимкой Сергованцев предложил свою Тимше, а себе достал из-за голенища металлическую.

— У кого ложка, у того и праздник!

Метелкин смешливо прыснул:

— А у кого две?

Волощuku ложка нашлась у Трифоныча.

Пристроившись рядом с Сергованцевым, Тимша ел не спеша. Хорошо зная, что из общей миски сначала едят без мяса, он старался зачерпывать похлеб-

ку с картошкой, оставляя мясо на после, когда скомандует старшой.

А Волощук, не обращая внимания ни на кого, черпал подвертывавшиеся кусочки баранины, отправляя в рот.

— Хороша похлебка, мамаша! — нахваливал он. — Наваристая!

— Добрый баранчик был, летошничек. На той неделе свежевали...

— Как там, молока отпустили? — спросил у стряпухи Трифоныч и непонятно отчего закашлялся. — С творожком бы...

Миска наполовину опустела. Косарь постучал ложкой по краю, скомандовал:

— А теперь с мясом!

Поперхнувшись, Волощук побагровел чуть не до слез.

— А я и не знал, что у вас по команде, — смеясь, пробормотал он, пытаясь превратить все в шутку. — Хлебал, как в столовке...

— С гостей разве спрос, — охотно выручил его Метелкин.

А стряпуха, вываливая в миску молодую, забеленную простоквашей картошку, извиняюще сказала:

— Теперь уж так редко где едят. Всё больше по-городскому.

После обеда Волощук и Косарь прилегли в холодке под башней, стали разговаривать. Тимша прислушивался, не вступая.

Ковыряя щепинкой в зубах, Косарь выглядел как заправский плотник: рубаха — навыпуск, в волосах — стружки. Волощук хотел дознаться, что он собирается делать дальше.

— Увяз тут? Окончательно?

— Увяз. Скоро простенки возведем, а там всего ничего останется.

Устало потянувшись, Косарь сладко зевнул и с сожалением поинтересовался:

— Значит, не понравилось тебе на отдыхе? А я бы, кажись, поехал, лег и не вставал весь срок!

Работа закипела снова. Хрясканье топоров разносилось далеко. Тесали лес, мшили пазы, все выше, выше выводили простенки. С каждым венцом силосная башня делалась будто ниже. Непокрытая ее макушка калёно поблескивала красным кирпичом.

Волощук сходил со стряпухой, принес два топора. Сидеть без дела он не мог, а в город возвращаться было рано.

— Давай-ка, Тимофей! Мясо из миски рубали, надо отработать.

Выбрав топор полегче, Тимша привычно спросил:

— А что крепить?

— Слыхал, старшой? — засмеялся Волощук. — Шахтера хоть на небеса: «Что крепить?» — спросит.

— Крепите вон тот простенок, — Косарь распоряжался, как хозяин. — Только предупреждаю: не перекосите!

— Лады...

Лес на простенки был нарезан. Оставалось тесать да подгонять его в пазы.

Волощук взялся за дело, забыв, что недавно осуждал Косаря. Топор играючи ходил в его руках, взблескивая и слегка звеня, когда под лезвие попадались кременные сучки. Тягаться с ним было не просто. Пока Тимша подгонял бревно, Волощук успевал два. А когда укладывал их в забор, у него неизменно получалось ровней и плотнее.

— Воду наливай — не потечет! — шутил он. — Вишь, как садится? Будто на шипы...

Хотя работа шла дружно, Тимше все казалось не по себе. В шахте было лучше: никто там не попрекал халтурой, никто не корил, что работают из-за денег. А здесь, чудилось, все, кто шел и ехал мимо, осуждающе оглядывали их.

— Вот хапуги! Мало им шахтерских заработков, так отходничать взялись...

Свой простенок они вывели перед вечером.

— Принимай работу, старшой! — весело крикнул Волощук. — Ну как? Не посрамили шахтерской крепёжки?

— Крепёжка ладная, — одобрил работавший рядом Трифоныч. И, словно давно обдуманное, сказал: — Охота вам, ребята, под землей робить? Шли бы на вольные хлеба.

— Отходники — не работники, — складно ввернул Тимша, ощущая, как гудят натруженные руки. — Далеко им до шахтеров!

— Зато деньги вольные.

— А мы разве из-за денег?..

Подходя к Северному, он неожиданно предложил:

— А что, если мы подмогнем им, бригадир?

Волощука, сдавалось, это нисколько не удивило.

— Косарь не согласится. Да и другие...

— А мы не с ними, мы с председателем договариваться будем, — загорелся Тимша. — Хорошо, если б еще Ненаглядыч согласился!

— Ненаглядыч на халтуру не пойдет.

— Зачем на халтуру? — Тимша сам не знал, как это у него получилось. — Мы им просто так, по-шахтерски, подмогнем. Как шефы!

Волощук словно бы прикинул что-то.

— Без денег? А Косарь с ребятами как же?

— Хотят — пускай с нами работают. А не хотят — мы и одни.

Видимо, он еще не представлял себе, как это получится. Но Волощук вспомнил о Крохалева, об отделе строительства. Никто, конечно, не мог им запретить помочь колхозу, скорее даже — наоборот.

— А что, — усмехнулся он, представив, какая физиономия будет у Крохалева, когда тот узнает об этом. — Давай завтра с Ненаглядычем потолкуем.

— Давай, бригадир! — обрадовался Тимша и, как само собой разумеющееся, заверил: — Вот увидишь — против не будет. После смены сам с нами пойдет...

Ослепительно светили фарами на магистрали машины. Где-то пели девчонки: голоса их — тоненькие, знобкие — бродили вокруг стройки, мешали спать намаившимся за день отходникам. Трифонич трубно гудел носом. Оттуда, где лежали Сергованцев и Метелкин, слышался приглушенный смешок.

— Бросьте огнем баловать! — крикнул им устроившийся по другую сторону Косарь. — Сколько раз говорить?

Алевтина сидела рядом с ним, шепотом уговаривала проводить ее. Она все еще надеялась на что-то, бегала к нему сюда, носила гостинцы и частенько забывала о детях.

— Пойдем, Феденька! Ну, не сопи ты, ей-богу, как старик...

Зевая, Косарь с трудом удерживался от неодолимого желания зарыться головой в сено. Не до провожанья было после долгого, нелегкого дня на подмостях, на жаре.

— Спать прямо невмоготу хочется...

— Да ну-у! Слышишь, как девки поют? А луна... погляди только. Хоть через щелочку.

— Поздно уже, — зевая снова, бормотнул Косарь. — И завтра на подмости... чуть свет!

— Проводи, Феденька! Ну что ты, право слово, как не в себе?

— И одна дорогу зна-ашь...

Обижаться на него было бесполезно. Алевтина, посмеиваясь, щекотнула его, не давая заснуть. Косарь мотнул головой, отбился. Наконец, лениво поднявшись, сказал:

— Пойдем, что ли. Кому — спать, а кому — гулять.

Метелкин и Сергованцев захихикали снова. Но он сердито прикрикнул:

— Спите, черти! И чтоб огнем не баловали, а то до срока спалите...

— Иди, не бойся, — рассудительно отозвался Метелкин. — Да не очень загуливайся, завтра будешь носом щепу клевать.

— Не твое дело, — сгрубив по-обыкновению, Косарь обнял Алевтину, шагнул в лунный проруб дверей. — Пошли! Нечего с ними балясы точить.

Луна стояла в южной половине небосклона и светила так, что можно было подбирать иголки. Не об этом ли пели девчонки за магистралью?

Едва заметная дорожка вела в ту сторону, но Алевтина прильнула к Косарю, увлекла его подальше. Кустарник пахнул духмяным березовым листом, от которого начинало хмельно стучать сердце и как на полке кружилась голова.

— И когда эта халтура кончится? Света белого не видно!

— А что тебе? — зябко поёжился Косарь. — Твое дело шалавое: пришла, получила, что хотела и в обрат.

— Сам ты шалавый, — обиделась Алевтина. — Другой бы хоть не срамил перед чужими.

— Ничего, они ребята понимающие. Это не осуждают.

Придерживая пиджак, Косарь шел сам не зная куда. По правде, работа надоела и ему. Две с половиной тысячи, что получают за нее, он мысленно распределил уже так: по пятьсот пятьдесят — каждому, да себе за старшинство — еще сто. Остальные, как уговорено, — Крохалеву. Без него бы дело не сладилося — ни в отделе строительства, ни в исполкоме.

Об этом Косарь не жалел. К тем деньгам, что у него были, шесть с половиной сотен — прибавка порядочная. Лежали они у него в сберегательной кассе; дома, в сундуке, он хранил только книжку да кое-что на расходы.

«Прошло, видно, время, — с сожалением думал он, — когда заработки были тысячные. Теперь не то!»

Алевтина терпеливо ждала, когда о ней вспомнят, и, не дождавшись, потянулась к нему сама.

— Ну что ты, как истукан какой? Слова не добьешься!

— А какие тебе еще слова нужны? Люблю, страдаю; вы мне поверьте...

— Да ну-у! Кто этим вашим словам теперь верит? — она потянулась, хрустнула пальцами. — Видал, как бабы мимо шныряли? Тебя высматривали...

— Делать мне на подмостях нечего, что ли?

— Ох, не вмоготу, Федя!

Найдя его руки, Алевтина завладела ими, стиснула, точно искала сочувствия тому, что мучило. Начи-

налось это у них всегда по-разному, а кончалось обычно.

— Дружок мой, Лаврен, от меня переметнулся, — вспомнил он. — Их-то — трое, а я — один.

Алевтина нехотя отозвалась:

— Не все равно тебе? Пускай переметывается...

— Ничего ты не понимаешь, — рассвирипел Косарь. — Кроме бабьих своих охов да ахов!

И, надев пиджак, вывел ее к магистрали. Девчонки на той стороне всё еще пели — на этот раз о взгрустнувшей рябинушке, белых ее цветах.

Остановившись, зябкая в бледном свете месяца, Алевтина ожидающе спросила:

— Что ж не скажешь ничего? На дорожку, на прощанье?

— Не ходи ты больше, — хмурясь, попросил Косарь. — Скоро кончим, тогда уж...

— И не приду, не приду, — не скрывая боли, бросила она. — Можешь тут с деревенскими сколько хочешь!

Осклабясь, Косарь поглядел ей вслед, закурил и, потеряв из виду в призрачном мареве ночи, вернулся на стройку. Заржавелая какая-то была у них любовь, хотя вроде и не полагалось бы ей ржаветь, — да что поделаешь.

25

Не полагалось ей, любви, ржаветь, да ничего не поделаешь — поржавела. Опасался Косарь не зря. Дружбе тоже, видно, пришел конец.

Решив догулять отпуск в колхозе, помочь на

стройке, Волощук дождался возле бухгалтерии Ненаглядова, отвел в сторонку. Тот даже не удивился.

— Неужто сбежал? Из дома отдыха?

— Как видишь, Ненаглядыч. Давай смену собирать?

— Да ведь Косарь гуляет еще...

— Были мы вчера там, где он гуляет. И надумали сами, — не решаясь досказать отвердевшее, Волощук запнулся, глядя на Ненаглядова.

Не догадываясь ни о чем, тот осуждающе махнул рукой.

— Завяз, значит, в халтуре. Ну что ж, пускай, как говорится, на себя пеняет! Мы и без него. Трое — есть, четвертого — найдем.

— Да нет... Артем Захарыч, — Тимше захотелось объяснить, в чем дело, но Волощук взялся все-таки сам.

— Надумал я отпуск в колхозе догулять, — признался он. — Помогу подшефным скотный двор построить.

Ничего не поняв, Ненаглядов озабоченно вскинул заседевшие брови.

— Там же, говоришь, Косарь с дружками халтурит.

Тимша не вытерпел:

— Бесплатно, Артем Захарыч. Пойдешь после работы?

Ненаглядов немного растерялся. По правде, он собирался отправить Марфу к дочке в Щекино, а сам мечтал заняться птицами.

Волощук поторопился объяснить:

— В порядке шефской помощи. А халтурщики пускай на себя обижаются.

— У них же небось договор с колхозом? — вспо-

мнил Ненаглядов. — Неладно так. Надо в шахтконе поговорить...

Гуркин встретил их, как всегда, занятый чем-то по горло. Откровенно говоря, у него своих забот невпроворот, а тут еще с чужими. Когда Тимша и Волощук объяснили, в чем дело, он только подмигнул Ненаглядову:

«Видал, дескать? Из молодых да ранний! И звеньевого подбил...»

— Помочь им, конечно, неплохо бы, Роман Дмитрич, — поддержал тот. — По-шефски.

— А где ж ваш четвертый... Косарь, что ль?

— Он уж давно там.

— Помогает, — усмехнулся Тимша. — За тридцать тысяч!

— Опять, значит, в халтуру ударился? — словно упрекая их в этом, сказал Гуркин. И тут же напомнил: — Плохо вы его тогда вразумили, видать!

Тимша хотел сказать, что Гуркин сам же обещал выяснить все и не довел до конца, но вовремя удержался.

— Нам бы вместо Косаря кого другого.

— Не выйдет. И так большая текучесть в смегах.

Волощук понял: лучше действовать в открытую. Зная, что возражение Гуркина — только видимость порядка, он по-бригадирски объяснил:

— Роман Дмитрич, мы не в порядке текучки.

— А как же?

— Мы по идейным соображениям.

— А что, — снова поддержал Ненаглядов. — Без хватарей обойдемся!

Подумав, Гуркин решил:

— Ну ладно. Полови пока рыбку в Днепре,

а я потолкую с кем следует. Все-таки и с халтурщиками не так-то просто... понимаете?

— Понимаем, — подтвердил Волощук. — Вот только рыболов из меня не получится. Не умею я хвостом у берега вертеть!

Через день все было согласовано. После работы, взяв инструмент, Тимша, Волощук и Ненаглядов отправились в колхоз.

Руженцев уже ждал их. К стройке они подошли молча, словно боясь нарушить значительность происходящего.

Завидев их, работавшие переглянулись. Трифоныч устало разогнулся, а Сергованцев и Метелкин смешливо фыркнули — не то над ним, не то еще отчего-то.

— Старшой, слазь-ка! — повелительно окликнул Руженцев. — Потолковать надо...

— Об чем еще? — настоярился Косарь. — По графику: все разговоры — вечером, после шашки.

Руженцев вскинул кутузовское свое веко.

— Кончилась ваша шашка, — словно давая волю прорвавшемуся, сказал он. — Слазьте все!

Косарь еще в воскресенье сообразил, что Волощук и Тимша приходили не зря. Боялся, попросят в артель, а выходит — просят самого. Не зная, что делать, он слез с подмостей, хмуро поздоровался со всеми.



— Ты, часом, не того, Яков Никифорович? Работать надо. Сам знашь — время не ждет.

— Кончилось ваше, — сдержанно проговорил Тимша. — Давай теперь с нами. Если хочешь, конечно...

— А мы куда? — крикнул Метелкин, уразумев, что их бросают на произвол судьбы. — Мы эту работёшку застолбили первые.

Но Руженцев держался непревратно.

— Всё, всё, — не допуская возражений тоном сказал он. — Теперь будут работать шефы. А вы — получите, что причитается, и до свиданья!

Негнувшись пальцами Трифоныч развязал ремешок, поддерживавший волосы. Седые, редкие, они рассыпались по иссеченному морщинами его лбу.

— Как же так, старшой? Рядились плотничать мы, а теперь будут другие.

— Хозяин — барин, — криво ухмыльнулся Косарь. — Ничего не попишешь.

— А чего тут еще, — обрадовался Сергованцев. — Давай расчет, председатель! На свои руки найдем мўки.

Руженцев вздохнул:

— Придется прежде составить акт. — И спросил у Волощука: — Кто от вас в комиссию?

— От нас? — повторил тот. — Ненаглядов от нас. Артем Захарыч.

— А от вас? — обернулся к отходникам Руженцев.

— Я, — поторопился Косарь. — Кто ж еще? Я и в строительном отделе рядился.

Остальные почувствовали себя вроде бы обойденными. Они и раньше не очень-то доверяли Косарю, а теперь и подавно.

— Надо бы Трифоныча, — предложил Метелкин. — От нас, значит.

— Хорошо, пускай Трифоныч, — согласился Руженцев. — Давайте прикинем: сколько дней вы работали?

Тот для верности пересчитал по пальцам.

— В позапрошлу субботу зачинали. Сегодня — четверг. Двенадцать дён получается.

— Двенадцать так двенадцать. Пройдемте, зафиксируем, что сделано, а потом — в правление, составим акт.

Пока комиссия обходила стройку, прикидывала сработанное, Тимша и Сергованцев разговорились. Они и прошлый раз чувствовали вроде бы влечение друг к другу.

— Ты разве тоже у нас на девятке работаешь? — откровенно полюбопытствовал Тимша и поудобней устроился на сваленных возле стены бревнах.

— Не-ет. Я в резерве главного командования, — Сергованцев засмеялся, блеснул белыми, на редкость ровными зубами, делавшими его особенно привлекательным, свойским парнем. — Слышал про такой?

— Да ну-у...

— А еще, говоришь, шахтер. Никогда, значит, в прогульщиках не состоял.

— Не приходилось, верно.

Тертый, бывалый, Сергованцев перепробовал многое, но ни в чем не нашел призвания. Тимша вспомнил, что Ненаглядов определял таких уничтожающе:

— Пусторои!

Он знал: одних — увлекают заработки, других — завораживает красота труда, третьи — стремятся к хорошей и почетной профессии на всю жизнь, чет-

вертые — любят технику. А пустороям было все равно, что ни делать, где ни работать.

— А ты давно в шахте? — поинтересовался Сергованцев.

— С весны. После училища.

— Не надоело?

— Ну, что ты!

— А куда германий идет, знаешь?

Вспомнив тускло-посвечивавшие прожилки в пласте угля, Тимша прикинулся незнайкой:

— Какой германий?

— Германий — редкая земля.

— Не-ет. А куда?

— Много будешь знать, — насмешливо посулил Сергованцев и все-таки не удержался: — На производство боеголовок! И еще...

Тимша удивленно остановил его:

— Это же дело военное. Откуда ты знаешь?

Недолго думая, Сергованцев брякнул:

— Люди брешут! И я с ними...

Можно было осуждать его, можно было ругать, но за что купил — за то он и продавал. Германия в шахтах попадалось ничтожное количество. То ли такой уж редкий это был элемент, то ли бедны им здешние места — кто знает.

Тимша не раз мечтал о том, что хорошо бы обнаружить его в новом месторождении. Не признаваясь в этом никому, он приглядывался к пропласткам углей, которые вскрывал комбайн, и, как учил Ненаглядов, старался видеть то, чего не замечали другие.

«Разведать и рубать комбайном! По всему пласту...»

А Сергованцев преподнес ему снова:

— А сколько начальник шахты получает, представляешь? — спросил он без всякой связи с тем, о чем только что говорилось. — Небось на житуху хватает? Безбедно!

Никто из них, оказывается, даже не задумывался о том, сколько получает начальник шахты или главный инженер. Но Сергованцев и тут был на высоте.

— Побольше двух косых, — убежденно заявил он. — Нам с тобой нипочем столько не отломить!

— А ты почему подался в отходники? Сам?

Тимша боялся, что Сергованцев обидится, но тот и не подумал.

— Тут я сколько ни схвачу — мое, а там — неизвестно еще кому достанется. Робят-то на один счет...

— Пусторой ты, — беспощадно резанул Тимша, как и Ненаглядов, вкладывая в эти слова всю силу презрения не только к Сергованцеву, но и ко всем ему подобным. — Пусторой и халтурщик! Больше ничего...

— Вы не халтурщики, — весело усмехнувшись, хмыкнул тот. — У нас же хлеб отбили. За сколько?

— Что... за сколько?

— Сколько, говорю, сорвать наладились? С колхозничков?

Тимша растерялся. Краска медленно подступила к его щекам.

— Не меряй по-своему, — запальчиво бросил он, думая о том, что кто-нибудь и в самом деле может поставить их на одну доску. — Мы с колхоза, если хочешь знать, ни копейки! Мы по-шефски...

Забыв обо всем, Сергованцев выплюнул изжеванную травинку. Услышанное не укладывалось в его сознании.

— За здорово живешь? И старшой... тоже?

— Конечно, — подтвердил Тимша. — Он же в нашей смене.

Веря и не веря услышанному, Сергованцев сорвался за Метелкиным. До этого он еще надеялся, что все окончится ничем. Как они работали, так и будут работать, а пришедшие поглядят-поглядят и убеются восвояси.

Пока в правлении оформляли акт, Волощук с Тимшей приступили к работе. Бревна для простенков приходилось тесать, поднимать на подмости, укладывать взбор. Вдвоем — несподручно, как ни прилаживайся.

Ненаглядов пришел только перед вечером. Утираясь рукавом, пожаловался:

— Ох и колотырники! Еле рассчитались...

— А где Косарь? — поинтересовался Тимша. — Вдвоем несподручно.

Рассмеявшись, Волощук напомнил:

— А помнишь в шахте: «Мы втроем, — уверял, — без четвертого...»

— Тут вручную, — пожаловался он. — А в шахте — комбайн!

Взяв топор, Ненаглядов, кряхтя, полез на подмости.

— Косарь еще со своими хороводится. Услыхал, что мы — бесплатно, и не знает: то ли с нами, то ли с халтурщиками куда?

— Ничего, — осаживая обухом бревно, сказал Волощук. — Явится!

— На постой нам председатель целую избу отвел, — вспомнил Ненаглядов. — Как на курорте! — И, принявшись за дело, скомандовал Тимше, как в шахте: — Подавай крепёж! Солнце вон где...

Косарь действительно явился, получив, что при-

читалось и до копейки расплатившись с отходниками. Не забыл и того, что полагалось себе.

Когда Ненаглядов, Волощук и Тимша пришли со стройки, он сидел за столом в отведенной избе и, хватив, видно, стопку-другую, ожидал их.

— А-а, дружки-приятели? На радостях по маленькой...

Ненаглядов отказался:

— Я не буду.

— Идейность не позволяет? — захохотал Косарь. — А ты, Лаврен?

Волощук замялся.

— И я, понимаешь. Вроде зарок дал.

— Брезгуете, значит?

Оскорбленно плеснув из бутылки в стакан, он поднялся.

— Ну лады! — и стал рассказывать: — Председатель жмот до сё с расчетом волюнил: «Экие деньжищи!» А я: «Нас, шахтеров, деньгами не удивишь. Мы их в забое не такими тысячами отваливаем!»

— С дружками рассчитался? — вспомнил Волощук. — Или опять с жалобами явятся?

— Не бойся, всё честь по чести, — Косарь налил себе еще и, выпив, нагловато спросил: — А вот, что мне теперь с вами делать? Жаловаться или как?

Тот не понял:

— О чем ты?

— Будто не знашь? Не ожидал я от тебя, Лаврен! Думал, дружок верный, а ты... с ними.

Настало время сказать все, что думали о нем, о халтуре. И Тимша горячо ввязался:

— Нет уж! Позорить смену мы не позволим. Никому...

Косарь, видно, ждал этого.

— А ты, звеньевой? Заодно с клювышем этим? Которого мы с тобой...

Волощук промолчал.

— Спускали мы тебе всякое, а теперь довольно, — жестко подтвердил Ненаглядов. — Или работай, как все, или уходи.

— Куда?

— В резерв хватарей, — не удержался Тимша. — К Сергованцеву!

Будто сразу охмелев, Косарь ахнул стаканом по столу, порезал руку.

— Ну и черт с вами! Я бы и сам...

Вытерев краем скатерти кровь, он схватил пиджак и ожесточенно брякнул дверью. Волощук неторопливо подобрал, выбросил осколки.

— Ничего, перекипит. Когда-нибудь надо было сказать...

26

Когда-нибудь нужно было сказать, что дружба кончилась. А может, она и не начиналась, а кончилось то, чему пришло время: показному шалыганству, попойкам, равнодушию ко всему вокруг.

Вернуться к тому, что было, Волощук уже не мог, как не мог дружить с Косарем или собирать этикетки от выпитого, — будто увидел однажды словно бы со стороны самого себя, Косаря и все, что их связывало.

Правда, он надеялся еще, что заставит его одуматься, сделает человеком.

«Не будь бы халтуры, наверно, и Косарь был бы такой, как все, — думалось ему. — Все-таки, когда

хотел, работать он умел, а что гонялся за деньгами, так кто их не любит?»

Не таясь, Волощук решил сказать об этом Ненаглядову.

— Сдается: впустую мы тут топорами клюем, — признался он на завтра, когда тот с Тимшей пришел после обеда на стройку. — Думаю, думаю, а всё без толку.

— Как это впустую? — удивился Ненаглядов. — Гляди, чуть не все простенки вывели, скоро на стро-пила сядем!

— Да я не про то. Самый главный объект из рук упустили.

Кажется, Ненаглядов понял, о чем он, но не высказал прямо.

— Это как глядеть. Своего ума никому не дашь.

— Конечно, — невесело согласился Волощук. — Но и бросать товарища на произвол тоже...

Ненаглядов вроде не ставил перед собой такой задачи. Помочь колхозу — само по себе было хорошо, а что будет достигнуто еще, его, по совести, не занимало. Да и к Косарю он относился не так, как Волощук, — то ли поставил на нем крест, то ли помнил давешний разговор о геройстве.

— Нянчились мы с ним, как с дитём, — напомнил он. — А вышло все равно непутем. Что ж ты надумал?

Изморщив лоб крупными, тяжелыми складками, Волощук подогнал бревно, стал мшить сверху. Сдавалось, до этого он еще и сам не знал, что делать, а теперь решил:

— Схожу сегодня домой. Попробую еще раз...

— Сходи, — согласился Ненаглядов. — Пускай потом не обижается, что не старались помочь.

За ужином, узнав, что Волощук идет в Северный, Тимша сразу догадался:

— Косаря уговаривать, бригадир?

— Косаря.

— Не много ли чести?

— Что ты понимаешь? Разве в том честь, чтобы товарища на произвол бросать?

Не найдясь, что возразить, Тимша обернулся к Ненаглядову, но увидел — тот целиком на стороне Волощука.

«Может, и уговорит, образумит, — подумалось ему. — Дружки ведь они. Неужели Косарь не понимает — нельзя ему одному?..»

Завтра им с Ненаглядовым нужно было выходить во вторую смену. Волощук ушел, а они остались.

Наклевавшись топором за день, Тимша едва держался на ногах. Послушав, как поют за магистралью девчонки, он завалился спать, а ночь — светлая, завораживающая, каких немало в земляничной середине лета, высыпала все свои звезды на синюю ряднину неба, завешивавшую окна, и луна светила так, что на крыльце можно было читать газеты.

«Пускай уж, до субботы, — отрешенно подумал Тимша. — Я свое отгуляю...»

Против обыкновения заснул он сразу и не помнил себя до той поры, когда Ненаглядов перевернул его навзничь.

— Вставай, Тимоша! Чего вроде ежа скручиваешься?

Сам он будто и не ложился — те же мешки под глазами, что и с вечера, а в руках — жестянка с нюхательным табаком. И озабоченность та же, что вчера, словно не своею волей он здесь, а поставлен

кем-то и должен будет отчитываться не только за себя, а и за то, что сделано, что не сделано.

— А бригадир? — спросил, поднимаясь, Тимша. — Я бы на его месте ни за что не пошел.

— Это, брат, самое легкое, — Ненаглядов предпочитал завтракать не сразу после подъема, а немного погодя, поработав, размявшись. — Пойдем-ка! Скоро Лаврен явится...

На отсыревших подмостях все то же: мох, обрезки, щепы. Простенки поднялись чуть не вровень с силосной башней. День ото дня скотный двор принимал законченный вид. Оставалось уложить стропила да накрыть крышу. Оборудование было давно заказано, и Руженцев ждал, когда можно будет устанавливать.

Все, кто ехал по магистрали, оглядывали новый скотный двор — круглый, на кирпичных столбах, с силосной башней в середине. Тимша невольно старался выглядеть как заправский плотник.

«Нелегко работать, а хорошо! — радовался он. — В шахте кто ни спустится, пойдет к Большому Матвею — нашим штреком. Мы уж черт-те где будем, а там все равно скажут: «Волощукова смена вела! Их штрек!» И здесь: достроим, уйдем, а кто ни спросит — ответят: «Шефы строили! Лаврен Волощук со своими ребятами...»

Он загорел, раздался в плечах, стал вроде бы крепче и впервые в жизни чувствовал себя действительно словно на курорте. Продуктов Руженцев им не жалел, а стряпуха подкармливала Тимшу, как сына:

— Ешь, ешь! Тебе еще расти, не то, что нам...

Вернулся Волощук один. Косарь работать отказался наотрез.

Ненаглядов сразу догадался обо всем, даже не стал расспрашивать.

— Давай-ка, Лаврен, лес на стропила отберем! Доходит черед и до них.

— Давай, — охотно согласился тот, ничем не выказывая, что удручен неудачей. И, только отойдя душой, признался: — Ничего ведь из моей затеи не вышло...

— Не уговорил?

— Какое там? «Ищите, — твердит, — дурней себя! А я на всех не работник».

Ненаглядов помрачнел.

— Ну лады. Турнем его из смены... раз такое дело.

— Он уж сам турнулся. В лесогоны.

— Черт с ним! Не переживай.

— Да разве я переживаю. Дружбы жалко.

— Пускай жалеет тот, кто один остается. А мы еще себе не такого пустороя найдем.

К тому, что случилось, они больше не возвращались, но все-таки переживали его каждый про себя и по-своему. И Тимша не расспрашивал — то ли не ожидал ничего другого, то ли удовлетворился тем, что оказался прав.

Пока они полудновали, возле стройки очутился Крохалев. Велосипед с моторчиком оставил в проеме для ворот — запылившийся, с седлом набекрень.

Завидев возвратившегося Тимшу, с начальнической строгостью спросил:

— А где старшой?

— Какой старшой? Косарь? — рассмеялся тот. — Так он давно в лесогонах... фью-у!

Поняв, что произошло непредвиденное, Крохалев сбавил тон:

- В каких еще лесогонах? Что ты выдумываешь?
- В самделе... на девятке лесогонит!
- А Сергованцев? Метелкин?
- Эти, наверно, еще где.

Вскочив на седло, Крохалев запустил мотор. Застрекотав как кузнечик, велосипед юркнул на тропку к правлению. Застегнутая булавкой штанина выехала, вот-вот могла попасть в передачу.

Подошел Волощук.

— Чего он тут крутился... техник этот?

— Старшего искал.

— А ты что?

— Лесогонит, говорю, твой старшой. На девятке.

Вздохнув, Волощук взялся за топор. Лицо его было озабоченно по-прежнему.

— К Руженцеву в правление свернул. Ну, теперь заварится?

Тимша смешливо фыркнул.

— Ох и франт!

— Вот те и франт... самое главное начальство.

Как он и предсказывал, Крохалев снова появился на стройке в сопровождении Руженцева. Велосипед вел как бычка за рога, делал вид, что в высшей степени недоволен всем, что видит вокруг.

— Буданский... не отдел строительства! Вчера — одни, сегодня — другие халтурщики. Так техническое руководство осуществлять невозможно.

— Ну, ты полегче, — предупреждая бросил ему с подмостей Волощук. — Не засоряй воздух!

Руженцев попробовал объясниться по-хорошему:

— Это наши шефы. По согласованию с горкомом партии...

— Шефы, шефы, — перебил Крохалев и ткнул ру-

кой простенок в двух-трех местах. — Разве так работают? Куда это годится?

Бревна в простенке горбились, выпирали. То ли неровный попался лес, то ли так уж тяп-ляп его срубили.

— А это как раз Косарь с Метелкиным партачили, — узнал Ненаглядов. — Мы и в акте отметили.

— Знать ничего не хочу, — непрекаемо заартачился Крохалев. — Переделывайте. Иначе не приму...

— Ну, что уж теперь, — по праву хозяина попытался уговорить его Руженцев. — Зачистят и ладно. Не перебирать же половину простенка.

— Нет-нет, — Крохалев то ли срывал раздражение, то ли в самом деле решил не снижать технических требований. — Перебирайте немедленно!

Волощук плюнул и, поддевая топором бревно за бревном, стал расшвыривать злополучный простенок.

— А ну, берегись — зашибет!

Сорвавшееся бревно с глухим стуком упало на землю, покатилося под ноги стоявшим. Крохалев отскочил и, ни слова не говоря, бросился назад в правление.

— Сегодня — одни, завтра — другие, — ворчливо повторял он по дороге. — А отдел строительства? А договор?..

Он ждал, что Руженцев, как обычно, позовет его на яичницу, чтобы замять случившееся, но тот и не подумал. Кутузовское веко хмуро прикрывало правый глаз, на губах застыла брезгливая, невеселая усмешка.

— Договор побоку, раз такое дело, — отозвался он. — А нового не нужно. Шефы и без него...

Простенок перебрали. Пока Волощук с Тимшей исправляли чужую работёшку, Ненаглядов тесал стропила.

«Вчетвером работалось бы куда быстрее, — думал Тимша. — Как никак, в две пары. — И костерил Косаря: — Хапуга! Сколько ни старались, а верно — черного кобеля не отмоешь...»

Словно чувствуя это, Волощук отмалчивался, делал вид, что ничего не произошло. До вчерашнего он еще надеялся — Косарь, как всегда, подурит-подурит и одумается. Дружба его, хотя и не давала ничего, но Волощук искренне жалел, что тот откололся, ушел из смены и вряд ли вернется снова.

— Не надо, бригадир, — видя, что Волощук все еще не сладит с собой, попытался утешить Тимша. — Никудовый он друг-товарищ! Чего жалеть?

Сам того не желая, он нечаянно задел не отболевшее.

— Зелен ты еще, ежели так рассуждаешь, — оборвал его Волощук. — Мало штыбу нюхал...

— Да ведь мы же за коммунистическое звание боремся, — нисколько не обиделся тот. — А Косарь у нас вроде хомута.

Все это было справедливо и тем не менее ни в чем не разубеждало. Волощук и сам сказал бы так при необходимости.

— Тебе он — хомут, а я с ним не один день, — тоскливо вспомнил он. — И во время аварии вместе...

Давнее увлечение бригадиром не мешало Тимше видеть в нем и другое — бесхарактерность по отношению к старому другу, точно Волощук боялся, что, потеряв его, потеряет вдруг такое, чего не найдет ни в ком другом. Хотелось от всей души помочь ему, но как — Тимша не знал.

«Сам себя не предложишь, — думал он. — Неизвестно: почему одного любишь, готов с ним хоть на край света, а с другим и встретиться муторно...»

Ненаглядов кантовал стропила и, казалось, был далек от того, что их занимало. Топор его звенел и звенел — переливчато, ручьи́сто, будто и впрямь под старой, раскидистой березой пробился вдруг чистый, звонкий родничок.

— Ну, как у вас? — оглянулся он. — Скоро перепартачите?

— Кончаем, — отозвался Волощук. — Глянь-ка: как теперь?

Оставив топор, Ненаглядов подошел, прищурился. Без каски, широколобый, лысоватый, он выглядел моложе, чем в забое.

— Лучше некуда! Любой бык-производитель подойдет, боднет: «Вот это шефы!»

— А нам только б его ублажить, — засмеялся Тимша и, соскочив с подмостей, побежал в тенек, где стояла деревянная корчажка с водой. — Ох, пить хочется! После толченки, что ль?

Все время, пока они ставили стропила, настилали решетник и крыли щепой силосную башню, его не оставляло удивительное, трепетно-будоражащее чувство. Казалось, он глядел на все вокруг совсем другими глазами, видевшими не только то, что все, а и невидимое им.

«Ой и здóрово! — не утихая, радостно звенело в нем это чувство. — Работаем! Кроем крышу! Хорошая у нас смена, самая передовая! Бригадир — настоящий шахтер, а Ненаглядыч — Герой труда. Орден Ленина и Золотую звезду так, ни за что, не дают...»

Выстилая в ряд щепу по решетнику, Тимша про-

шивал ее проволокой, прибивал, как положено, гвоздями и перелезал выше. А в душе ликовало по-прежнему.

«Косарей-хватарей из смены вон! По-шефски — колхозу подмогли и ни копейки не взяли. Ненаглядыч с Волощуком сказали: «Ну и придумал же ты, Овчуков! Пойдем в шахтком к Гуркину, без него — нельзя». А Гуркин, как всегда, только сделал вид, что понимает, а в самделе ничего не сообразил. «Погодите денек-другой, половите рыбку в Днепре, я согласую...»

Проходившие мимо девчонки что-то кричали снизу, махали граблями. Ненаглядов, усмехнувшись, тронул Тимшу за ногу — босую, загорелую, цепко упершуюся в выстланный ряд.

— Оглох, что ль?

— Чего?

— Не видишь: щепка кончается! Ну-ка, подбрось...

Тимша нехотя спустился на подмости. Голова высунулась из неприкрытого решетника — стриженная, с запеченным носом и широко раскрытыми, щедро зачерпнувшими нестерпимо-густой небесной сини глазами.

— Мастерок! Мастерок! — наперебой кричали девчонки. — Приходи сегодня на вечерку...

— Умойся, приоденься!

Ни с того ни с сего он прикинулся простачком:

— Не троньте. А то мамке скажу.

Они дружно рассмеялись, пошли дальше. А одна, озорница, приотстала, оглянулась.

— Тебя как звать-то... маленький?

Дурашливо сморщившись, Тимша метнул:

— Забыл, бабушка! Поп крестил, отец растил, а кто в шахту спустил — и сам не знаю...

Сам не зная, Дергасов только напортил себе. Чаще всего люди, совершившие те или иные проступки, хоть и с трудом, но осознают их. А он не осознал ничего.

Все шло бы своим чередом и, возможно, окончилось бы как обычно — ничем, но после очерка в газете Дергасов явно переоценил себя. Он еще собирался жаловаться, доказывать свою правоту, искал сочувствия и поддержки у Костяники, а тот только отводил глаза в сторону.

— Самого, брат, обложили. Как медведя...

Приказу о переводе в сменные инженеры Дергасов не хотел и подчиняться.

— Что ты посоветуешь? — будто в самом деле нуждался в советах, спросил он. — Подскажи, Михалыч?

— Да что тебе подсказать? Поработай, переждем. А там видно будет.

— А кто вместо меня? — ревниво поинтересовался Дергасов. — Только бы не Никольчик!

Костяника усомнился:

— Ну, вряд ли? Не его это профиль...

— И я вроде тебя думал. А теперь вижу — не зря он мне подножку.

Костяника достал немецкие свои сигареты и, уже не предлагая ему, закурил. Говоря о медведе, он действительно ничего не преувеличивал.

— Съезди в трест, — поглядывая сквозь дымок на бывшего своего главного инженера, наконец подсказал он. — Нельзя же так! Даже не вызвали перед приказом... ни тебя, ни меня.

— А я думал: тебя вызывали, — Дергасов знал,

что Мозолькевич вряд ли переменит свое решение, но съездить в трест, конечно, следовало. — Пойду попробую дозвониться.

«Пойди, пойди, — вздохнув, подумал Костяника. — Не очень-то с нашим братом считаются. А после того, что случилось — тем более...»

Мозолькевич оказался не один и настроен совсем не под стать собственному приказу. В кожаном кресле возле стола сидел и пил минеральную воду Рослицкий, все в той же прорезиненной куртке на молниях и синем берете на заграничный манер.

— «Джермучку»? — радушно предложил Мозолькевич и Дергасову. — Перед обедом...

Тот отказался:

— Спасибо.

«Вот жизнь, — подумалось невольно. — Сидят, водичку попивают! В шахтоуправлении весь день ни охнуть, ни вздохнуть, а тут никакой гонки. — Дергасову всегда казалось: чем выше должность, тем больше свободного времени, можно заниматься чем хочешь, но только не добычей, компрессорами и черт те чем еще. — Недельку бы так поработать, — мечтал он. — Да что недельку...»

Командировку Рослицкого руководство «Гипроугля» сочло удачной, выступление его в газете понравилось. Ему было поручено обобщить опыт работы с новаторами в Углеграде и написать об этом брошюру. Волей-неволей пришлось приехать сюда еще раз, хотя он и избегал появляться в каком-либо месте дважды.

Мозолькевич уже рассказал ему о том, что Дергасов переведен в сменные инженеры. Оставив недопитый стакан и поздоровавшись, Рослицкий посоветовал:

— Ничего, уголь черен, да горняка не чернит!

— Особенно в тоннеле, — через силу улыбнулся ему Дергасов и обратился к Мозолькевичу: — Борис Алексеевич, я хотел поговорить с вами по...

Зазвонил телефон. Не ответив, Мозолькевич взял трубку, стал разговаривать с кем-то, время от времени задумчиво переставляя стакан с места на место.

Воспользовавшись паузой, Рослицкий снова обернулся к Дергасову. Как-никак, а его «Тоннель к углю», видимо, запомнился.

— Читали? — не отказал он себе в удовольствии спросить. — Ну как?

— Читал...

Не сразу найдя, что сказать, Дергасов замялся. Желая помочь ему, Рослицкий напомнил:

— А что говорят шахтеры?

— Приходите послушайте. — И, вспомнив, что говорили Шаронину проходчики, Дергасов прибавил от себя: — Говорят: «От статей дети не родятся!»

— Что это значит? — переменился в лице Рослицкий. — Не понимаю.

Дергасов не смягчил ничего.

— То, что слышите!

Приладив пробку поплотней, чтоб не улетучивался газ, Мозолькевич отставил бутылку и, словно собравшись с силами, сказал:

— Ну? Слушаю вас...

— Борис Алексеевич, — когда надо было Дергасов мог прикинуться кем угодно. Увидев Рослицкого, он решил, что ни за что не останется на Соловьишке, но пока приберегал это про себя. — Вы же знаете: любой мог оказаться на моем месте. И любой...

— А я разве вас виню? — пожевал губами Мозолькевич. Должно быть, нёбо у него еще щипали

взрывчатые пузырьки анионов и катионов. — Но что случилось, то случилось: оставлять вас там главным инженером больше нельзя. Понимаете?

Дергасов молчал.

— А к тому же еще эта глупая выходка... в шахте. Как вы могли так сорваться, Дергасов? — вспомнив снова все, Мозолькевич не знал, что и сказать. — Может, и обошлось бы еще, а теперь, ей-богу, не знаю. Не знаю и не поручусь! Хорошо хоть Василий Павлович Буданский старается помочь. Иначе совсем бы...

Дергасов догадывался об этом. Иначе действительно ему бы пришлось еще хуже.

— Да ведь обидно стало, Борис Алексеевич, — в меру откровенно признался он. — Ни за что они на меня. Честное слово!

— Обиду вы спрячьте. На работе не до обид, — поморщился Мозолькевич. — А нонгратировать¹ вас, как любят говорить дипломаты, сейчас самое время.

Толком не поняв, что значит это слово, Дергасов постеснялся спросить, обнаружить свою необразованность, зная пристрастие Мозолькевича к подобным выражениям, как бы приподымавшим его над жизненной обыденщиной. Считая необходимым спасти Дергасова от более серьезного наказания, тот решил снять его, понизить в должности.

«Дважды за одно и то же у нас не бьют, — думал Мозолькевич. — Снят с работы, перемещен в сменные инженеры... чего еще?»

Но Дергасов закусил удила.

— Тогда отпустите меня, Борис Алексеевич, —

¹ Производное от «персона нон грата».

неожиданно попросил он. — На Соловьишке я не останусь!

Мозолькевич удивился:

— Куда?

— Что я себе хомут не найду?

Не представляя, как это Дергасову удастся, тот снова потянулся к бутылке с водой.

— Вы же — член партии. Нет, об отпуске из треста я в горькоме разговаривать не буду.

— Ну, тогда что хотите, а сменным на девятке не останусь!

Открыв бутылку, Мозолькевич обернулся к нему:

— Вы что? Не понимаете ничего?

— Я уже давно понял, — Дергасов поднялся. — И даже в ЦК написал... как обещал!

И, чтобы сказанное произвело еще большее впечатление, не прощаясь, обиженно вышел из кабинета...

Мозолькевич и в самом деле думал было ограничиться перемещением Дергасова в сменные инженеры. Понимая, что главного инженера взять неоткуда, он решил предложить эту должность Никольчику.

«А маркшейдером у него побудет пока Чистяков, — думал он. — Молодой, подучится. Да и Никольчик ему поможет. Чего там... решено!»

Но Никольчик отказался от повышения наотрез.

— Нет-нет, — смущаясь, сказал он. — На посту главного инженера шахты нужен организатор, командир производства всестороннего профиля. А у меня — специализация определенная.

— «Определенная, определенная», — хмурясь, повторил Мозолькевич. — У всех у нас тоже определенная специализация. Но если нужно для дела, если требуют обстоятельства...

Разговор этот происходил не в кабинете, как с Дергасовым, а, можно сказать, на ходу — в перерыве совещания по перспективам разработки углеградских месторождений. Но Никольчик не соглашался:

— И с общественной точки зрения. Как это будет воспринято всеми?

— Ну, это меня волнует меньше всего, — не скрывая, признался Мозолькевич. — Княгиня Марья Алексевна всегда найдет, что сказать.

— А меня волнует, — возразил тот. — И не может не волновать... поверьте!

— Почему? — в голосе Мозолькевича сквозило не только недовольство, но и явное удивление. «Почему действительно тебя может волновать то, что я беру на себя, как старший?» — недоумевал он.

— Потому, что мнение тех, с кем работаю, никогда не равнял с титулованными сплетнями.

Прозвенел звонок. Нужно было продолжать совещание.

Ни до чего не договорившись, они вернулись в кабинет и, слушая выступающих, старались не думать о разговоре. Никольчик не придавал никакого значения предложению начальства и тревожился о своем, а Мозолькевич был задет его отказом, но старался не выказывать этого.

«Ну и не надо! — сердился он. — Я ведь только хотел прощупать, узнать... как ты к этому?»

Спустя несколько дней Мозолькевич решил — рубить, так рубить. В главные инженеры он надумал перевести Костянику, а на должность начальника шахты подыскать кого-нибудь.

«Если не удастся здесь, — рассудил он, — попрошу, чтобы прислали из главка. Этак будет верней...»

Костяника был убежден, что отделается ничем, а тут вдруг — понижение в должности. И хотя приказы не оспаривались, он бросился не к Мозолькевичу, а в горком, к Суродееву.

— Что ж это такое? Не нашли никого на место Дергасова, так меня. Ведь это же курам на смех, Иван Сергеевич! А главное — не моя номенклатура. Понимаешь, не моя.

В ответ на его возмущение Суродеев только удивленно вскинул брови. Предварительно согласившись с решением Мозолькевича, он не собирался теперь менять того, что санкционировал.

— Так уж и курам? — и будто отдав дань шутке, ощутило почерствел. — А тебе не приходило в голову, что у нас с тобой только одна номенклатура — коммунисты? Куда партия поставит, там и нужно работать!

Костяника попробовал возразить:

— Но ведь я ни в чем не виноват. Ты же знаешь, Иван Сергеевич, я же в отъезде...

Все это были пустопорожние разговоры.

— Ладно, ладно. Иди работай, — осадил его Суродеев. — Придет новый начальник, хоть какая-то преемственность будет. А к вопросу о Дергасове мы еще вернемся. Он, говорят, в ЦК жалобу написал?..

— Не знаю, — поспешил возразить Костяника. — Я отговаривал...

Суродеев будто пропустил это.

— Напрасно. Жаловаться каждый может.

— Ему сообщили, что обкому поручено проверить и разобраться. Разве ты не знаешь еще?

Тот снова вскинул брови. Кажется, он видел Костянику насквозь, но до поры не показывал этого.

— Ну вот. А говорил: «Не знаю...»

Расследовать жалобу Шаронин поручил Меренкову. Приехав в Углеград перед вечером, тот сразу же явился в горком.

— Ну, что будем делать? — усаживаясь напротив Суродеева, озабоченно спросил он. — Отдавать под суд? — Меренков был сторонником прямых и недвусмысленных мер. — Данных для этого больше, чем нужно.

Считая ненужным вмешиваться в действия прокуратуры, Суродеев тем не менее не одобрял позицию, занятую Мамаевым. Ему и раньше, еще до вмешательства Шаронина, казалось, что в прокуратуре просто-напросто канителият с расследованием аварии.

— Судьбу Дергасова мы должны решать прежде всего в партийном смысле, — напомнил он.

Меренков поморщился. Сухощавое его лицо перерезали глубокие, черствые морщины.

— Что ж ты предлагаешь?

— Сняли Дергасова правильно. Боюсь только — урок не на пользу. Поэтому давай все-таки сначала жалобу...

— Жалоба его не стоит выеденного яйца. Завтра я проверю все, как положено. Дело-то ведь не в ней, а в том, что он довел шахту до аварии.

Все это было справедливо. И в то же время Суродееву не хотелось заранее предрешать судьбу Дергасова. Думалось: может быть, тот еще одумается? Все-таки тринадцать лет в партии, вступал на фронте.

— Посмотрим, — проговорил он. — Прокуратура еще следствие не закончила.

Меренков расстегнул планшет, достал сложенные листки.

— Вот он тут пишет: гонение, подтасовка следственных данных, расправа с ним, как с новатором...

Суродеев поморщился.

— С этого, по моему, и начать.

Бюро горкома собралось, как всегда, в конце недели. Дежурная вызвала шахтоуправление, попросила разыскать Дергасова, передать, чтобы обязательно явился.

На этот раз повестка дня была короткой — всего три вопроса. Ожидая, когда их позовут, Костяника и Чернушин, сдержанно переговариваясь, сидели в приемной, время от времени поглядывая на дверь кабинета, из-за которой глухо доносились неразборчивые голоса. Дергасов курил, старался держаться как можно независимей. Он и не думал, что настала пора держать ответ за все, подбадривал себя и не сомневался в собственной правоте.

Несмотря ни на что, он добился своего, перешел сменным инженером на соседнюю шахту. Мозолькевич махнул рукой, не стал упорствовать, а Дергасову только это и нужно было.

«В случае чего можно будет сослаться на гонение. А что? Поэтому, дескать, и ушел...»

Правда, расследовавший его жалобу Меренков держался по меньшей мере не так, как должен был бы держаться представитель обкома. Как бы ни было, а приехал-то он по его письму в ЦК, и Дергасов ожидал от него поддержки, а не наскоков.

Меренков, похоже, не поверил ничему — ни гонению на него, при предвзятости Павлюченкова, ведущего расследование, ни тому, что он, Дергасов, в конце концов вынужден был уйти на другую шахту, лишь бы подальше от недоброжелателей. Щит без него вот-вот выйдет из строя, остановится. А им, видимо, только это и нужно, чтобы дискредитировать, похоронить

его новаторскую идею о проходе пластов с большим давлением.

Дежурная была новенькая, незнакомая. Услышав звонок, она пошла в кабинет и тотчас же вернулась обратно.

— Ваш вопрос, — и, сочувственно улыбнувшись дожидавшимся, оставила полуоткрытой дверь с тем, чтобы, пропустив их, прикрыть ее. — Дошла очередь.

— Дошла, дошла, — недовольно повторил Дергасов. И, словно показывая, что ему, с производства, не до церемоний, пошел в кабинет, нарочно следя грязными сапогами по ковровой дорожке. — С чем только выйдем?..

Он не ошибся.

— Ну, так. Давайте обсудим теперь, что произошло у нас на Соловьишке, — сказал Суродеев, едва они поздоровались, сели и приготовились ко всему. — Хочу напомнить: будучи главным инженером и замещающая начальника шахты, член партии Дергасов сорвал выполнение плана добычи первого полугодия, насаждал штурмовщину, допускал систематическое нарушение правил техники безопасности, что привело в конце концов к аварии и гибели четверых горняков. Он привлекается к судебной ответственности по статье сто семьдесят второй. Мы не принимали пока никаких мер по партийной линии, ожидая окончания следствия, и, по-видимому, допустили ошибку. Дергасов, пользуясь этим, написал в Центральный комитет партии, что на него здесь якобы гонение, что следствие ведется необъективно. Обкому поручено разобраться. — И, не затягивая, спросил: — Какие будут суждения?

Меренков должен был доложить результаты про-

верки, но решил пока ограничиться тем, что сообщил Суродеев.

— Суждения потом, — добавил он. — Сначала, может, лучше вопросы...

— У кого есть вопросы?

— Пускай ответит: осознал ли свои ошибки? — спросил, записывая что-то в блокноте, председатель городского исполкома. — Времени вроде хватало.

Дергасов поднялся.

— Преступления в моих действиях и распоряжениях в должности главного инженера шахты не было, — заговорил он, но, заметив недовольство у многих, тотчас же сбавил тон. — Все же я понял свою вину и добросовестной работой постараюсь исправить допущенное.

— Еще вопрос, — постарался помочь ему Буданский. — С какими показателями идет ваш участок к сорок третьей годовщине Октября? Какую общественную работу, помимо служебной, выполняете?

— Провожу с горняками беседы о семилетнем плане. А показатели у нас такие: перевыполнение плана на два и семь десятых процента.

Суродеев повертел в руках карандаш.

— Еще вопросы?

— Пускай расскажет о штурмовщине.

— О нарушениях правил безопасности...

— Каково мнение партийной организации? Хотя он теперь не на девятке работает...

Чернушин обернулся.

— Я во время аварии в области на семинаре был. Но могу сказать: Дергасов всегда работал в тесном контакте с партийной организацией. Претензий у нас к нему не было.

Стараясь обернуть дело по-иному, Буданский перебил:

— По-моему, все ясно. Сняли Дергасова правильно, пускай поработает непосредственно в забое. Что касается жалобы, то, я думаю, никакого гонения на него у нас нет. Ни по службе, ни по партийной линии.

Пока он говорил, в воздухе словно бы витало и другое — не то потребовать, чтобы Дергасов рассказал обо всем, не то не возвращаться больше к этому.

Мозолькевич выступать не собирался. Но когда Суродеев взглянул на него, словно ожидая, что тот скажет, он, не поднимаясь с места, внушительно заговорил:

— От несчастного случая не застрахован, товарищи, никто. И положение, в котором оказались руководители шахты, в частности Дергасов, мне понятно. Его можно, конечно, обвинять в аварии, как и дежурившего в тот день маркшейдера Никольчика, но мы понимаем, что виноваты они не прямо, а, так сказать, косвенно...

Убедившись, что его слова производят необходимое впечатление, Мозолькевич попросил воды и, сделав кадыком судорожное движение, отпил несколько глотков.

— Все они виноваты, так сказать, по долгу службы. И Дергасов не больше, чем другие. Что же касается штурмовщины, то положение и на других шахтах, к сожалению, заставляет прибегать к ней, а жалоба на гонение и прочее, по-моему, просто несерьезна.

Мамаева учить выступать было не нужно. Тот давно уже сообразил что к чему и держался, как всегда, уверенно и непоколебимо.

— Признаться, вначале я и сам думал, что вино-

ват в аварии только Журов, — начал он, не то возражая Мозолькевичу, но то рассказывая так откровенно, что никто не решился бы усомниться в его искренности. — Но потом, когда к нам поступили сигналы, я поручил Павлюченкову взяться за расследование...

« Ох и заливает! — возмутился Суродеев и пожалел, что не вызвал на бюро Павлюченкова, — Ведь сам же приказал сдать дело в архив. «За недоказанностью обвинения...»

А Мамаев вел свое:

— Я, старый воробей, меня, как говорится, ни на какой хурде-мурде не проведешь! Жаловаться, когда тебя самого обвиняют, — прием довольно-таки старый. Приходится только удивляться, что Дергасов не придумал ничего другого. Он — главный инженер, командир производства, полностью отвечающий за безопасность в шахте. Ему мы и должны предъявить обвинение по статье сто семьдесят второй. С него и спросим... по всей строгости закона!

— Ну что ж, — заключил Суродеев и, обращаясь к Костянике, спросил: — Ты будешь говорить, Степан Михалыч?

— Я ведь в ГДР ездил. И с планом...

Меренков не отказал себе в удовольствии возразить Буданскому. Поняв, что тот хотел отвести удар от Дергасова, он решил воспользоваться этим как вступлением к тому, что считал необходимым сказать.

— Я внимательно ознакомился с жалобой, товарищи, — заговорил он. — Проверил и расследовал все, что выдвигает в свое оправдание Дергасов, и должен сказать определенно: никакого гонения на него не обнаружил. Дергасов не ответил нам ни на вопрос о штурмовщине, ни о нарушениях техники безопасно-

сти, приведших к аварии и человеческим жертвам. Ему просто нечего сказать! А жалоба в Центральный комитет, как тут уже говорили, вызвана исключительно желанием отвести от себя удар, избежать ответственности за допущенные безобразия.

Как бы показывая, что все ясно, он сложил бумаги и закончил:

— Настало время решать вопрос о его партийности. Зря горьком откладывал это до сих пор. Двух мнений о том, быть или не быть Дергасову в партии, по моему, существовать не может.

Давно уже поняв, что судьба его предрешена, Дергасов раскаивался сейчас в том, что непоправимо испортил дальнейшую жизнь. Идя на бюро горкома, он еще надеялся добиться своего. Ни авария, ни случившееся не научили его ничему. Во всем, что произошло, он винил только других — Никольчика, Костянику, а теперь — Суродеева и Меренкова.

Перед тем как перейти к решению, Суродеев предоставил слово ему.

— Только коротко. По существу.

Отрешенно оглядев всех, Дергасов словно вспомнил, что нужно говорить, и покаянно произнес:

— Партия для меня — всё! Я в ней с сорок третьего года и вступал не где-нибудь, а на фронте. Я вижу сейчас, что не жаловаться мне надо было, а исправлять свои ошибки, заслужить доверие снова. Так я и буду делать... товарищи.

Короче было нельзя. Дергасов понимал: это не повредит в любом случае.

Опустив карандаш в металлическую подставку на письменном столе, Суродеев точно вернулся к началу.

— Обсуждение показало, что вопрос об аварии на Соловьишке прежде всего вопрос политический. Кто

не понимал этого, надеюсь, понял и усвоил теперь. Должен признаться, что мы недостаточно ясно представляли это. Кое-кто позволяет себе говорить: «Подумаешь, авария! От несчастного случая, мол, никто не застрахован...»

Мозолькевич достал носовой платок, стал вытирать шею, хотя сидел возле двери на балкон, где погуливал ветерок и было не так душно, как в глубине кабинета. Суродеев мельком глянул на него и заговорил снова:

— Авария в Соловьи́нке ставит вопрос не только об ответственности ее руководителей, но и о моральной, нравственной сущности Дергасова. Куда честнее его оказался, например, маркшейдер Никольчик! Не убоившись отвечать за случившееся, он выступил в защиту погибшего электромеханика Журова, добивался справедливости, тогда как Дергасов всячески замазывал причины аварии...

Мамаев сидел с Буданским и, придвинувшись поближе, что-то нашептывал ему. Буданский молча кивал, не придавая значения тому, что вроде бы соглашается с ним.

— С техникой безопасности в шахте по-прежнему плохо, — продолжал Суродеев. — Удивляюсь, почему Мамаев не рассказал тут, что в порядке следствия неопровержимо установлено: Дергасов оказывал давление на подчиненных, заставлял их утверждать, будто электромеханик Журов был пьян, самовольно ремонтировал электровоз, рассчитывая тем самым ослабить вину руководства шахты. Он прибегнул даже к прямому шантажу маркшейдера Никольчика...

Как можно рассудительнее, Мамаев заметил:

— Прокурорскому работнику нельзя забывать, что разглашение материалов следствия — недопустимо и

может только повредить делу. Речи — речами, служба — службой!

Буданский, смеясь, напомнил ему:

— То-то ты тут старым воробьем прикидывался. И насчет хурды-мурды...

Суродеев попробовал внушить:

— Мы не где-нибудь, а на бюро горкома партии...

Но Мамаев упорствовал по-прежнему.

— Все равно. Органы надзора, как и суд, подчиняются только закону.

Вспыхнув, Суродеев вовремя сдержался, усилием воли подавил гнев. Не хватало только еще этого — здесь, на бюро.

— Хорошо, хорошо: органы надзора превыше всего, — усмехнулся он. — Ты лучше знаешь, — и, вспомнив о Дергасове, посерьезнел. — Ну что ж? Переходим к выводам... Какие будут соображения?

23

Чего-чего, а соображений — о чем бы то ни было — у Косаря всегда хоть отбавляй. Работать на стройке ему казалось глупо, бессмысленно. Без сожаления расставшись с Волощуком, он стал лесогоном.

«Пускай стараются, — думалось ему о проходчиках. — А я за здорово живешь горб ломать не люблю...»

Но недели через две, когда скотный двор был закончен, дежурная как-то вызвала его:

— Выдь-ка! Тебя спрашивают...

Косарь только что пришел с работы, нехотя отозвался:

— Кому я там запонадобился?

Возле дежурки ждала какая-то женщина — немолодая, в откинутах с головы на плечи платке. Разыскивала кого-нибудь из плотников.

— Изба у меня недостроена, — робко поздоровавшись, стала объяснять она. — Всего и дела — оконные обсады поставить да двери навесить...

— Погоди, не мокропогодь, — утихомирил ее Косарь. И, хотя дал зарок не связываться с халтурой, не утерпел, осведомился: — А сколько заплатишь?

— Ох, ничегошеньки у меня сейчас нету, — всхлипнув, горестно призналась та. — Калужские работали... до позавчерашнего. Забрали деньги вперед, бросили и ушли.

Он насмешливо перебил:

— Э, так не пойдет! Тебя калужские нагрели, так ты теперь дурней себя ищешь. А у меня закон: рублю в угол, деньги — в лапу. Понимаешь?

— Сколько ж мне собрать-то надо? Ох, не смогу я, головонька горькая!

Притворно посочувствовав, Косарь удивился:

— Как же я твою стройку прозевал? Нову избу ставишь?

— Новую, новую. Возле балочки, за магистралью.

— А-а, помню. Трое работали.

— Калужские, втроем... чтоб им ни дна, ни покрышки!

Сам не зная зачем, он по привычке стал прикидывать:

— Четыре обсады, пята — дверь. Две сотни, — и, как нечто само собой разумеющееся, предупредил: — Задаток вперед!

— Это, значит, две тысячи? — ужаснулась она. — Да откуда ж у меня таки деньги?

— Две, две, — не сбавляя, повторил Косарь. — Как

хочешь считай: по-старому, по-новому. Четвертной в задаток!

Проходя мимо, Тимша остановился, прислушался.

— Да где она найдет тебе такие деньги?

— Найдет, найдет, — уверил его Косарь. — Без дверей, без окон зимовать не станет.

И, сделав вид, что ему некогда, ушел в комнату. Растерянно успокаивая женщину, Тимша пообещал:

— Я уговорю его сбавить. Наполовину...

— Спасибо, — признательно поблагодарила та, не очень, впрочем, веря, что так будет, и с тревогой думая, где взять деньги. — Вполовину бы — лучше лучшего.

— Откуда вы? — спросил он. — Косарь знает?

— Из «России», — впервые улыбнулась женщина. — Вы ж у нас скотный двор рубили. Потому и пришла...

В комнате во всю силу играло радио и было накурено. Косарь, посвистывая, сидел за столом и трудно думал о чем-то таком же трудном и нескладном.

— Надо помочь ей, — почти не веря, что убедит его, сказал Тимша. — Давай пойдем в субботу, после смены; за воскресенье сделаем?

Точно очнувшись, тот невесело отозвался:

— Иди сам, если такой сердобольный. А мне не с руки...

Тимша плюнул:

— Хапуга ты! Только бы сорвать, а с кого — все равно.

В дверях показался Волощук.

— Что за шум? — сразу почувствовав неладное, он бросил на стол сверток, шутливо подтолкнул Тимшу: — Гляди-ка, какой я костюм отхватил!

Критически сощурившись, Косарь глядел, как он

переодевался, примерял потрескивавший по швам пиджак. Старался ничем не выказывать обиду за то, что произошло в «России».

— Жениться надумал, что ли?

Пиджак был с разрезом сзади, брюки — узкие. Не хватало только белой рубашки с галстуком.

Тимша глядел на Волощука, не скрывая восхищения.

— Красивый ты, бригадир! Не хуже модёны какой...

— Это не я, а премия, — удовлетворенно оглядел себя тот. — За досрочную сдачу Большого Матвея!

Косарь охнул.

— По сколько ж отвалили? А мне?

— Ты свое у лесогонов ищи.

— И найду! Деньги заботливых любят...

Проснувшись ночью, Тимша надумал идти ставить обсадку один. Конечно, плотник он не ахти какой, но с этим справится. Вот только инструмента нет, а Косарь не даст, об этом нечего и думать.

Перебрав знакомых, решил навеститься к Ненаглядову.

«Не может быть, чтобы у него не нашлось плотничьего инструмента? Даст...»

Еще с улицы было заметно, что форточка в горнице распахнута настежь. Желто-зеленые чижи и щеголеватые щеглы вспархивали на нее, чуть помедлив, бросались вглубь, — наверно, под кровать, к мешку с конопляным семенем. Растроганно думая, что человек, приручивший птиц, поможет и ему, Тимша постучался.

«Только так и должно быть на земле, — твердил он. — Ни птицы, ни звери не должны бояться человека. И он пускай будет им другом-покровителем...»

Ненаглядов казался усталым. Морщины резко обозначились вокруг рта, под глазами. Прогнав соривших на полу щеглов, он пытливо взглянул на Тимшу.

— Ну? За чем хорошим явился?

Тот не сразу нашелся.

— Давно вроде не бывал.

— Давно-то давно. Да уж я понимаю...

Тимша решил объясниться напрямик:

— Артем Захарыч, у тебя инструмент найдется? Топор, долото, рубанок?

— Рубанок есть, долото найду. А ты что? В отходники?

Шутка, казалось, вернула Тимше решимость.

— Да почти. Вчера пришла из «России» вдовка одна. Изба у нее без окон, без дверей. Косари калужские забрали деньги вперед и скрылись...

Ненаглядов задумчиво поскреб поврежденную переносицу.

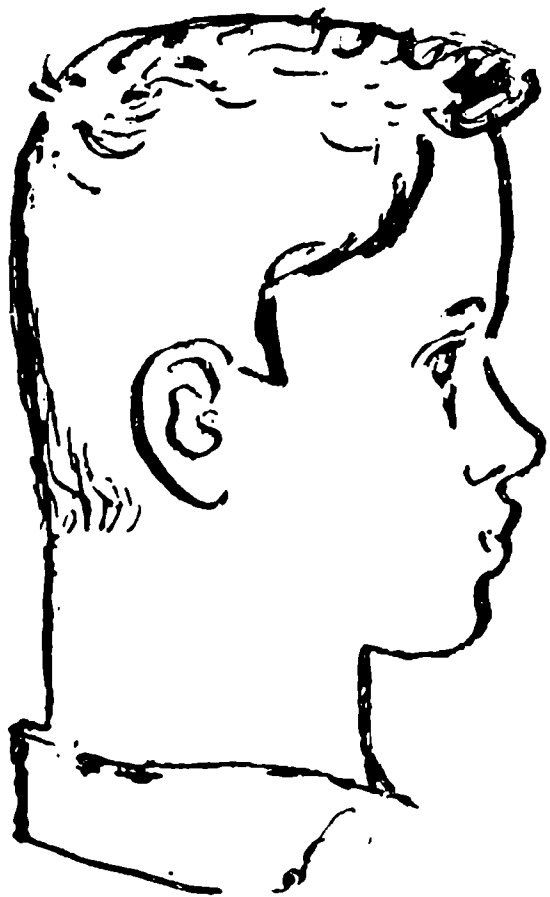
— Оконная да дверная обсадка точность любит. Угольник тебе понадобится.

— У нас плотники говорили: «Свой глаз — ватерпас!»

— Угольник я раздобуду, — не позволяя себе любоваться подкупавшей его хваткой, пообещал Ненаглядов. — А ватерпас не обещаю.

— Ничего, и без него справлюсь! Глаз у меня приученый...

Доработав неделю, Тимша отправился в «Россию». По правде говоря, его вело туда не только желание помочь вдове, а и стремление увидеть снова тех самых девчонок, что зазывали на вечеринку. Особенно одну из них: не ту, которая спрашивала, как его зовут, а другую — молча прошедшую мимо.



Хозяйки не оказалось. Возле избы, в затишке, босая подомашнему, девчушка стирала белье. Не туго заплетенная коса перевешивалась на грудь и, наверно, мешала, потому что она то и дело отбрасывала ее за спину.

«Русёня, — удивленно остановился Тимша. — Вот она где! И правда, иначе не назовешь!»

Девчушка обернулась, светла золотистые, тщетно старавшиеся казаться хмурыми брови. Где-то она видела его, но не могла сразу вспомнить, и

строже, чем следовало, спросила:

— Тебе чего?

— А где хозяйка?

— Какая еще хозяйка? Чего надо?

— Мне бы хозяйку постарше, — улыбнулся над напускной ее суровостью Тимша. — Пришел избу вам достраивать...

— Избу-у? А я думала: шатун какой, с магистрали, — и, оставив стирку, она торопливо вытерла руки. — Ты разве один?

— Другие после подойдут, — соврал он. — Ну, где материал? Чего ты так глядишь?

— Халтурщики калужские его разделывать начали да бросили. А гляжу потому, что думаю: «Неужели и ты такой же?»

Тимше было немного не по себе под строгим, испытующим ее взглядом.

— Шахтеры, к твоему сведению, не халтурщики. Коса перевесилась на грудь тяжелым жгутом. Девчушка недоверчиво оглядела его снова.

— Схватишь деньги — и поминай как звали.

Сердясь по-прежнему, Тимша слушал ее и любовался.

— Тебя как зовут?

— Лида.

— А хозяйку?

— Анфиса Матвевна.

— Можно я тебя буду Русёней звать? — спросил он. — Хорошо?

— Зови хоть Зовуткой.

Материал лежал в избе. Дверные косяки были отрезаны по размеру, а для окон оказались только размечены. Пол был уже настлан, для печи оставлен квадратный проем. В переднем углу лежали пожитки, на них ютились дети, хозяйка и бабушка.

Тимша пришел к стене подкосы, оборудовал верстак. После этого можно было приниматься за работу.

Косяк для первого окна вязал на полу. Все время, пока он пилил, строгал, Русёня была занята стиркой и в избу не заглядывала.

Вскоре из лесу вернулась бабушка с внучонком, принесла чуть не полную корзинку грибов. Рыжеватенький Валерка сразу же принялся помогать Тимше — подавал инструмент, придерживал что разрезали.

— Шоферы на магистрали баяли: кто курит, тому в ракетчиках не служить! — хвастался он осведомленностью. — Одной самокруткой можно термоатомную войну вызвать...

— А может, термоядерную? — усмехнулся Тимша. — Ты лично куда метишь? В космонавты?

— В космонавтах много занятий. Арифметика, физкультура, сурда какая-то. Я лучше на Кубу. Выучусь по-ихнему: фидель-мидель, — опасливо оглянувшись, Валерка попросил: — Только ты Лидке с мамкой не говори, а то не пустят.

Связав первую обсадку, Тимша принялся вставлять ее в проем. Сделано было по размеру, но как он ни бился — не входило. Измучившись, плюнул с досады, развязал и решил подгонять на месте.

«Ненаглядыч был прав насчет точности. Теперь самое главное — рамы. Войдут или не войдут?..»

Развесив белье, Русёня стала чистить грибы к ужину. Длинные языки пламени лизали сковороду, щепы хватало.

Почти в сумерках пришла с фермы Анфиса Матвевна. Увидев Тимшу, обрадовалась.

— Один? — осветив лицо набежавшей через силу улыбкой, спросила она. — А что ж другие?

— Я и без них одну обсадку связал!

Анфиса Матвевна осмотрела работу и осталась довольна. Нужно было только законопатить щели да подогнать раму. Тимше очень хотелось, чтобы хозяйка похвалила его работу, но она не похвалила: то ли не догадалась, то ли посчитала ненужным.

В избе на двух обрезках была положена застланная полотенцем доска. На ней стояла сковорода, лежал хлеб, огурцы, лук. На стене горела пятилинейная лампа, вокруг огня хоровадилась мошकारа.

— Ну как грибы? — вздыхая, спросила бабушка. — Не много их ноне, дождей не перепадало.

— Грибы хороши! — похвалила Анфиса Матвевна и, видя, что Тимша не ест, с сожалением вспомни-

ла: — Была у меня четвертинка да калужские выпили.

— Спасибо, не надо, — отказался он. — Мы в смене по пьянству заповедь приняли.

Русёня смешливо фыркнула.

— Одиннадцатую?

— Замолчи ты! — одернула ее Анфиса Матвевна. — Ничего не понимаешь, а насмешничаешь...

Вместо чаю было молоко. Парное, душистое, оно напомнило Тимше дом, детство.

Спать ему постлали возле верстака. Нароботавшись, он заснул, едва лег, — без дум, без сновидений, как спится только в юности после долгого дня.

Анфиса Матвевна убралась в избе, задула лампу и легла тоже — рядом с детьми. Трудно было растить их, строиться, рассчитывать каждую копейку и не падать духом при незадаче, как с халтурщиками-плотниками.

«Работящий парнишка, — признательно думала она о Тимше. — Пришел, как обещался, и о плате не заговаривает. А вторые рамы не миновать доставать! В одинарных не перезимуешь...»

Бродячий ветерок шатался вокруг избы, забирался под дерюжку, завешивавшую оконные проемы, и, притихнув где-нибудь, через минуту принимался шепуршиться снова. А по черной асфальтовой реке, лившейся с востока на запад, шли и шли машины, разя друг дружку ослепительными копьями света.

Утром Анфиса Матвевна едва добудилась его: — Вставай! Развиднело уже...

Тимша вскочил, чувствуя ломоту во всем теле, не понимая, где он и что с ним. Сдавалось, только лег, а за дверью было багряно и по-рассветному знобко.

— Этак я не много успею!

— Ничего. Пастухи еще только коров собирают.

— А рамы где?

— Я достала. Молоко и хлеб — на подоконнике.

Спал еще только один Валерка. Русёня с бабушкой собирались за клюквой.

— Ну, я пошла, — сказала Анфиса Матвевна. — Молоко надо на завод отправлять. Сейчас цистерны загудят...

Решив поесть попозже, Тимша взялся за работу. Легкие, торопливой базарной поделки рамы казались сметанными на живую нитку. Но когда он попытался вставить в обсадку, выяснилось, что неровно сделан скос. Пришлось взять их на верстак, прострогать.

Подогнав первую раму, Тимша вспомнил про молоко. Оно еще хранило холодок погреба. Макая куски хлеба, он отпивал глоток за глотком, а из-под одеяла с любопытством выглядывал Валерка.

— Сегодня уже завтра?

— А тебе зачем? — не понял Тимша.

— Мамка вчера говорила: «Завтра воскресенье. Ради праздника яешню сготовлю».

За окнами слышался дробный топот босых ребячьих ног. Кто-то крикнул:

— Валера-а, айда!

— На магистрали машина поломала-ась...

Забыв обо всем, Валерка вскочил, рванул за ними, так и не успев выяснить: сегодня — завтра и жарила ли мать яичницу, как обещала.

Отставив горлач на окно, Тимша принялся за вторую обсадку.

Обстрогав косяки, лучше всего было связать их тут же, на полу возле верстака, и подгонять на место в разобранном виде.

К полдням у него оказалась вставлена вторая рама: и с юга, со стороны магистрали, изба приобрела жилой, приветливо-радушный вид. Анфиса Матвевна пришла, похвалила его работу.

— Гляжу: моя это изба или не моя? — радостно призналась она. — Теперь бы только застеклить...

Как и предсказывал Валерка, на таганке заискрилась яичница — по-деревенски щедрая, с салом. Словно почуяв ее запах, явился и он.

— А на магистрали «Быки» стоят. Вот такие — колесище не достанешь! И на каждом написано: «Испытание».

— Не «Быки», а «Зубры», — догадался Тимша. — Самосвалы, наверно? Для строек коммунизма...

— Давайте-ка полудновать, — позвала их Анфиса Матвевна. — Солнышко эва где!

— А Лидуха с бабкой? — вспомнил Валерка.

— Они хоть бы к обеду вернулись. По клюкву пошли...

Связывая третью обсадку, Тимша спохватился о наличниках. От кого-то он слышал: окно без наличника не окно, а дыра.

«Прострогаю, обрежу, — решил он. — А сверху — звездочку!»

Хватка у него была мужская, но работал он еще по-мальчишески, высовывая язык и как бы помогая им себе в трудную минуту. Стружки колечками цеплялись за волосы, за рубашку — золотые, душистые, то похожие на свежие, с пылу, с жару бублики, то, наоборот, непохожие ни на что, кроме самих себя.

К обеду он успел подогнать третью обсадку, вставил раму. Пожалев, что нет стекла, спросил у хозяйки:

— Нет ли у соседей?

— Схожу распытаю, — с готовностью согласилась она. — Петраковы недавно стеклили. Может, осталось?

Вскоре Анфиса Матвевна действительно раздобыла, принесла четыре листа стекла. Обернутое соломой, оно, как налитое, синело в деревянном ящике.

— А алмаз?

— Сейчас сбегаю. У председателя, кажись, был...

Стекла хватило на две рамы. Все время, пока шипел алмаз, чертя едва различимую паутинку-линию, у Тимши холодно-ватно обмирало сердце.

«А ну испорчу? Тогда из кусков собирать...»

Но ему везло. Не испортив и не сломав, он вставил стекла, укрепил их гвоздиками и, напомнив Анфисе Матвевне, чтобы не забыла купить замазки, взялся за последнюю обсадку. Давно пора было обедать, но хозяйка поджидала ушедших по клюкву.

— Где же вы жили до этого? — спросил Тимша. — Пока своей избы не было?

— А у чужих, — с горечью отозвалась Анфиса Матвевна. — Обрыдло так, что еще полов не настлали, сюда перебрались...

— Теперь заживете по-человечески. Как захочется, так и будете жить!

— Господи, прямо не верится. В долгу, как в шелку. Всем добрым людям...

Валерка заметил сестру и бабушку еще издали и с радостным визгом бросился навстречу. Помогая нести ведра, крикнул матери:

— По цельному набрали, мам! Клюквица — кислая-кислая...

— Сам ты кисляй, — засмеялась Русёня и, увидав застекленные окна, восторженно вспыхнула: — Ой, всамделишные!

— А ты что думала? — Анфиса Матвевна не преминула ещё раз похвалить Тимшу. — Мастер у нас лучше некуда! Хоть плотник, хоть столяр, хоть стекольщик...

Последнюю обсадку, после обеда, Тимша делал играючи. Будто сам собой строгал рубанок, вступало в дело долото, сходились шипы. И всякий раз, едва Русёня оказывалась рядом, сердце стучало сильнее, будто от нее исходила будоражившая его сила.

Накрывая ужин, она негромко предложила:

— Пойдем на вечерку.

— А что там?

— Ну, что на вечерках? Танцы. Под радиолу...

— Пойдем, — согласился Тимша и пожалел, что, собираясь сюда, не надел пиджак и новые ботинки.

Расчертить звезды для наличников оказалось не так-то просто. Нужно было два равнобедренных треугольника наложить один на другой и убрать нижний, шестой угол. Кое-как справившись, он принялся вырезать.

Радиола играла зазывающе, не дала им даже как следует поужинать. Усталости точно не бывало, хотя Русёня ходила на дальние болота за клюквой, а он работал целый день за верстаком.

Затравеневшая дорожка, поросшая ромашкой, хлыстиками подорожника и белыми фонариками одуванчиков, освещавшими ночную тьму, казалось, никогда не кончится. Спать не хотелось.

На вечерке Тимша не отходил от Русёни. Девчонки даже съязвили:

— Лидка, откати напрокат нам халтурщика своего!

Иногда она шепотком приказывала ему:

— Потанцуй вон с Марьяшкой! А я посижу...

И Тимша беспрекословно танцевал с долговязой Марьяшкой или франтоватой Полей, но как только кончалась пластинка, возвращался снова к Русёне. Это невольно делало их как бы участниками таинственной и увлекательной игры.

Вернувшись домой, они сели на бревнах и, не удержавшись, одновременно зевнули, рассмеялись.

— Тебя смаривает?

— Не-ет. А тебя?

— И меня тоже...

— Смаривает или не смаривает?

— Ой, не знаю. Кажется, не смаривает, — Русёня отчаянно поежилась не то от холода, не то оттого, что спать хотелось все-таки немилосердно.

Тимша попытался обнять ее, согреть, но она повела плечами, высвободилась.

— Не надо!

Коса отягощала ее голову со светлыми завитками на висках и прямым пробором посредине. Легкое ситцевое платье вздымалось на груди.

Стараясь согреться, она обхватила себя руками за плечи, подобрала ноги. Казалось, так тепло не уходило или во всяком случае уходило меньше.

— А страшно в шахтах?

— Спервоначально страшновато, — откровенно признался он, вспомнив, как побаивался, оставаясь в пустых ходах один. — Теперь вроде приобыкся.

— А я бы, ей-богу, не полезла. Ни за какие пряники!

— Да разве шахтеры из-за этого лезут?

— А из-за чего же?

— Чтобы людей обогреть, землю осветить! Уголь — он ведь с солнышком внутри...

Она невзначай прижалась к нему, замерла.

— Все равно! Где-то я читала: там заваливает. Откопают шахтеров, а они — мертвые, задохлись.

— В Доме культуры у нас картина висит, — боясь потревожить ее, вспомнил Тимша. — Художник один нарисовал: «Шахтарь» называется, по легенде.

— А кто такой... Шахтарь?

— Хозяин недр земных. Молодой коногон мчится по уклону, а он из пласта — навстречу. Страшный, глаза горят!

— И ты его видал? — вздрогнула она.

— Его видят только перед гибелью. Во время завалов или взрыва рудничного газа, когда уж не спастись ничем.

— Как же вы там работаете? Я бы ни за что не смогла!

— Наша смена на проходческом комбайне. Бригадир — Волощук, тот самый, что со мной на стройке скотного двора работал. А помощником у него Ненаглядный, Герой труда, — объяснил Тимша. И совсем доверительно признался: — Понимаешь, я заметил: есть коммунисты только для себя, а есть — для всех людей! Такие куда хочешь пойдут — под землю, в воду, за облака — для людей, для всех-всех людей на земле.

Тигроватенький котенок подбежал, выгнул спинку, замурлыкал. Тимша взял его, посадил Русёне на плечо. Она прижалась к нему щекой.

— Мормышечка! Мормышечка! Тепло от него...

— Кто это его так окрестил?

Тимша прижался к котенку с другой стороны. Густая шерстка приятно щекотала щеку, пахла солнцем.

— Заезжие шофера. «Дайте его, говорят, нам на наживку! Щурят ловить...»

Котенок сполз, губы их встретились. Русёня засмеялась от неожиданности, хотела сказать: «Не надо!» — и забыла все слова на свете.

29

Позабыла все слова на свете Русёня, кончилось лето. В середине сентября колхоз отмечал свое тридцатилетие. На праздник были приглашены углеградцы, соседи-колхозники.

— А пирог с грибами будет? — засмеялся Тимша, когда Анфиса Матвевна позвала в гости и его. — Настоящий... как в детстве.

— С грибами, с капустой и морковью, — пообещала та. — Испеку всяких!

Русёня вспомнила:

— А с крушиной?

— И с крушиной... если будешь кого крушить.

В Доме техники открылись курсы машинистов комбайнов. Тимша пошел учиться: в смене все должны были замещать друг друга.

Недели через две курсанты хвастались, что разберут и соберут комбайн с завязанными глазами, а разносчики новостей утверждали:

— Разработку угольных месторождений будет преподавать Никольчик!

— Прокуратура его оправдала...

Тимша усомнился.

— Вы что? На следствии были?

— Не были, а знаем!

— А кое-кого судить будут...

Действительно, Никольчик вскоре стал преподавать на курсах «Разработку угольных месторожде-

ний», подкупая всех воодушевлением и кипучей энергией. Тимша откровенно восхищался им, даже перенял манеру вскидывать голову.

— Теперь у нас полтора штейгера! — смеялись, подметив это, курсанты. — Хоть вторую группу набирай...

Хорошо было работать, учиться, а в субботу — бродить с Русёней по луговым дорожкам, где, кажется, никто никогда не ходит и где никому не придет в голову подслушивать, о чем говорят влюбленные.

— Яков Никифорович обещал: «Поработаешь годик, пошлем на бухгалтера учиться!» — рассказывала она.

— А ты?

— «Спасибо, — говорю. — Я лучше телятницей останусь. Интересу больше...»

Накануне праздника хозяйки пекли пироги, варили холодец, парили, тушили. Весь вечер примерялись, гладились и ушивались платья, кофточки, юбки, косынки и прочие наряды. А Руженцев еще раз проглядывал свой отчет, цифры роста и обязательства.

— По льну опять недобрали! Да и себестоимость мяса-молока в запланированную не уложилась...

Перед уходом он решил заглянуть в коровник, проверить, не отелилась ли симменталка Майка. Темная река магистрали стихла. Избы стояли точно на берегу, глядели в стылую роздымь ослепшими окнами.

Руженцеву почудилось, что он далеко-далеко, где и не бывал никогда. И Москва не в трехстах километрах, а, как в сказке, за тридевять земель, за лесами, увалами и текучей этой роздымью, обещавшей погожий осенний денек.

На крыльце детского сада слышалась возня, чье-то кряхтенье. Звякнула щеколда.

«Кому это приспичило? — недоумевая, остановился Руженцев. — Ребят давно по домам разобрали, няньки тут не ночуют...»

Он подошел поближе, чтобы опознать возившегося. Неужели кому-то пришло в голову проверять, не осталась ли дверь незапертой?

— Ну-ну! — шутливо крикнул он, стараясь разглядеть, кто это. — У нас воров нет...

Возившийся испуганно оглянулся. Плетеный кошель перевесился из-за плеча.

— Бог в помощь, — все еще посмеиваясь, сказал Руженцев. — Тебе чего?

— А твое какое дело? — отозвался с хрипотцой тот и передвинул кошель за спину. — Ты-то сам кто?

Самое лучшее было держаться на равных. Может, скорей выяснится всё.

— Я не ты, — сдержанно отозвался Руженцев. — Чужому добру не хозяин!

Настороженно следя за ним, тот принял как должное упоминание о хозяине и держался по-хозяйски. Домотканый его пиджак распахнулся.

— На своем подворье ночевать негде.

— А ты кто? Посторонним тут не разрешается.

О Лёвошнике Руженцев даже не вспомнил. А кому другому надумалось бы ночью шататься возле своего подворья, разглядывать оставшееся.

— Чужому добру, говоришь, не хозяин, а распоряжаешься, — невесело буркнул тот. — По какому праву?

— По такому, какого у тебя никогда не было и не будет.

— Не пужай! Теперь всё по закону.

— Да ты что? Всамделе хозяин? — удивился

Руженцев. — Постой, постой, как тебя? Косарёв Денис... Лёвошник?

— Я самый, — подтвердил Лёвошник. — И подворье это — мое. Собственное.

— Слышал, слышал, — Руженцев поднялся на крыльцо, придержал незапертую дверь. — Только собственность эта давно уже не твоя, а колхозная. Дети у нас тут; посторонним, сам понимаешь, ночевать не положено.

«Придется к себе его, — подумал он. — Чтобы не шатался тут до утра. Ничего не поделаешь. А завтра придумаем, как с ним. Все-таки не совсем чужой, а колхозник бывший».

Но Лёвошник стоял на своем и уходить не собирался.

— Как это не мое? По суду верну. Баба ко мне перебиралась, колхозу на сохран оставила. Тогда у нас не ты, Крохалев в председателях ходил.

— Знаю, знаю, — нужно было как-то сладить с ним, и Руженцев не стал откладывать. — Пойдем в правление. Поглядим, что за гусь? Откуда залетел? Документы имеются?

— А как же?

— Откуда к нам?

— С Ковды.

— Один? Насовсем?

— Не бойся, председатель, не заживусь.

В правление они шли не спеша. Лёвошник — впереди, Руженцев — сзади.

— Бояться мне нечего, — вздохнул Руженцев. — Если документы в порядке — оставайся, живи.

— На Ковде у нас не хуже тутошнего.

— Подворье твое оценим, заплатим. Немного, конечно; с учетом износа.

— Не надо. Я могу и так отписать. Задаром! Помните мою доброту.

— Ну что ж. Мы отдельно тебе избу поставим.

Но на развилке Лёвошник вдруг отрешенно взмахнул руками и, не прощаясь, рванулся вниз, к магистрали. Руженцев бросился за ним, вовремя спохватился.

— Куда же ты? Стой! Сто-ой!

Собаки, угревшиеся возле изб, тревожно залились лаем. Проснувшись, загоготали гуси.

Налетев на Русёню с Тимшей, Лёвошник споткнулся, обронил кошель. Узнав его, Тимша помог старику подняться.

— От кого это ты, Денис Емельяныч? На-ка, надень...

— От собак, — хмуро огрызнулся тот.

— А кричали где?

Лёвошник оглянулся. Вурдалачьи его губы горели, как в жару.

— А-а, это ты, малой? Любовь крутишь?

— А ты, что тут? На роднинны места глядишь?

Руженцев торопился к ним. Не ответив, Лёвошник схватил кошель, метнулся во тьму.

Узнав Русёню с Тимшей, Руженцев с сожалением вздохнул.

— Эх, не задержали...

— А разве надо было? — ничего не понимая, спросила Русёня. — Кто это, Яков Никифорович?

— Хозяин чужому добру, — усмехаясь, пояснил тот и весело выругался. — Явился подарки дарить, а мы сами взяли!

И, не попрощавшись, пошел в коровник — предупредить сторожа, чтобы поглядывал зорче...

Утром стали съезжаться приглашенные. Первыми

прибыли соседи, знавшие цену раннему времени и сразу же принявшиеся осматривать новый скотный двор. За ними явились углеградцы на отремонтированной в подарок трехтонке, а чуть погода из горкомовского «газика» вылезли Суродеев и Буданский.

Руженцев заторопился к правлению.

— Просим, просим, — растроганно поздоровался он со всеми. — Уважили нас, можно сказать, в такой праздник...

Суродеев сердечно обнял его.

— Поздравляю вас и всех колхозников, Яков Никифорович! «Россия» — передовой колхоз области. — Обычно скуповатый на похвалы, он явно не боялся перехвалить юбиляров.

Буданский весело вспомнил:

— Ну как? Разделались с халтурщиками?

— Разделались! Спасибо, шефы помогли, а то бы совсем в раззор ввели...

— Да-а, — укоризненно заметил Суродеев. — Такая трата мультимиллионерам и то непростительна!

— Нужда заставила баранки есть, Иван Сергеевич, — сокрушенно пожаловался Руженцев. — Своих плотников нет, так любым прихлебаям в ноги накладняешься.

Немного погода приехавшие тоже пошли осматривать скотный двор. Срублен он был на славу. Сухой, звонкий лес пахнул разогретой на солнце смолкой; крыша силосной башни возвышалась, как богатырский шишак.

Двигатель-ветряк качал воду в автопоилки. Вагонетки подвесной дороги развозили корм по стойлам.

Суродеев поинтересовался:

— Какие же у вас показатели по надою?

— С планом справляемся, — прижмуривая куту-

зовское свое веко, не без удовлетворения ответил Руженцев. — Даже излишки имеем, особенно во втором квартале.

— И куда сдаете?

— В Углеград, на рынок.

— А почему не государственным организациям?

— Иначе невыкрутка. Нечем будет с халтурщиками расплачиваться.

В правлении все было готово. Застланный кумачом стол президиума стоял в красном углу. Над ним виднелся, увитый зеленью, портрет Ленина, висели призывы, плакаты, диаграммы.

Руженцев пригласил всех занимать места. Ребятишкам строго-настрого заказали соваться в помещение, но они все равно ухитрились пробраться туда и вместе со всеми собравшимися ожидали начала.

Ненаглядов и Волощук пошли с шефами, Тимша остался возле крыльца. Тут было свое. Девчонки хвастались нарядами, пересмеивались, сорили подсолнечной лузгой. Парни угощали друг друга папиросами.

Отчет Руженцева шел своим чередом. Изредка доносилась чья-либо фамилия, раздавались хлопки. Девчонки задорно подталкивали друг дружку:

— Марьяшка, тебя отмечают!

— Не меня, а маманьку, — прыскала та. — Меня на следующий юбилей будут, когда колхозу полста стукнет.

Наконец Руженцев заговорил о шефах.

— Товарищи горняки, спасибо, помогли нам избавиться от халтурщиков, скотный двор достроили. Мы хотели премировать их за коммунистический труд, но они отказались. Вношу предложение: считать их почетными членами нашего колхоза.

Собравшиеся одобрительно зашумели, раздались дружные хлопки.

Погода разгулялась. Солнце уронило сквозь поредшую завесу облаков золотые вёсла, будто гребло куда-то в теплые края, где не было ни дождей, ни туманов, а только чистое, синее небо.

Улучив минутку, Русёня шепнула Тимше:

— Пойдем пройдемся...

— Куда?

— Куда глаза глядят!

После Руженцева выступил Суродеев.

— Хозяйство у вас хорошее, но себестоимость продукции еще непростительно высока, — как всегда, негромко заговорил он. — Недавно приезжал на Кубань американский фермер Гарст, так он нашим колхозникам сказал: «Техники у вас много, а непроизводительных расходов еще больше. Они съедают ваши доходы!»

Не дослушав, Тимша бросился на дорожку, по которой они обычно гуляли, догнал Русёню.

— Не люблю я праздников, — тоскливо призналась она. — Ждешь от них многого, а кроме суетни ничего не получаешь.

— Не любишь, не празднуй, — отшутился Тимша.

Все-таки она была совсем еще дичок, не умела ни притворяться, ни терпеть — за это, наверно, он и любил ее. Самого его жизнь уже обкатала, как голыш на берегу.

— А по-моему, праздник — каждый день на земле, — Русёня сняла газовую косынку, взмахнув, пустила ее по ветру. — Солнце светит — праздник; трава зеленеет — праздник. Работается хорошо — тоже праздник! А больше ничего и не нужно...

— Дождь идет — чем не праздник? — в лад ей,

смеясь, добавил Тимша. — Метель, мороз — тоже праздник. А выговор схлопотал или еще какую нахлобучку — праздник вдвойне!

— Тебе смешно, — обиделась она. — А я всерьез...

— И я всерьез. Что вечером делать будем? Может, пойдем в «Горняк»?

— Кино, председатель обещал, само к нам приедет.

— А что покажут?

— Кто говорит — «Алешкину любовь», а кто — про целину.

— Новей ничего не сообразили?

Поскушнев, Русёня вздохнула.

— Кому надо новей, пускай в Москву, на фестивали едет!

Когда они вернулись, возле правления были одни ребяташки, достукавшиеся, что их все же выставили. Валерка подбежал, сообщил сестре:

— Мамке вот такой отрезнице премировали! Где ты была?

Тимша поднялся на крыльцо, прислушался.

— Мы, шефы, обещаем вам, товарищи колхозники, постоянно крепить дружбу и в подарок безвозмездно отремонтировали грузовую машину, — уверял Буданский.

Валерка нетерпеливо шмыгнул носом.

— После обеда нас на ней катать повезут!

Торжественная часть вскоре окончилась. Анфиса Матвевна, возбужденная, разгоревшаяся, выскочила из правления, прижимая к груди сверток с отрезом, и, найдя глазами Русёню, счастливо бросилась к ней:

— Теперь ты у меня с обновкой, дочка! В ателье отдадим, сошьют по-модному...

— Да это же твоя премия, мама, — возразила та. — Тебе и шить будем.

— Куда мне? Моя пора прошла, а ты вон скоро заневестишься, — и, спохватившись, предложила: — Пойдемте! Пока тут что — отобедаем...

Войдя в избу и поздоровавшись с бабушкой, Тимша удивленно огляделся. Сложенная печь и лежанка были побелены. В углу, за ситцевым пологом, виднелись две кровати. Герань жарким пламенем полыхала на подоконниках. В простенке, над семейными фотографиями, голубело зеркало и то отражало проплывавшие облака, то разбрызгивало таких непоседливых зайчиков, что хотелось гоняться за ними по всей горнице.

— Ну, садитесь, садитесь! — пригласила Анфиса Матвевна. — Мама, ты сюда, гостюшка сюда, Лида и Валерка — со мной...

На закуску были маринованные грибы, праздничный холодец, огурцы, помидоры, капуста и свойская колбаса.

— Давайте выпьем за то, чтоб так всегда! — растроганно предложила Анфиса Матвевна. — Всегда я спасибо говорила, Тима, а сегодня особенно. В самую трудную минуту ты нам помог. И я собрала пока шестьдесят рублей. Остальные отдам, как барана зарежу.

Смутившись донельзя, Тимша стал отказываться от денег. Но она сунула их ему в карман.



— И слушать не хочу. Ешьте, ешьте! Валера, ты бы не захмелел с бражки. Она крепкая!

— Ох, времечко пошло, — ничего не понимая, дивилась бабушка. — От заработанного люди отказываются!

Русёня перебила ее:

— Молчала бы лучше...

Понимая, что возражать бесполезно, Тимша пил и ел, как дома. После закуски хозяйка подала лапшу с куриными потрохами, а на второе — грибной пирог.

— А теперь — за колхоз наш! Я тогда еще девчонкой, меньше тебя, дочка, была, когда люди в него сошлись. — И вдруг спохватилась. — Ой, заговорила я с вами! Ну, дообедывайте, а мне в правление надо...

Схватив платок, она заторопилась туда. Валерка увязался следом.

— И я с тобой, мам! Сейчас на машине катать будут.

Пока Русёня убирала со стола, Тимша разглядывал семейные фотографии. На одной из них была бабушка с лихим солдатом в бескозырке; на другой — Анфиса Матвевна, а на третьей — партизан с автоматом, в перепоясанной лентой папахе. Русёня была похожа на него — светловолосая, с таким же решительным разрезом губ, глаза — в густой опушке ресниц.

— Это отец твой? — осторожно спросил Тимша.

Она вполголоса отозвалась:

— В партизанах еще...

— Он умер?

Словно бы темное облачко набежало, приглушило радость окружающего. Тимша пожалел ее.

— Будь бы у вас отец — без избы не были бы.

Но Русёня не поддавалась, оборвала по-будничному:

— Еще пирожка дать? С грибами?

А возле правления играли два баяниста, кружились танцующие. И дед Горыня, знаменитый в округе печник и чудодей, залихватски вертел подвыпившую старуху Макарьевну в залежавшемся, нафталинном сарафане с подбитым красной бейкой подолом.

— Ходи, вороная! Не взбрыкивай...

30

— Ходи, не взбрыкивай!

Тимша не заметил, что поговорка эта прилипла ему на язык, срывалась, когда надо и не надо.

В середине недели Русёня неожиданно пришла в Северный, разыскала его. Увидев ее, Тимша встревожился:

— Случилось что?

— Да не-ет. Деньги тебе принесла. Зачем ты забыл их на подоконнике? — И засмеялась. — Получи и распишись!

Тимша рассердился не на шутку.

— Ходи, не взбрыкивай! Я же сказал: не возьму...

Русёня набросилась на него в свою очередь:

— Что? Что? Иди, объяви матери сам... а предомной не выказывайся!

В «Горняке» шли «Римские каникулы». Картина показалась Тимше попросту скучной. А Русёня взволнованно шептала:

— Красивая она... принцесса эта! И одета как...

— Тунеядка, — сердито фыркнул он. — В рукоятчицы бы ее! Или на сортировку...

Понравилась им только драка в ресторанчике. Забыв обо всем, Тимша едва удерживался от желания ввязаться самому; Русёня одобрительно вздыхала.

— Здо́рово снято! У нас так не снимают.

Возвращались в темноте. Звездный, ядреный вечер не давал пристаивать: становилось нестерпимо холодно, хотелось куда-нибудь в затишье, к теплу. Русёня разгорелась как маков цвет, уверяла, что ей нисколько не зябко, и не торопилась домой.

Они шли, целовались и снова шли — не разбирая дороги. Неиспытанное будоражило кровь, кружило голову.

— Господи, какой вымахал, — жаловалась Русёня. — Не дотянешься поцеловаться!

— А ты на пёнушек, — подзадорил ее Тимша. — Ну? Становись, пока не прошли!

Поднявшись, она обхватила его за шею — не то под влиянием нежности, не то, чтобы не упасть, и, приникнув губами, замерла.

— И как это у тебя получается? — с трудом оторвавшись, удивился он. — Наверно, и с другими так?

— А ты с другими не так?

— У меня других не было. Ты — первая.

— И ты у меня первый... дурачок!

— Я-то так целоваться не научился.

— Девки говорят: у кого храбрости смолodu нет и под старость не будет.

Отпустив его, Русёня спрыгнула с пенька, пошла рядом, задумавшаяся, погрустневшая, будто прислушивалась к самой себе. Тимша наклонился, заглянул ей в глаза и не разглядел ничего.

— Чего ты? — счастливо вздохнула она. — Потерял что в потемках?

— Тебя.

— Меня ты еще и не находил. А потеряешь — не ищи!

— Я и не собираюсь терять! Что ты...

Подхватив ее на руки, Тимша прошел, пока не задохнулся, осторожно опустил на землю. Русёня не отбивалась, разрешая ему делать, что хочет.

— Ну? — отдышавшись, спросил он. — Теперь как?

Она засмеялась.

— Мама говорит: ты смирный. — И, целуя его снова, призналась: — А мне и хорошо с тобой!

Анфиса Матвевна не спала. В избе пахло опарой, топленным молоком, а после стужи на улице казалось даже душновато. Бабушка дремала на лежанке, Валерка читал. В кругу от лампы двигалась соломенно-волосая его головенка.

— Поздно ж вы гуляете! Я уж заждалась тебя, дочка...

— Мы в кино ходили, — стала оправдываться Русёня. — На первый сеанс не попали, остались на второй.

— Садитесь, молочка топлённого поешьте.

Тимша отказался.

— Вот вам ваши деньги, — грубовато выложил он на стол скрутившиеся, как береста, бумажки, боясь, что обидит Анфису Матвевну. — И не присылайте больше!

Взглянув на них, та неожиданно растерялась и, называя его на «вы», призналась:

— Я думала ведь как лучше. А выходит — вы непохожи на других...

— Он и вправду, мам, непохож, — вступилась Русёня. — По-своему с ума сходит.

Анфиса Матвевна потемнела.

— А еще скажу: деньги деньгами, а девку мне с толку не сбивайте. Пристаиваете, шушукаетесь — дело молодое. Но чтоб без баловства! Она ведь у меня еще дичок, глупенькая...

Русёня отвернулась, прыснула. Тимша смутился. Вся его сердитость сразу прошла: Анфиса Матвевна видела их насквозь.

— Еще чего, — смущенно пробормотал он. — Мне на призыв скоро.

Бережно взяв деньги, Анфиса Матвевна завернула их в тряпочку. Если так — им найдется другое применение.

Русёня и Тимша ели молоко с хлебом, смешливо переглядывались, а она думала свое.

«Парнишка, кажись, ничего. Отслужится, придет — чем не пара Лидушке? Да только что загадывать? Три года — срок немалый, всяко может случиться...»

Поблагодарив, Тимша оделся, взял кепку.

— До свиданья! Поздно уже, завтра с утра в смену.

Русёня накинула платок на плечи, выскочила проводить его.

— Ты это вправду? — беспомощно спросила она за углом, где не так задувал разыгравшийся ветер. — Тима...

— Отсрочки не будет, — вздохнул он. И, вспомнив Валерку, засмеялся: — Прямо в ракетчики!

— А я как же? — всхлипнула Русёня, прижимаясь к нему. — Ой, ну почему я не парень?

Тимша, веселея, обнял ее:

— Тогда б ты мне совсем не нужна была. Разве ребят можно любить?

Понимая только, что это случится еще не скоро, Русёня счастливо притихла.

— А то кого же?

В воздухе явственно чувствовалось дыхание первой стужи; ветер дул, как бешеный. Но, несмотря на это, им было хорошо согревать друг друга, целоваться и знать, что все испытания — впереди.

Наконец Русёня вспомнила о матери и слегка оттолкнула его.

— Поздно уже! Когда придешь?

— А когда будешь ждать?

— Завтра, как проснусь. И до самого вечера...

— Значит, вечером и приду.

Поцеловав ее на прощанье, Тимша сбежал к магистрали, ощущая на губах парную горьковатость девичьего дыхания. Дойдя до «Жалобщиков», свернул влево, к Соловьишке.

Дневная смена еще не выходила. Размеренно дышала компрессорная. Повизгивал шкив на терриконе; гремел порожняк под погрузкой.

Алая звезда на копре едва угадывалась во тьме. Сонные голуби время от времени сердито гулили над карнизом. Тимша загляделся, ощущая родственную близость всему, что окружало, — шахте, Углеграду, звездной осенней ночи.

Кто-то вразвалку подошел, обнял его сзади за плечи.

— Ну, как оно... Овчуков? Отгулял?

— Отгулял, — узнав Ненаглядова, отозвался Тимша. И, чуть помолчав, без видимой связи, взволнованно спросил: — Артем Захарыч, как ты считаешь: зажжем мы нашу звезду?

— Зажжем. Обязательно зажжем!

— А что для этого делать надо?

— Что делать? — раздумчиво повторил Ненаглядов. Потом, точно отвечая на что-то, давно занимавшее самого, убежденно сказал: — Надо, как Ленин учил: с коммунистов спрашивать вдвойне. А со всех других — как с коммунистов!

Тимша прошел несколько шагов, словно раздумывая над этим, и остановился.

— Можно, я с себя тоже вдвойне буду?

Ненаглядов одобрительно кивнул. Давнее его предположение, кажется, начинало сбываться.

— А ты как считаешь? Только так, брат, и следует жить на земле!

Работать ему приходилось теперь тоже вдвойне. После смены он шел в партком, засиживался поздно. Там, как в штабе во время наступления, было людно. И Ненаглядову не по должности, а по признанному авторитету и опыту часто принадлежало решающее слово во многих делах.

К Большому Матвею прирѐзали находившийся в запасе целик соседней шахты. Вентиляционный штрек было решено продолжить, и проходчиков перебросили туда.

Потаскавшись с отходниками, Сергованцев вернулся в шахту. Недолго думая, начальник участка сунул его в смену вместо Косаря.

Как-то, заканчивая продолжение вентиляционного штрека, Волощук разрешил Тимше сесть на комбайн.

— Давай добери остаток! Заходки две — больше не будет. А мы с Ненаглядычем покрепим...

Загрязнившийся, немало поработавший на своем веку, комбайн показался Тимше прекрасным. Отчищенная добела фреза, как всегда, готова была

крушить породу. Совок погрузчика захватывал чуть не всю ширину штрека: лапы подбирали грунт, гнали на транспортер.

Включив мотор, Тимша взялся за дело. Фреза приподнялась, легко вошла в толщу пласта, но легкость эта была только кажущейся, обманчивой. Если вовремя не удержать головку, она увязнет, захлебнется породой. А от перенапряжения может сгореть, выйти из строя мотор.

Не позволяя ей увязать, Тимша стал подрезать пласт сверху, чтобы легче было отваливать, сделал глубокую, почти ровную подрубку. Порода сыпалась на совок погрузчика, там ее подхватывали лапы, гнали вверх.

— Ну, как у тебя? — взглянул, подойдя, Волощук. — Не зашиваешься?

Тот задорно поднял большой палец. Измазанное лицо было счастливо.

— Сначала сверху, верно? А снизу потом... когда боковины поставите.

— Глубоко не забирай, — на всякий случай предостерег Волощук. — А то фрезу увязишь!

Он прислушался, точно за рокотом мотора слышал что-то еще.

— Чего ты? — оглянулся Тимша, останавливая комбайн. — Нас на курсах учили...

Волощук отозвался не сразу. Лицо его неожиданно осветилось не то мечтательной, не то вдохновенной улыбкой.

— Чего? Чего? — не без досады повторил он, точно недовольный, что ему помешали. — Не видишь — слушаю; Рудольский с Воронком навстречу к нам прорубаются.

— Ну да, — недоверчиво протянул Тимша, не понимая, шутит он или нет. — Выдума-ал...

Но Волощук и не думал шутить.

— Побратимы, брат, не погибают. — И, будто убедившись в этом еще раз, торжественно подтвердил: — Точно!

Тимша включил мотор снова. Ежастый ветерок ходил у него по спине, прохватывал ознобом.

«Побратимы не погибают, — ликующе повторял он раз за разом. — Только прислушайся — услышишь: они рядом, за стенкой штрека. Точно!»

Комбайн работал ровно, без напряжения. Пласт был мягкий — сухарные и полусухарные глины, а не слежавшийся песчаник, с которым подчас не сладить и опытному проходчику.

«И я проходчик, — радостно думал Тимша. — Самый настоящий... как бригадир, как Ненаглядыч...»

Сделав половину заходки, он оглянулся на них и с подступившей нежностью хотел окликнуть, похвалиться, но вовремя удержался. Скоро конец смены, а — чего доброго — не успеет добрать оставшееся.

«А что? — с беззаботной отвагой юности подумал Тимша. — Любой пласт — мергель, песчаник ли — рубаю! Запросто...»

Едва выдалась свободная минутка, Ненаглядов тоже подошел, поглядел, как ему работается.

— Мотор не перегреваешь?

— Нормально, — обрадованно кивнул Тимша. — А у вас как?

— Сейчас докрепим. Тогда можно будет и передохнуть малость.

— Ага!

Обойдя комбайн, Ненаглядов внимательно огля-

дел механизмы, остался доволен. Каска его съехала назад, на лбу блестели капельки пота.

— Следи за давлением масла в системе, — напомнил он и вернулся к Волощуку, подтягивавшему очередной хомут.

А комбайн рокотал и рокотал — ровно, забористо. С шорохом сыпалась на совок порода, лапы погрузчика неумолимо скребли по железу.

Вторую половину заходки Тимша закончил быстрее, чем первую, и начал новую. Пласт сделался словно бы тяжелее, сырей — пришлось останавливать комбайн, отчищать забившуюся фрезу.

Едва он выключил мотор, Волощук настороженно обернулся:

— Ну, что там еще?

— Головку забило... сейчас отчищу.

Соскочив с комбайна, Тимша стал отчищать фрезу. Работал и невольно побаивался, что Волощук подойдет, возьмется чистить сам, не дав добрать заходку до конца.

А сверху, по всему пласту, уже проступали, сочились едва различимые жгутики влаги. Еще немного, и они зазмеились вниз, вниз, в обрушенную породу, под погрузочный совок.

— Вода, бригадир! — оглянувшись, крикнул громче, чем хотелось, Тимша и сам не узнал дрогнувшего своего голоса. — Ей-богу! Гляди, как бьет...

— Что ты несешь? Где?

Одним прыжком Волощук оказался рядом, глянул, соображая, что делать.

— Плыву-ун... Ненаглядыч! И вправду...

Тимша почувствовал, как захолонуло под ложечкой. С плывуном ему еще не приходилось встречаться, а слышал о нем немало.

Ненаглядову достаточно было взглянуть, чтобы сразу оценить грозившую опасность.

— Лен! Лен давайте! — будто ничего особенного не произошло, скомадовал он. — Скорее-ей! Пока размывать не стало...

Аварийные снопы льняной тресты были в каморке у самого входа в штрек. Волощук и Тимша бросились за ними, прихватили по пути Сергованцева.

Боковину они крепили вчетвером, но все ползло уже из рук. Плывун хлестал им прямо в лица, ослаблял и без того едва державшийся распил.

Комбайн стало прихватывать. Подмытый, обрушился сверху накатник. Крепление, казалось, было не в состоянии сдержать напор и разваливалось на глазах.

В страшную эту минуту не растерялся только Ненаглядов.

— Комбайн... комбайн отгоняйте! — распорядился он. — А ну, навали-ись!

С трудом отогнав его, они освободили место для работы. В дело шло все, что попадалось под руку, распил, накатник. Тимша и Сергованцев едва успевали подавать их Ненаглядову. Стоя чуть не по пояс в грязной, неведь откуда взявшейся жиже, он властно и хрипло покрикивал:

— Вали! Вали! Только бы еще где не размыло, а тут мы задавим...

Тимша — мокрый, измазанный по уши — не узнавал себя. Оказывается, когда работаешь — бояться просто нет времени. Вначале ему чудилось, что не справятся — плывун зальет их, но потом увидел — они сильней и, обрадовавшись, почувствовал себя по меньшей мере великаном. Могущество их было не только в силе, а и в разуме, не спасовавшем перед стихией.

— Силачи ж мы! — восторженно вздохнул он, когда все вроде оказалось заделано и можно было немного передохнуть. — Экую прорвищу уняли...

— Силачи едят калачи, — устало отмахнулся Ненаглядов, доставая жестянку с табаком. — А мы с тобой — хлебушек.

— Ничего, теперь подержится, — сказал, настороженно оглядывая сделанное, Волощук. — А мы сейчас еще перемычку... пока не разыгрался!

Отогнав комбайн метров на тридцать, они принялись возводить еще одну перемычку, все время прислушиваясь к тому, что происходит в забое. Тресты хватало, но крепежа оказалось недостаточно.

Затрещало снова. Волощук приказал Тимше и Сергованцеву бежать за накатником, а сам бросился, не ожидая, срывать трапы, намереваясь использовать для перекрытия и их. Ненаглядов бесстрашно полез в забой — поглядеть, что там.

Лесогоны сбросили накатник не у входа в штрек, как обычно, а далеко на развилке. Такое стало случаться последнее время довольно часто, и проходчики всякий раз ругали их на чем свет стоит.

— Надо угостить их после получки, — придумал Сергованцев. — Тогда все по-другому будет!

Тимша возмутился:

— Ходи, не взбрыкивай! За что... угощать?

— За то, что себя жалко. Сложимся поровну...

— Это Косаревы штучки, — сразу догадался Тимша. — Вернемся, я бригадиру расскажу.

Взвалив на плечо накатник, Сергованцев, побряхывая, потащил его к забою. Возмущаясь по-прежнему, Тимша поспешил за ним. То ему казалось, что нужно пожаловаться на лесогонов Воротынцеву, то

хотелось сказать Волощуку: пускай объяснится с Косарем по-своему:

«Бригадир его угостит! Тут беда в забое, а он...»

Шум сзади заставил его обернуться. Косарь с лесом подъезжал к развилке.

— Ну, как оно? Таскать не перетаскать...

— Ничего, — пошатнувшись, Тимша едва не выронил накатник. — Я сразу догадался, что это твоих рук дело.

— А хоть бы и так. Не все равно?

— Скажу бригадиру. Он с тобой по-своему...

— Скажи, скажи: удружил, мол, Косарь! Пускай попомнит прежнего дружка...

Но было уже поздно. Навстречу, ополоумев, выскочил Сергованцев, сам не свой, истошно заголосил:

— Плывун! Плыву-ун! Перемычку разворотило...

— Тащи накатник, — повелительно крикнул Тимша, но Сергованцев чуть не сбил его с ног.

— Давай наза-ад, пока цел! Шахтарем пахнет...

Светя шахтеркой, Тимша бросился к забою. Там было непривычно темно, лишь желтый лучик плескался под ногами.

Что-то затрещало, страшно подвинулось возле недоконченной перемычки, где старались справиться с бедой Ненаглядов и Волощук. Почудилось: крепление будто раздвинулось и из обнажившегося пласта явственно проступило страшное обличье.

— Шах... Шах-тарь! — хотел предупредить их Тимша и не смог.

Темная стена пласта снова соступилась, никого не стало. А кровля в самом деле двинулась, осела. Белая грива плывуна взялась неизвестно откуда, накрыла перемычку, стала заполнять штрек. Встопорщившиеся ребра накатника несло, как на волнах.

Волощук и Ненаглядов едва выскочили из-под него.

— Крепите! — потерянно крикнул Тимша. — Крепите!..

Грозно и неповторимо трещало по всему штреку; гайки на хомутах срывались, летели как пули. Мелкий, похожий на манку, песок плывуна вскипал, словно на дрожжах.

Вряд ли проходчикам нужно было напоминать о креплении. Но, подбегая, Тимша не сообразил этого.

— Сдержим, бригади-ир! — крикнул он, готовый на что угодно — на самопожертвование, на непосильный труд. — Ей-богу, сдержим! Давай еще перемякать...

Волощук оглянулся. Крепежа явно мало. Можно, конечно, сорвать, пустить в дело последние трапы, но и этого вряд ли хватит.

— Какой штрек, какой штрек был, — пожалел он и, словно обретя надежду, скомандовал: — А ну, давай распили! Удалось бы только за кольца просунуть...

Чувствуя себя словно бы виноватыми в том, что произошло, они молча и яростно принялись крепить распили — за металлические сегменты, за хомуты.

— Эх, материалу не хватит! — спохватился, устало пожалел Ненаглядов.

— Косарь, гад, на развилке крепеж сбросил, — вспомнил Тимша. — «Таскать вам, говорит, не перетаскать!»

Веря и не веря этому, Волощук на миг перевел дыхание. Сгоряча захотелось кинуться, найти Косаря, но об этом нечего было и думать. Едва сдерживаясь, он срывал трапы и не знал, что сделает с ним, когда выйдет на-гора.

«Лады, лады! — ожесточенно грозил он, прикусы-

вая до боли потрескавшиеся, кровоточившие губы. — Я ему это еще припомню...»

А наверху, на Провалах, крутилась, вбирала в себя все, что попадалось, огромная, как уходящий в землю смерч, воронка. Кустарник, разорванные пласты дерна исчезали в ней с непостижимой быстротой.

Рябенский телок на привязи вдруг ошалело взбрыкнул, почуяв под ногами ненадежную землю, рванулся в сторону, пока пустила веревка. Еще немного — и он бы пропал вместе с олешиной, к которой был привязан, но проходчики в штреке справились с бедой, все замерло, успокоилось.

Ничего не поняв, телок снова принялся за траву. Шумно всхрапывая, он сдувал с нее тяжкую угольную пыль и жадно щипал, а по краям воронки стояли белые фонарики одуванчиков, будто хотели осветить темную глубь и поглядеть — что там.

1962—1964

Осин Дмитрий Дмитриевич
ГОРЮЧ-КАМЕНЬ

М., «Советский писатель», 332 стр.

Тем. план вып. 1965 г. № 188

Редактор **В. Д. Раковская**

Художник **В. В. Красновский**

Худож. редактор **Е. И. Балашева**

Техн. редактор **М. А. Ульянова**

Корректор **Ф. Л. Эльштейн**

Сдано в набор 5/X 1964 г. Подписано
в печать 23/II 1965 г. А 02717. Бумага
70 × 108¹/₃₂. Печ. л. 10³/₈ (14,52). Уч.-
изд. л. 13,34. Тираж 65 000 экз.
Заказ № 1516. Цена 50 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Типография им. Володарского
Ленинград, Фонтанка, 57

50 коп.

2

48.